

ЗЕЛЕНАЯ
ПТИЦА
С КРАСНОЙ
ГОЛОВОЙ



ЮРИЙ НАГИБИН

ЮРИЙ НАГИБИН

•

**ЗЕЛЕНАЯ
ПТИЦА
С КРАСНОЙ
ГОЛОВОЙ**



**МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1966**

P2
H163

7-3-2



ЧИСТЫЕ ПРУДЫ



Чистые пруды

Чистые пруды... Для иных это просто улица, бульвар, пруд, а для меня — средоточие самого прекрасного, чем было исполнено мое детство, самого радостного и самого печального, ибо печаль детства тоже прекрасна.

Было время, я знал там каждую скамейку, каждое дерево, каждый куст крапивы возле старой лодочной станции, каждую световую надпись: «Берегись трамвая!», мигающую красным на переходе. У Телеграфного переулка в слове «Берегись» три последние буквы не загорались, получалось красиво и загадочно: «Берег трамвая». И сколько же свиданий назначалось на этом берегу! Мы, мои сверстники и я, не береглись трамвая, как в дальнейшем не береглись жизни. Мы перебежали рельсы наперерез трамваю перед самой тормозной решеткой, садились и прыгивали только на ходу, промахивали все Чистые пруды, повиснув на подножках, обращенных к железной ограде бульвара, стоя и сидя на буферах, а то уцепившись сзади за резиновую кишку и ногами скользя по рельсе. Веньке Американцу — он носил клетчатую кепку с пуговкой — отрезало ноги. Он умер по пути в больницу от потери крови, в полном сознании. «Не говорите маме», — были его последние слова. Нас не остерегла Венькина гибель, напротив, мы восхищались его мужеством и считали делом чести не отступать. Для нас, городских мальчишек, трамваи были тем же, чем волки и медведи для ребят таежной глуши, дикие кони для детей прерии. Дело шло напрямую: кто кого? И думаю, мы не были побежденными в этой борьбе...

Чистые пруды — это чудо первого скольжения на коньках, когда стремящиеся лечь плашмя «снегурочки» становятся вдруг послушными, прямо, стройно режут широким лезвием снег, и ты будто обретаешь крылья. Чистые пруды — это первая горюшка, которую ты одолел на лыжах, и я не знаю, есть ли среди высот, что приходится нам брать в жизни, более важная да и более трудная, чем эта первая высота. Чистые пруды — это первая снежная баба, первый дом из глины, вылепленные твоими руками, и пусть ты не стал ни ваятелем, ни зодчим, — ты открыл в себе творца, строителя, узнал, что руки твои могут не только хватать, комкать, рвать, рушить, но и создавать то, чего еще не было...

Чистые пруды — это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, скромные чудеса моего детства! С дерева спускается широкий холст, на холсте намалевана белая мраморная балюстрада, строй кипарисов, море, в море корабль с раздутыми парусами, а надо всем этим серебряная колбаса — дирижабль с гондолой. Уставившись на холст то слепым, черно-заколпаченным, то живым стеклянным глазом, покоится на растопыренной треноге коричневый деревянный ящик, который за десять минут может подарить тебе твое изображение на фоне моря, среди кипарисов, с дирижаблем над головой. Для этого нужно, чтобы маленький чернявый человек, одетый зимой в жеребковую куртку, кубанку и бурки, а летом щеголяющий в тенниске, тубетейке, парусиновых брюках и сандалиях на босу ногу, усадил тебя под кипарисы, затем припал к аппарату, накрыл себя черной тряпкой, резко крикнул: «Спокойно, снимаю!», после чего, сняв колпачок с выпуклого глаза аппарата, описал рукой плавный круг и вновь прикрыл глаз. Да, чуть не забыл: еще этот человек, прежде чем снять колпачок, говорил: «Смотрите сюда, сейчас вылетит птичка». Он говорил это, когда я, четырехлетний, сидел перед глазком аппарата на коленях у отца и разрыдался от того, что птичка не вылетела; он говорил это, когда я, дошкольником, снимался на лыжах под кипарисами и все еще надеялся, что птичка вылетит, и когда я был школьником с козелковым ранцем за плечами и уж не ждал никакой птички; он говорил это, когда в канун окончания школы, в преддверии разлуки, я снимался у него с Ниной

Варакиной и опять на миг поверил, что птичка наконец вылетит...

На Чистых прудах ходили китайянки с крошечными ступнями, оставлявшими на песочных дорожках бульвара детский, лишь более глубокий след. Мы нередко отыскивали их по этому следу: китайянки продавали бумажные фонарики, мгновенно сгорающие, едва вставишь в них свечку; голубые, красные, желтые, оранжевые шарики на длинных резинках, набитые опилками, эти шарики чудесно подскакивали на резинке, возвращаясь прямо в ладонь, но удивительно скоро начинали сочиться опилками, съеживались и умирали; трещотки на спичке с сургучной головкой; причудливые изделия из тонкой сухой гофрированной цветной бумаги: с помощью двух палочек им можно было придать различную форму, от шара до улитки, но существование их отличалось, увы, такой же мотыльковой краткостью.

С китайянками соперничали продавцы воздушных шаров; когда шар выдыхался или лопался, начиналась его вторая, куда более увлекательная жизнь: мы выдували из лоскутьев крошечные пузырьки и звонко давили их о лбы и затылки друг друга; продавцы вафель и мороженого, постного сахара и красных леденцовых петухов — самого стойкого товара на веселом чистопрудном торжище: такого петуха можно было сосать с утра до ночи, он не уменьшался, только красил пунцовым губы и язык. А раз появился там ослик с длинными лысыми ушами и бесконечно грустным взглядом. Но мы заездили его в неделю, и ослика не стало...

Чистые пруды — столбовая дорога нашего детства. На Чистые пруды водили нас няньки, по Чистым прудам ходили мы в школу и на Главный московский почтамт: он шефствовал над нашей школой. Мы ходили туда в ранние утренние часы, чтобы собирать бумажный утиль в его просторных, тихих залах, где нежно шуршали ролики конвейеров, развозящих по этажам письма в конвертах, пакеты с красными сургучными печатями, кипы брошюр и газет. Утиль мы сдавали во дворе весовщику, он шмякал наши мешки на большие весы с гирями и вручал нам квитанцию. По вечерам мы ходили сюда, чтобы работать в столярной мастерской; мы сколачивали ящики для рационализа-

торских предложений рабочих и служащих почтамта, выпиливали лобзиком из тонкой фанеры карикатурные портреты прогульчиков, склочников, бузотеров к вящему их позору. По Чистым прудам мы ходили в кино «Маяк», самую плохую и дешевую киношку во всей Москве. Экран там заменяла побеленная стена, с этой стены шагнули в наше детство и кошачьи ловкий Дуглас Фербенкс, и маленькая Лилиан Гиш, и очкастый Гарри Ллойд, и до корчей смешные и чем-то щемяще жалкие Пат и Паташон, и Донна Жуанна, женщина бретер, и незабвенные герои «Красных дьяволят». На Чистых прудах находилась наша библиотека, наш тир, наш клуб без стен, где решались наши пионерские дела, и наш райвоенкомат, откуда в сорок первом мы ушли на войну...

Чистые пруды были для нас школой природы. Как волновала желтизна первого одуванчика на зеленом окаеме пруда! Нежности и бережности учили нас их пуховые, непрочные шарики, верности — двухцветное сродство иван-да-марьи. Мы ловили тут рыбу, и бывало, на крючке извивалась не просто черная пиявка, а настоящая серебряная плотичка. И это было чудом — поймать рыбу в центре города. А плаванье на старой, разошедшейся плоскодонке, а смелые броски со свай в холодную майскую воду, а теплота весенней земли под босой ногой, а потаенная жизнь всяких жуков-плавунцов, стрекоз, рачков, открывавшаяся на воде, — это было несметным богатством для городских мальчишек: многие и летом оставались в Москве.

Не менее щедра была и наша чистопрудная осень. Бульвар тонул в опавшей листве, желтой, красной, мрамористой, листве берез, осин, кленов, лип. Мы набирали огромные охапки палой листвы и несли домой прекрасные, печальные букеты, и сами пропитывались их горьким запахом...

Чистые пруды были для нас и школой мужества. Мальчишки, жившие на бульваре, отказывали нам, обитателям ближних переулков, в высоком звании «чистопрудных». Они долго не признавали нашего права на пруд со всеми его радостями. Лишь им дано ловить рыбу, кататься на лодке, лазать зимой по ледяным валунам и строить снежные крепости. Смельчаки, рисквавшие приобщиться к запретным берегам, беспощад-

но карались. Чистопрудные пытались создать вокруг своих владений мертвую зону. Мы не только не могли приблизиться к пруду, но и просто пересечь бульвар на пути в школу было сопряжено с немалым риском. Разбитый нос, фиолетовый синяк под глазом, сорванная с головы шапка — обычная расплата за дерзость. И все же никто из нас не изменил привычному маршруту, никто не смирился с жестоким произволом чистопрудных захватчиков. Это требовало характера и воли: ведь достаточно было сделать маленький крюк, чтобы избежать опасности. Но даже самые слабые из нас не делали уступки страху.

Мы выступили против чистопрудных единым фронтом. Ребята Телеграфного, Лобковского, Мыльникового, поддержанные дружественными соседями с Потаповского, Сверчкова, Спасоглинищевского, Космодемьянского, Златоустинского переулков, наголову разбили чистопрудных в решительной битве возле кинотеатра «Колизей». Отныне пруд и аллеи бульвара стали достоянием всех мальчишек округи, а от былой вражды не осталось со временем и следа. Смотрели твои окна на бульвар или в тишину прилегающих переулков, ты равно считался чистопрудным со всеми высокими правами, какие давало это звание...

Чистопрудный бульвар — свидетель и устроитель, увы, неудачный, первой моей и единственной школьной любви, которую я пронес сквозь детство, отрочество, юность. Нина Варакина жила в том же Телеграфном переулке, близ Чистых прудов, где жил и я. Наш общий путь с ней в школу пролегал по Чистым прудам. В начальных классах мы шли так: Нина Варакина впереди, я на почтительном расстоянии сзади или по соседней аллее. Она знала, конечно, что я не просто следую своей дорогой, что я иду с ней. Ведь на переменах я столько раз подбегал к ней, чтобы толкнуть, подставить ножку, дернуть за косу или шлепнуть по спине. Могла ли она не видеть, что я «гоняюсь» за ней? В пятых, шестых классах мы шли уже рядом, разговаривая, потом мы ходили, взявшись за руки, наконец, в последних классах — под руку. Но это несколько не приближало меня к ней. Мы расставались у необлицованного кирпичного дома, за которым угрюмо высилась Меншикова башня.

— Пока! — всегда первая говорила Нина.

— Пока! — отвечал я с горечью в душе.

Она скрывалась в темной подворотне, я переходил на другую сторону, и сразу в нос ударял мне тяжкий, гнилостный, с винным привкусом запах: в подвале за железной решеткой помещалось картофелехранилище. Черт его знает, отчего там так пахло! Впрочем, я мог легко избежать этого запаха, просто мне не надо было переходить на другую сторону. Но я переходил. Мне казалось естественным, что после разлуки с Ниной все портится в мире: тускнеет день, глохнут звуки, загнивает воздух. С тех пор я знаю, чем пахнет разлука: смертью с привкусом вина.

Сколько я натерпелся из-за этой девчонки! Редкий день меня не били. Калабухов, чистопрудный парень, не давал проходу ни ей, ни мне. Я был сильным, поэтому Калабухов никогда не нападал в одиночку. Меня били при выходе из школы, на бульваре, в устье Телеграфного переуллка, на катке. Правда, били лишь тогда, когда видали с Ниной, без нее я был в безопасности. Сколько Нининых носовых платков, которыми унимал я кровь, осталось у меня, сколько монеток передал я ей — ведь дарить платки плохая примета. Нине было тяжело, что я подвергаюсь из-за нее постоянной опасности, но, чутко понимая мою обреченность, она никогда не предлагала мне ходить поврозь.

Когда мы стали старше, драки прекратились. Мы могли спокойно сидеть на скамейке Чистых прудов и в тысячный раз выяснять, почему я ей не нравлюсь, вернее, нравлюсь, но как-то не так. Не так, как наш бывший вожатый Шаповалов, не так, как Лемешев, не так, как летчик Громов, не так, как Конрад Вейдт и Борис Бабочкин, — перебирал я мысленно, поскольку знал все самые сильные Нинины влюбленности. Величие и отдаленность этих моих соперников избавляли меня от ревности, но не от тоски. К несчастью, было и другое. Я знал, что Нина целовалась с красивым, щеголеватым старшеклассником Лазутиным, редактором школьной стенной газеты; что нередко ее привозит в школу на мотоцикле парень в кожаной куртке и очках-консервах; что пропуска в Художественный театр достаёт ей какой-то студиец...

Иногда мимо нас проходил Калабухов; он учился

теперь в спецшколе и носил военную форму. Он приветствовал Нину по-военному, бросая руку к околышу фуражки, а на меня кидал угрюмо-сочувственный взгляд. Его жест и взгляд совпадали, и мне казалось, что он салютует моей грустной стойкости.

Самая трудная пора наступила, когда мы перешли в десятый класс. Нину «открыла» вся школа. Я и то удивлялся, как могут ребята размениваться на других девчонок, когда есть Нина. И вот, наконец, то, что было мне ведомо многие годы, вдруг стало ясным всем ребятам: в 326-й школе есть чудо, и чудо это — Нина Варакина. Возможно, пришло время раскрыться всему, что таилось в ее зыбкой, смутной прелести подростка. Очарованный ею, когда она была еще косолапой, смешной девчонкой, я не берусь об этом судить.

Общее поклонение, как и всякий культ, непременно должно было обрести единую форму. Этой формой оказалась поэзия. Школой овладело стихотворное помешательство. Не было дня, чтобы очередной поэт не вел Нину на Чистые пруды, к беседке, чтобы прочесть ей стихи своего сердца. Стихи были плохие, с однообразными околичностями, почти в каждом упоминались роза и озеро, читай: бульвар и пруд. Мы вместе с ней смеялись над этими стихами. И все же я с болью чувствовал, что Нину трогают если не сами стихи, то усилия, затраченные в ее честь. И становилось странным, отчего же молчу я, самый давний и преданный ее поклонник...

И вот я просидел долгую ночь, марая один тетрадный лист за другим. Первая строчка давалась легко: «Пусть все тебе пишут играя», «Всю жизнь так близко и далеко», «Неужто ты не понимаешь», «Я тебя разлюбить не умею», «Какая боль, какая нежность». Иногда к первой строчке подтягивалась вторая, но и на этом все кончалось. Я стал вспоминать стихи своих любимых поэтов: Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Снова потекли первые строчки: «Я полюбил тебя младую», «Твой взор меня бежит», «Там на берегу пруда». И дальше ни с места. Мне было печально и больно. Уже под утро я схватил чистый лист бумаги и твердо написал: «Ты самая красивая, я очень тебя люблю».

Нинино лицо, когда она прочла это краткое послание, выразило досаду и разочарование. Потом она еще раз прочла его и долго, задумчиво улыбнулась. «Пиши прозу, — сказала она, — у тебя получается...»

Прошли годы и годы, я так и не придумал ничего лучшего, И вот теперь, уже немолодой, я могу сказать своей нынешней любви все то же: «Ты самая красивая, я очень тебя люблю...»

В раме Чистых прудов запечатлелся для меня и самый сильный образ моей юности. Это было в пору ожесточенных боев в Испании. В воскресный день в садах и парках Москвы шло праздничное гулянье молодежи. Быть может, потому, что отовсюду глядело с портретов прекрасное, неистовое лицо Долорес Ибаррури, что многие юноши носили республиканские зеленые пилотки с красным кантом и кисточкой, что на улицах то и дело вспыхивала «Бандера роха», самая популярная песня тех дней, что в разговорах поминутно звучали красивые и горькие слова: «Гвадалахара», «Овьедо», «Уэска», «Астурия», «Мадрид», что небо было озарено алым отблеском праздничных огней, а порой, в стороне Москвы-реки, ослепительно лопались в выси фейерверки, что вечер этот был душист и жарок и звенела музыка, — нам казалось, будто самый воздух насыщен Испанией, ее звуками и ароматами, ее борьбой, ее гневной непримиримостью.

Мы собрались, чтобы поехать в парк культуры и отдыха, но вдруг, уже на пути к метро, раздумали и свернули на Чистые пруды. Испания была разлита в воздухе, Испания была в нашем сердце. Мы ощутили странную знаменательность этого вечера, тень судьбы скользнула над нашими головами в бойцовских пилотках. Мы проглянули и приняли грядущее со всем, что оно возложит на наши плечи.

Поэтому и потянуло нас на Чистые пруды, хоть не было здесь ни трубачей, ни многоцветья огней и фейерверков, — нас потянуло сюда, как тянет человека к истоку юности, к началу начал. И само собой получилось, что мы шли строем, по трое в ряд. Нам повстречался наш однокашник, веселый человек, Юрка Петров. Отдавая шутливую дань нашему воинскому строю, строгому молчанию и пилоткам, он крикнул:

— Привет бойцам-антифашистам!

Мы ответили в голос, без улыбки:

— Но пасаран!

Не пройдет и пяти лет, и те же слова, сказанные по-русски, многие из нас оплатят своей кровью. А сейчас они рядом, они полны силы и молодости, полны надежд, любви, замыслов, поэзии слов и поэзии чисел, они идут, не отличимые от тех, кому суждено остаться в живых, равные с равными, по людному бульвару к темному, тихому пруду...

Мы стояли у низенькой ограды пруда и смотрели на воду, когда в воздухе воссиял одинокий фейерверк. Его зажег какой-то малыш, крошечный чистопрудный патриот, не захотевший, чтобы его бульвар отставал от ликующих парков столицы. Голубая звездочка взвилась в небо, вспыхнула ослепительным белым, из белого родилось алое и длинными струями потекло вниз. С багрово озаренной воды навстречу мне медленно всплыли красивые, мужественные лица моих друзей, и запомнилось так на всю жизнь...

Когда мы ловили рыбу на Чистых прудах, нас часто окружали зеваки. Брала рыба очень плохо, часами не бывало поклевки, и, обозленные отсутствием впечатлений, бездельники начинали поносить нас и Чистые пруды.

— Охота дурью мучиться, разве здесь может быть рыба?

— В такой грязи не то что рыба — лягушка сдохнет!

— Нашли где ловить — в сточной канаве!

Мы не вступали в спор, мы продолжали удить, мы пили горстями холодную, ломившую зубы воду, а люди на берегу плевались и предрекали нам хворь. Но мы были уверены, что водоем наш чист, что рыбе в нем живется привольно и сытно и ей не по вкусу наша приманка: дождевые черви и хлебные катыши.

Как мы гордились и торжествовали, когда кому-нибудь из нас удавалось вытащить карасика или пескаря! Но случилось это редко и не могло развеять дурную славу нашего пруда.

Однажды осенью пруд спустили, чтобы углубить и расчистить. И вот тогда-то по берегам выстроились огромные плетеные корзины, доверху полные живой рыбы. Тяжко раздувая перламутровые жаберные

крышки, упруго сгибая хвост, силились выскочить из корзинок крупные, литые сазаны, подпрыгивали, будто чувствуя себя уже на сковородке, золотые и серебряные караси, зеркально светлели пескари и плотицы... Как же чист и щедр был наш водоем, если в нем могла дышать и жить вся эта рыба! Да, он был чист и щедр, как наше детство, он поил нас свежей водой, старый московский пруд, сказочное озеро молодых, давних лет!

Щедрый подарок

Отец не дарил мне подарков; инженер-строитель, он постоянно находился в разъездах, пропадая иной раз на год, а то и больше. Правда, в день моего рождения считалось, что такой-то подарок делает мама, такой-то — дед и такой-то — отец. Но я понимал, что это условность: подарок отца был выбран и куплен мамой. Когда же мне исполнилось девять лет, отец расщедрился и подарил мне целый город, да какой — с дорогой через всю страну! Он вызвал нас с мамой на лето в Иркутск, где в ту пору работал.

Многое, случившееся позднее, давно позабылось, а Иркутск все светится в памяти особым светом. Иркутскую жизнь я помню изо дня в день, в ней не было ничего второстепенного, его и вообще не бывает на переломе жизни, пусть даже детской. А в Иркутске переломилось мое комнатное существование, я увидел, как огромен, многообразен, сложен мир, я узнал, что являюсь сыном великой страны.

В одной старой сказке комары тонкими голосами славословят свою долгую, почти бессмертную жизнь: они дважды видят день и дважды видят ночь. В моем комарином представлении я жил в необъятном мире: большая коммунальная квартира, два двора нашего дома, выходявшего на три переулочка — Армянский, Сверчков, Телеграфный; по углам дворов полого уходили в землю крыши винных подвалов; с утра до позднего вечера ухали бочки, скатываясь по деревянным каткам с телег; ругались возчики, высекали искру из булыжника массивные копыта битюгов. А неохватный

простор Чистых прудов, а дача на станции Пушкино, за Акуловой горой, где мы с дедом жили каждое лето!

Поездка в Иркутск открыла мне комариную малость моего мирка. День сменялся ночью, ночь — днем, а за окном вагона разворачивались все новые дали, и не было им конца. Дорога отменила даже строгую очередность времен года, казавшуюся мне незыблемой. Из московского лета въехали мы в уральский снегопад. Притихший и подавленный, смотрел я в темное окошко, за которым стремительно и густо неслись снежинки. А затем были утренние поляны в сверкающем ровном снеге, затем без перехода, без весны, свежая, молодая листва деревьев; в огромных провалах между гор, глубоко внизу под поездом, волнующаяся голубовато-зеленая листва перелесков казалась рекой. Были и настоящие, великие, страшноватые в широте своей и затаенном спокойствии сибирские реки: Обь, Енисей, Иртыш. Проходя над ними, поезд затихал, реже и глуше колесный перестук, тишина в вагонах...

Иркутск был чудом, вернее, скопищем чудес. Ледяная Ангара, просматривающаяся на огромную глубину, до последнего камешка на дне, до тонюсенькой водоросли, неумоимо пускающей вверх жемчужные пузырьки. Мы брали двухпарную лодку и плыли к островам, что слева от пристани. Когда мы входили в узкую горловину между двумя островками, простор поворачивался вокруг своей оси, островки, будто играя в чехарду, перепрыгивали друг через дружку, весла выпадали из рук. Головокружение длилось с полминуты, а когда оно проходило, мы обнаруживали, что челнок наш отброшен назад на добрый десяток метров. Между островками был водоворот, он вращал лодку, насыщая ее центробежной силой, а затем швырял назад к пристани. Мы еще и еще повторяли нашу попытку, а затем в блаженном, дурманном изнеможении смотрели, как рыбаки, ловко и уверенно действуя шестом, спокойно проводили над водоворотом свои длинные, плоскородонные пироги.

Была еще Ушаковка, впадающая в Ангару. Она так стремительно текла с гор, что рыбы, плывущие против течения, порой провисали недвижно: бери руками или накальвай вилкой. Я купался в ее быстрой и теплой

воде, я плавал в ней, и это было прекрасно, как полет во сне. Я размахивал руками, едва касаясь мгновенно ускользящей волны, и меня несло с обрывающей дыхание скоростью в широкое устье, где воды Ушаковки и Ангары, смешиваясь, создавали плавно тормозящую среду.

И были цветы, полевые цветы, растущие по склонам невысоких гор за южной окраиной города, цветы, в которые трудно поверить, так они роскошны, так превосходят скромные луговые цветы Подмосковья. Цветы, похожие на мясистые петушиные гребни, цветы, напоминающие наш садовый львиный зев, но не желтые с красноватыми подпалинами, а многокрасочные: с пунцовым, словно окровавленным, верхним небом, с синеватым — нижним, с фиолетовым храпом, зелеными надбровьями, янтарной головой и желтыми заушинами. Были цветы, похожие на садовые бессмертники, но не сухие, а трепетно-мягкие, полные в каждом лепестке нежной, непрочной жизни, с желтыми венчиками и синей коронкой; были как садовые лилии, целые луга палевых, навощенных лилий на длинных, стройных стеблях с саблеобразными листьями; были как махровая гвоздика, но пышнее всех расцветок — от фиолетовой до бордовой; были и такие, что не сравнишь и не опишешь, словно фантастические гибриды василька с георгином, ромашки с настурцией, причудливые, сказочные цветы с длиннущими тычинками, торчащими, будто щупальца, из глубокой, слонстой чашки.

Порой на каменистых срезках гор обнажались вкрапления серебристо сверкающей породы. Не стоило большого труда отбить кусочек такой породы, от него отслаивались тонкие, блестящие чешуйки, похожие на рыбы. «Это слюда, — говорил отец, — слюдяные горы». Меня охватывал трепет: впервые приближался я к первооснове вещей...

В Иркутске, в небывалой близости к рекам, горам, недрам, деревьям, цветам, насыщался я, словно под мощным давлением, чувством Родины...

С крыши узкого, длинного сарая, примыкавшего к дому, в котором мы жили, открывался постоянный двор. Там грудились подводы с задранными оглоблями; привязанные к задку телег низкорослые лошади, с худы-

ми шеями и раздутыми животами, в толстых, как канаты, венах, непрерывно и неустанно жевали солому, пуская длинную слюну с угла черных губ. Между подводами бродили нерослые, крепко сбитые люди, черноволосые, со смуглыми лицами, твердыми и круглыми, как кулаки, скулами и узкими щелками глаз. То были буряты, во множестве наезжавшие в город. В рубашках навывпуск, в шапках с меховой опушкой, иногда в сопровождении луннолицых, украшенных бусами и длинными серьгами жен и черноголовых, удивительно живых ребятишек, они днем пропадали на базаре, по вечерам съезжались на постоялом дворе, ловко распрягали маленьких лошадемок, задавали им корм, пили под навесом чай из пузатого медного чайника, иногда пели высокими, берущими за душу голосами непонятные, тоскливые песни. Станным и волнующим родством веяло на меня от них. Порой мне казалось, что я понимаю их песни и даже могу подпевать, словно они звучали мне до здешнего моего существования. В их смуглых лицах было родовое сходство и со скуластым лицом моего отца, и с тонким лицом матери, и моим собственным детским лицом. Мы были одного корня. В мое новое понятие Родины с ее просторами, цветами, реками, горами вошли и эти зовущие и сладко пахнущие полынью и колесным дегтем братья.

Наш день начинался с рынка. Среди бесчисленных палаток, лотков, деревянных рядов переливалась пестрая, шумная разноязыкая толпа: русские, татары, буряты, якуты, монголы. Висели на крюках цельные бычьи туши, и отдельно лежали под ними рогатые и глазастые бычьи головы; висели стройные бараньи и телячьи тушки; на цинковых лотках горами высились лиловато-коричневые ошмотья печени, тугие, мускулистые сердца; селитряно воняла шершавая, зеленоватая, пупырчатая требуха. А рядом покрывалась пылью на деревянных лотках липкая халва из кедровых орехов, желтели глыбы сливочного масла, густо попахивало в кадушках золотистое, крупитчатое, похожее на чуть засахарившийся мед русское масло; кусками горной породы лежала ароматная смолка, которую так вкусно жевать; груды всевозможных домашнего изготовления сластей перемежались с лепешками козьего сыра, кус-

ками красивого, без жилки и мосолка, пунцового медвежьего мяса, бутылками коричневых сливок, бидонами жирного, густого молока.

В крытых рядах было царство зелени. Павлинными шлейфами свешивалась с прилавков ботва крупной, с голову ребенка, свеклы и под стать ей брюквы и репы; прямо на земле валялись расколотые чаши тыкв; гирлянды луковиц в мертвой, сухой одежде свешивались над грудками моркови, петрушки, огурцов, помидоров, редиса. В огромных кадках, в темной жиже, проросшей, казалось, плавающим поверху желтоватым укропом, пряно благоухали всевозможные соленья; связки сухих грибов висели вперемешку со связками сушеных яблок, груш, слив, — и как же все это пахло под жарким иркутским солнцем!

Дальше шли рыбные ряды, источавшие столь мощную вонь, что без крайней надобности туда не зайдешь. Там сверкала серебром свежая рыба и смуглым золотом — копчености; там царил — гордость Байкала — истекающий медленным янтарным жиром омуль...

Запахи снеди смешивались с крепким запахом лошадиной мочи и гнилого сена, колесного, поплывшего на жаре дегтя. Густое, жаркое, пахучее облако плыло над рынком, сладостно щекоча ноздри.

По рынку бродили слепцы и цыгане, шарманщики и вожаки медведей; золотоглазая, с усталым лицом женщина низким голосом пела песню о разбойнике и боярской дочери. Сколько минуло лет, а мне до сих пор снятся пестрота и шум иркутского рынка, теплая, вязкая смолка, кедровая халва и золотые глаза женщины.

С рынком связана моя первая, мучительная влюбленность в человека. Как-то раз мы зашли в мясную лавку на краю рынка, в которой прежде не бывали. За цинковым прилавком в кровавых потеках и загустях орудовал молодой человек с залысевшим лбом и тонкими, пышно отдутыми назад волосами на висках и темени. Он звучно шлепал кусок мяса на иссеченную, похожую на плаху, толстую колоду, хрюскал топором по хрящам и косточкам, с небрежным видом бросал отрубков на весы и, не давая успокоиться медным чашкам — так был он уверен в своем глазе, — бы-

стро заворачивал попку в газету. Моего отца приветствовал как доброго знакомого.

— Познакомься, — сказал отец, чуть подтолкнув меня вперед. — Это наш знаменитый чемпион по велогонкам товарищ Пряжников.

Товарищ Пряжников проговорил что-то в ответ на эти лестные слова, улыбнулся, показал зачем-то свои окровавленные ладони, но я ничего не слышал, не сознавал. Как оглушенный, смотрел я на великого человека, и грозная, торжественная музыка творилась во мне.

В ту пору я уже был болен мечтой о велосипеде. Всякий сидящий на тугом, пружинном седле казался мне существом иного, высшего порядка. Что же должен был я испытывать, узрев короля этих избранных!

Пряжников был не только чемпионом Иркутска, но и победителем всесибирских велогонок, словом, звезда первой величины в тогдашнем спорте. Но очень сильная, очень настоящая любовь делает провидцем всякого человека, даже такого маленького, каким был я тогда. Вопреки очевидности, я почему-то на дне души не верил в прочность превосходства Пряжникова. Сквозь густой дым его торжества проглядывал я близкое поражение, безнадежную «вторость», в которой он пребудет до конца своей спортивной карьеры. Так и случилось. Победенный им на моих глазах молодой, смуглоногий, красивый Батаен, чья звезда тогда только всходила, уже через год отбросил Пряжникова на второе место.

Обреченность моего избранника лишь усиливала мою любовь. С восторженным, печальным и сладостным азартом глядел я ежевечерне с трибуны иркутского стадиона на упрямую, бешеную работу его худых, кривых ног...

Это была трудная любовь, но была и другая — нежная, легкая, радостная. Каждое утро мчался я на угол Малой Блиновской и Главной улиц, где помещалась маленькая фотомастерская. В витрине был выставлен стенд с образцами карточек. Я подолгу смотрел на молодое, круглое, кроткое женское лицо с гладко причесанными волссами, разрезанными белой стрелкой пробора. Чуть приоткрытые в полуулыбке губы, большие серые глаза будто присматриваются к чему-

то хорошему, доброму. Низкий воротничок платья открывает высокую шею с круглым, нежным горлом, на груди маленькая, усыпанная камешками брошка. Чистотой, доверчивостью, добротой и женственностью веет от этого облика. Около витрины останавливаются прохожие, и мне кажется, все они смотрят на Аню. Им, наверное, любопытно, кто эта красивая, полная светлой благожелательности женщина. Жаль, что никому из них не приходит мысль спросить меня...

Я сказал бы им, что это наша знакомая, мы познакомились на рынке и сразу стали друзьями; что у нее негромкий голос и тихий, долгий смех; что у нее теплые, длинные пальцы, и когда она осторожно запускает их в волосы человеку, то человеку хочется и плакать и смеяться одновременно. Впрочем, этого я, пожалуй, не сказал бы. Но я сказал бы, что у нее есть старый отец, в прошлом учитель, ныне рыболов и охотник, множество братьев и сестер, и все они рыбачат и охотятся, потому что не человек тот, кто не выследил зверя, не подстрелил птицу на лету, не взял улова рыбы; что квартира у них набита сетями, сачками, удочками, ружьями, аквариумами, гербариями, чучелами птиц и зверей, и что мне хотелось бы всю жизнь прожить возле Ани, в этой чудесной тесноте ее квартиры, самым младшим ее братом.

Мне не перечислить всех иркутских чудес, но еще об одном, пусть не главном, я должен все же сказать.

Старшие ребята нашего московского двора никогда не бывали столь чуждыми мне и загадочными, как в те таинственные часы, когда гоняли голубей. Я не мог постигнуть смысла этого занятия. Зачем свистят они в три пальца, когда голубиная стая козыряет с карниза на карниз? Зачем простаивают часами на крыше дровяного сарая с сосредоточенными до злобности лицами, высматривая невесть что в небе, и вдруг начинают орать и размахивать руками? Что это вообще такое — гон голубей? Неужто все дело в том, чтобы гонять стаю с места на место? Я чуял, что за всеми этими бессмысленными действиями кроется какая-то цель, но проникнуть в нее не умел. Ребята не терпели соглядатаев в эти священные минуты, а спросить их я не решался.

В Иркутске тайна открылась мне. Кешки и Лёнки — почти всех иркутских ребят звали Кешками и Лёнками — не только приняли меня в компанию, но и ввели в самое свое сокровенное — в голубиную охоту. Да, это было: огромное голубое небо и разноцветные голуби в нем. Белые, сизые, белые с коричневым, по-кукушечьи пестрые турманы, чистые сизари, монахи, голуби ничейные и наши голуби, и голуби ребят с соседних улиц. Стая мечется в голубой выси, тщетно отыскивая место, куда бы сесть, отовсюду ее гонят пронзительный свист и вопли наших голубятников. Я не принимаю участия в гоне. Скорчившись за деревом, я сжимаю в потной руке конец бечевы, тянущейся к откидной дверце клетки-домика. Близ клетки расхаживает с перевальцем сизая голубка. Порой она взлетает невысоко и трудно на подрезанных крыльях, роняет два-три изящно изогнутых перышка и снова садится у отверстой дверцы. И голуби, мечущиеся в выси, спускаются ниже, трепещут над домиком и вдруг с пристуком садятся рядом с голубкой. Жеманно знакомятся клювами и следом за хозяйкой заходят внутрь домика, словно для осмотра квартиры, сдаваемой внаем. Нервный вздрог моей руки опережает рассчитанное движение, дверца захлопывается. Голуби наши!..

Все эти многочисленные чудеса, это напряженное существование, полное каждодневных открытий, должны были породить какое-то главное, ответное чудо во мне самом. Так оно и случилось однажды на речке Ушаковке, куда меня отпускали купаться одного.

На Ушаковке было весело, просторно и как-то необыкновенно светло. Иркутское солнце, отраженное в зеркале двух рек, заливало простор ослепительным светом. В этом свете таяли вершины окрестных гор, а сияющий белизной город казался искупавшимся в молоке. И так много было блестящего, сияющего, светящегося вещества, словно здесь, на Ушаковской стрелке, выковывались для утренних зорь новые ослепительные тарелки солнца.

Однажды я, против обыкновения, долго задержался на реке. Я не замечал часов, мне казалось, что сумерки наступили внезапно, словно их принесла большая туча, вставшая над Ангарой. Простор сузился и замкнулся. С востока над ним нависли горы, тускло-си-

зые и холодные, а с запада черными куполами церквей поднялся город; угрюмая туча и недобрая тьма подступившего вплотную городского парка завершили круговую огорожу. Вода отсвечивала тусклой фольгой, и свет этот бессильно стлался по берегу, словно тень настоящего света.

Я почувствовал себя погруженным на дно гигантской чаши. Где-то за краями чаши остались отец и мать, осталась безмятежная радость моих иркутских дней. А края чаши вздымались все выше, сдвигались, жадно поглощая простор, и неизвестный страх вошел в мое сердце.

Это было не только страхом, но и рождением души. Я впервые ощутил, что мои близкие способны защитить меня лишь от простых житейских тяжестей и что нужно какое-то свое, ни на кого не опирающееся мужество, чтобы не потерять себя в жизни. И когда это безотчетно — не в словах, а как то бывает у детей — сотворилось во мне, я словно расколол на куски зловещую чашу...

В Иркутске я проник и в скрытую жизнь отца, которая постоянно отрывала его от нас. Если бы я занимался вымыслом, я бы рассказал о том, как отец повел меня на стройку и как полонило мою детскую душу величие созидательного труда. Но я пишу лишь о том, что было на самом деле. Отец действительно взял меня однажды на стройку. Едва мы вышли из маленького, тряского автобуса на краю города, как хлынул дождь. Мы шли, накрывшись прорезиненным плащом отца, под ним было невыносимо душно и мокро, дождь просачивался в какие-то щели, холодный, припахивающий резиной. Ноги разъезжались на скользкой глине; прежде чем мы дошли, я несколько раз упал и по пояс вымазался в глине.

Перед нами был огромный рыжий котлован, на дне которого копошились люди и с воем буксовал грузовик. Понурые лошаденки, оскользаясь, с натугой тащили по мокрой глинистой дороге подводы, груженные камнем.

— Наша строительная площадка, — важно сказал отец.

Я недоверчиво посмотрел на него: в моем представлении строить полагалось вверх, а не вниз, возводить

этажи, а не углубляться в землю. Отец и не думал шутить. Живо и заинтересованно глядел оң в гигантскую мокрую яму, на копошащихся в ней муравьев. У меня ёкнуло сердце. А что, если отец натворил все это по неумению, ведь он отличался полным невежеством в самом обыденном: в цветах, голубях, почтовых марках и автомобилях. И, словно подтверждая мое тягостное предчувствие, кто-то окликнул отца низким, суровым голосом:

— Петрович, погодь!

Из-за края котлована появился огромный человецище, с заросшим рыжей щетиной лицом, брезентовая куртка разошлась в проймах на его широченных плечах, голову прикрывала зимняя шапка с вытертой лисьей опушкой. Сейчас все откроется: этот гигант вылез из ямы, чтобы призвать моего отца к ответу. В невольном жалком порыве приник я к отцу, пытаюсь защитить его своим слабым телом. Но отец в своей безопасности не проявил никакого волнения. Спокойно протянул он руку гиганту и о чем-то спросил его.

— Порядок! — радостно громыхнул гигант. — Переходим на шестой участок!

Потом они о чем-то еще говорили, смеялись довольным смехом, и вскоре я с удивлением обнаружил, что гигант обращается с отцом, как со старшим, с веселой и доброй почтительностью.

— Твой Лёнка? — спросил он, положив мне на голову большую теплую ладонь.

— Знакомься, Сережа, — сказал отец. — Товарищ Лагутин, наш железный прораб.

— Да будет тебе! — смутился гигант.

Страх мой миновал, он сменился новым и грустным чувством. Когда отец уезжал из Москвы, оставляя нас на долгие месяцы, мне представлялось, что он строит нечто величественное и прекрасное: белые здания, уходящие в небо. А вышло, он бросает нас ради таких вот рыжих, грязных котлованов, где уныло буксуют грузовики и ползут по откосу маленькие, мокрые лошаденки...

— Ты, однако, будешь у нас? — спросил Лагутин отца.

— После обеда... Значит, к первому с шестеркой закончим?

— Как бог свѣт!

Гигант стал спускаться в яму, отец глядел ему вслед. У него было счастливое и растроганное лицо. Таким я видел отца, когда, возвращаясь из долгих отлучек, он переступал порог нашей квартиры. Сейчас не было возвращения в родной дом, встречи с близкими, просто чужой рослый человек в лисьей шапке сказал что-то о какой-то шестерке, и отец был счастлив. Я понял, что отец любил все это: котлован, взрытую глину, грузовики, машины, сроки. И как бы ни был привязан он к нам, без этого ему нет жизни. Будет ли у меня когда в руках дело, без которого я не смогу жить?

В близости нашего отъезда словно темная тень заволокла сияющие золотым солнцем иркутские дни: события на Китайско-Восточной железной дороге.

Я проснулся не от шума, — от странного ощущения тревоги, ворвавшегося в сон. Занавеска на окнах была отдернута, и на просвеченном луной стекле я увидел силуэты отца и матери. Молча и пристально смотрели они на улицу.

Я соскочил с кровати и подбежал к ним. По Малой Блиновской во всю ее ширь двигалась колонна людей. Красноармейцы? Нет, люди были в гражданской одежде, в пальто, плащах, лишь подпоясанных ремнем, в фуражках и кепках. Не было ни знамен, ни медных труб, ни барабанов, не звучала песня. В полном безмолвии, строем, черные от сияния луны, отбрасывая на дощатый тротуар угольно-черную тень, похожую на зубчатку далекого леса, в глубокий ночной час шли люди.

Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, отец негромко сказал:

— Это идут коммунисты...

Все слышанное и читанное о революции, о взятии Зимнего, о боях гражданской войны разом вспыхнуло в памяти. Мне представилось, что таким вот сомкнутым строем выйдут эти люди из города и прошагают мимо Байкала к Амуру, где лежит граница...

До сих пор не знаю, что это было: проверка ли боевой готовности, учебная ли тревога, или что иное. Но образ ночного шествия запомнился мне навсегда. В разные годы, стоило мне вдруг проснуться ночью, гля-

дел я на темный вырез окна, и мне представлялось, что где-то сквозь тьму, озаренную луной, снова идут и идут коммунисты, в пальто, плащах, гимнастерках, подпоясанных ремнем, идут туда, где трудно, тревожно, опасно, где нужно свершение, равное подвигу...

Все на свете имеет конец, кончилось и наше иркутское лето. Мы с мамой возвращаемся в Москву. На вокзале перед отходом поезда отец сует мне наспех купленные подарки: рукавички на беличьем меху, малахитового медведя, оловянный пистолет. Мне еще невдомек, что самый щедрый его подарок я увожу в своем сердце.

Велосипед

Все детство я страстно и безнадежно мечтал о велосипеде. С застарелой обидой гляжу я теперь, как пятишестилетний малыш разъезжает на двухколесном велосипеде с цепной передачей, а подростки — на красивых велосипедах-недомерках. В мою пору таких машин не было и в помине. Были только взрослые велосипеды, да и те наперечет. Еще осваивалась первая советская марка «Украина», а по улицам бегали редкие, баснословно дорогие иностранцы: «Оппели», «Латвеллы», БСА...

В нашем огромном доме лишь у одного мальчика был велосипед. Его короткие ноги не доставали до педалей, он ездил, переваливаясь на седле, как утка, это было смешно и уродливо, но нам казалось царственно прекрасным. Все мы довольствовались самокатами: две дощечки, два чугунных колесика. Если хорошенько разогнаться по тротуару Армянского переулка в сторону Покровки, с ходу, наперерез трамваю, проскочить перекресток и лететь дальше вниз, под крутой уклон Старосадского переулка, чуть не до самой Москвы-реки, то и самокат, право, неплохая штука. Чувствуешь и движение, и ветер в лицо, и прохожие испуганно шарахаются в стороны... И все же никакого сравнения с велосипедом! В самом движении была какая-то недостаточность, бескрылость, скорость не наращивалась, а лишь тратилась в пути. Только за сломом горба Старосадского переулка самокат как будто обретал стремительность выше простой инерции, но длилось это недолго: постепенно теряя скорость, он сползал в смерть

у подножия крутизны. А назад плетешься пешком, таща самокат на плече...

Дома у нас хранилась старая, выцветшая фотокарточка: посреди моложавый, непохожий на себя дедушка, отец и дядя Гриша — мальчики — по сторонам, в клетчатых рубашках, кепках блином, брюках с зажимами, стоят под развесистым деревом, каждый со своим велосипедом, их руки сжимают руль, левая нога уперлась в педаль. Так и чувствуется, сейчас фотограф скажет: «Готово!», они, разом взлетев в седла, помчатся в недоступные жалкому пешеходу дали. Я часами мог смотреть на эту карточку. Мне сообщалась готовная напряженность их тел, я ощущал щекочущий упор верткой педали под ступней, зуд вспотевших на горячих рукоятках ладоней, миг — и деревья послушно замелькают мимо меня, заскользят под колесами их тени, и во все стороны брызнут золотые высверки спиц.

Дед рассказывал, что машины были подарены отцу и дяде в честь окончания гимназии; тогда, чтобы не отставать от сыновей, он купил велосипед и себе. Дожили эти велосипеды почти до моего рождения и в начале тысяча девятьсот двадцатого, голодного года были обменены на пшено.

Из домашних один лишь дед знал о моей одержимости. Отца я видел редко: профессия строителя и врожденная тяга к перемене мест кидали его с одной стройки на другую, с низовий Волги в самую глубь Сибири, из Подмосковья за Полярный круг. Он мне и памятен сильнее всего расстояниями, которые мы с мамой преодолевали, чтобы повидаться с ним, чужими городами и большими реками. Со словом «отец» во мне сразу возникают: Волга, Енисей, Обь, Ангара, Саратов, Иркутск, Кандалакша, Шатура, и лишь в последнюю очередь родная московская квартира возле Чистых прудов. Зато при слове «дед» я сразу вижу себя в старой своей комнате, где он учил меня подтягиваться на кольцах и работать с гантелями, или на Чистых прудах, где под его руководством я осваивал первые в моей жизни коньки. С дедом, а не с отцом, связаны для меня и первые мужские разговоры о драках, девчонках «из нашего класса» и, конечно, о велосипеде.

Дед горевал, что на свою скромную зарплату амбулаторного врача не может купить мне велосипед. Но зато он мог рассказывать о велосипеде, и я мог без конца его слушать. От деда я узнал названия всех велосипедных марок с их достоинствами и недостатками. Он научил меня презирать «Оппель» за слабую раму, прощать «Дуксу» некоторую тяжеловатость, разбираться в преимуществах «Эндфильда модели Ройаль» перед «Эндфильдом модели Урал», восхищаться легкостью, прочностью и изяществом БСА. От него я узнал, как выстреливает из-под колес еловая шишка и как подкидывает на толстых корнях, когда мчишься лесной дорогой, как прекрасно, лихо и опасно пристраиваться за грузовой машиной на шоссе, что на раму можно усадить девушку и мчаться с ней на реку, на озеро, в лес. «Но для этого надо очень хорошо ездить, — добавлял дед. — Тебе это было бы не под силу». — «Ничего, дедушка, когда-нибудь научусь», — отвечал я.

Он рассказывал мне о замечательных прогулках, какие совершал со своими сыновьями — моим отцом и дядей Гришей, — в Сокольники, в Петровский парк, в Петровско-Разумовское, в Покровское-Стрешнево и еще дальше, на Истру, на Клязьму, на Оку.

Дед садился верхом на стул, его большие, темные, в коричневой гречке руки охватывали спинку стула, синие, чуть навывкате ясные глаза устремлялись вдаль, а ноги принимались крутить воображаемые педали. И он смеялся, семидесятилетний человек, так живо и бодро помнивший и молодость, и радость движения, и особую, дорожную близость со своими сыновьями, и то большое искусство, какое нужно, чтобы везти седока на раме.

«Будь я проклят, — грозно тараща глаза, говорил дед, — если не увижу тебя на велосипеде!»

Я свято верил деду. Теперь я был озабочен лишь одним: какую марку велосипеда мне выбрать. Дед знал только старинные, заслуженные фирмы, а сейчас появились совсем новые велосипеды, о которых он даже не слышал. Я носился по Армянскому переулку и Покровке, приставая к велосипедистам, какая машина самая лучшая. Но если кто и снисходил к ответу, то самой лучшей неизменно оказывалась та, на которой он сидел. По ночам мне снились «Дуксы», «Эндфиль-

ды», «Латвеллы», «Опели», БСА, «Украины» и безмарочные сборные велосипеды. Они все были прекрасны, и я боялся, что дед разбогатеет раньше, нежели я приму решение. Этому не суждено было случиться. Дед так и не увидел меня на велосипеде.

Смерть скрутила его в одночасье, как нередко бывает с такими вот крепкими, рассчитанными на целый век стариками.

Меня привезли с дачи в день похорон, но к деду не пустили. Квартира была полна незнакомых людей. Они держали себя громко, развязно, по-хозяйски, бесцеремонно отстраняли меня и гнали прочь от дедовой комнаты, словно чужим был здесь я, а не они. Мне представилось, что эти люди давно уже были наготове, чтобы нагрязнить в наш дом со всем своим шумом, грубой властью, резкими жестами, резиновым запахом плащей, и только присутствие деда удерживало их. Но вот деда не стало, и темные, чуждые силы завладели домом. Все же один раз мне удалось прошмыгнуть к дедовой комнате, и в просвете двери я увидел что-то огромное, заваленное цветами; среди цветов на подушке лежало большое, расплющенное, белое лицо с некрасиво затянутыми голубой тонкой кожей глазницами и странно розовым ртом, обклеенным подковкой седых усов. Эта бледная, плоская маска ничем не напоминала живое, смуглое лицо деда, с весело-грозным, атакующим выкатом синих глаз и воинственным раздувом усов. И тут я впервые понял, что деда, моего деда уже нет...

Незнакомые плачущие женщины целовали меня, смачивая мое сухое лицо своими холодными, неприятными слезами, и это было еще хуже, чем равнодушные других. А когда стало особенно суматошно и мне казалось, что-то должно случиться, вдруг появилась мама и сказала:

— Ты пойдешь к Козловым. Тоня ждет тебя на кухне.

Козловы жили под нами. Их было трое: отец, шофер, черноусый, пахнувший кожей своих черных, по локти, перчаток, и две сероглазые, стриженные под мальчишку дочери: Тоня и Зина, взрослые девушки, работавшие на фабрике. Тоня отвела меня к себе. В прихожей нас поджидала Зина. Она ничего не сказала,

только крепко, по-мужски встряхнула мне руку. Сестры были разительно схожи между собой: небольшие, стройные, крепкие, с маленькими, точеными, смугло-матовыми лицами. Отличались они лишь улыбкой. У Тони были неровные, как-то не уживающиеся во рту зубы, это сообщало ее улыбке застенчивую виноватость. У Зины зубы подобраны один к одному, как жемчуг на нитке, она улыбалась уверенно, медленно, чуть свысока.

— Хочешь посмотреть альбом с открытками? — улыбнувшись своей милой, виноватой улыбкой, спросила Тоня.

Я не ответил. Взгляд мой невольно скользил по незнакомому жилью, по светлым пятнам окон. Квартира Козловых находилась под нашей, но была иначе расположена. Нам Армянская церковь казалась лишь макетом креста, а им открывалась всей громадностью своего безобразного, серого, охватившего полнеба купола; нам было видно все пятиглавие русской церкви, а им лишь усеянные галками кресты; не видно отсюда и дровяных сараев, и дворовой голубятни, но странно и непонятно подступают к окнам купы рослых деревьев, которых я никогда не видел возле нашего дома.

Я отвел взгляд от окон, и тут меня словно ударило по глазам: у стены, в причудливом деревянном станке, стоял, нет, висел, не касаясь шинами пола, легкий спортивный велосипед. Каждое утро, затянув потуже красные косынки на маленьких, стриженных головах, Тоня и Зина бежали пешком на работу.

— Чей это?

— Мой тренировочный велосипед, — прозвучал ясный, уверенный голос Зины. — Разве ты не знала, что я гонщица?

— Нет...

— Ну как же! — сказала Тоня. — Зина заняла третье место по Москве... Хочешь покататься?

— А можно? — Я исподлобья взглянул на Зину.

Зина улыбнулась своей долгой улыбкой, крепко и ласково взяла меня за плечо и подтолкнула к велосипеду. Впервые оказался я так близок к чудесной машине. Вот она вся передо мной, словно вычерченная на белой стене изящными, тонкими линиями: жесткий треугольник рамы, крутой изгиб передней вилки, совер-

шеннейшие круги колес, руль, изогнутый, как рога горного барана.

Я тронул рукой маленькое кожаное седло, похожее на сердце, оно ответило нажиму пальцев упругим вздрогом, биением в один толчок. Я бы никогда не осмелился сесть на это седло, но Зина что-то сделала с ним, и седло оказалось у нее в руке, а на его место она положила подушку.

— Полежай! — приказала она.

Я вскарабкался на подушку, и мои ноги уперлись в педали, а руки плотно охватили резиновые наконечники руля. Тело сладко и ожидаемо, словно я не раз ездил на велосипеде, изогнулось, взгорбилась спина, подобрался живот, вытянулась шея.

— Ну же! Давай! — крикнула Зина.

Только одно маленькое усилие понадобилось мне, а затем уже не я крутил педали, они сами принуждали мои ноги двигаться быстрее и быстрее. Все утончался и утончался тоненький звон вертящихся колес и, отделившись от них, провис рядом, будто легкая звуковая тень.

— Что же ты не сигналишь?

Правда, как же я опрометчив! В центре города, в гуще машин, трамваев, пролеток, телег, прохожих, я безудержно мчусь напролом. Отчаянно и нежно зазвенел звонок под моим указательным пальцем. Как хорошо я звоню, как хорошо ежду! Вмиг расчистилась улица, лишь одно мое отражение пулеметно мелькает в витринах, под вывесками и золотыми калачами; я мчусь сквозь булки, сайки, пряники, баранки, сквозь сыры, колбасы, консервы, сквозь рулоны материи, груды шелка и ситца, я пронизаю надменные манекены и все, чем хвалятся магазины, будь то из шерсти, из дерева, жести, стали...

Но отчего меня так подкинуло на седле, что это вылетело из-под колеса? Камень, птица? Нет, еловая шишка: город давно позади, я мчусь лесной тропинкой по узловатым корням елей, и, чуть задевая мое лицо, отмахивают вправо и влево пудовые темные ветви. А впереди ветряной, сине-вороненый блеск реки, и потяжелел мой велосипед: на раме — красный платочек к моим глазам, смуглая щека к моей щеке — склонилась Зина. Видишь, дед, мне и это оказалось под

силу! Но я не хочу терять скорость и чувство полета. Прощай, Зина, я возьму тебя в другой раз.

И опять легок мой велосипед, я поворачиваю его вспять — зачем мне река? — и мчусь быстрее и быстрее, будто подхваченный вихрем. А рядом мчатся на тонких велосипедах отец, дядя и мой умерший дед, в клетчатых рубашках и плоских кепочках. Не зря верил я в чудо велосипеда — он соединил живых и мертвых в прекрасной, захватывающей дух гонке, он отрицал, убивал смерть, тонкий, рогатый, металлический, легкий и стремительный бог!

И уже не скованные земным пространством, мы уносимся в небо. Под нами колышутся зелеными волнами кроны деревьев, проплывает купол Армянской церкви с золотым цветом креста и, в очерненной позолоте, главы и кресты русской церкви, наждачно-сухие зеленые и красные крыши московских домов, и голуби, как приколотые, висят над крышами у чердачных окошек — наша быстрота наделила их недвижимостью...

Мы молчим, даже не улыбаемся друг другу. Нас связывает движение, в нем наша общность, и наше тепло, и радость свидания. Вот галки сажей помазали небо впереди, и мы проносимся сквозь черные хлопья в синеву и чистоту; в светлом прорыве лишь мы да серпики ласточек, и бьется, и замирает сердце от счастья полета и узнанной тайны: пусть дед ушел, но всегда наготове его быстрый велосипед, чтобы соединиться с нами, живыми...

Бабочки

В тот далекий год моего детства отец работал прорабом на строительстве крупного саратовского завода. На лето мы с мамой поехали к нему. Отец снимал комнату в маленьком одноэтажном доме с чахлым садиком, рядом с базарной площадью.

Вскоре после нашего приезда сын квартирных хозяев, высокий, серьезный мальчик, в круглых очках, года на два старше меня, показал мне свою коллекцию бабочек. Он хранил ее в плоских картонных коробках из-под детской игры с загадочным названием «Ричи-Раче». Наколотые иголками на картон, с распластанными крылышками, похожими то на лепестки цветка, то на тончайший шелк, то на бархотку, то на клочки яркого, пестрого ситца, бабочки были очень красивы. Я никогда не думал, что бабочек так много и они такие разные. Я смотрел на них и понимал, что отныне не смогу жить, если не соберу такой же коллекции. Что привлекло меня: красота ли этих бабочек, предощущение ли азарта, или я просто дал захватить себя чужому вдохновению?

А мальчик в круглых очках с глубоким, хотя и сдержанным увлечением рассказывал о своих сокровищах.

Вот уральский махаон — у бабочки ярко-желтые, изящно и остро удлиненные книзу крылышки с темным бордюром. Вот белый махаон — он еще крупнее, чем уральский, но ценится меньше. А вот траурница — темно-коричневые крылышки обведены белой каймой с черной полоской по краю. Вот пестренькие бабочки-сестры: одну называют аванесе-це, другую — аванесе-

ланта. Вот мраморница — ее крылышки, подобно мрамору, покрыты сложным разводом. Желтенькая — лимонница; беленькая с черными полосками — боярышница. Вот эти, будто натертые углем, так и называются черными. А дальше мелочь — разные мотыльки.

Я благоговейно слушал, и каждое название намертво ложилось в память.

Покончив с дневными бабочками, хозяйский сын перешел к ночным.

— Видишь, надкрылья у них серые, окрашены только нижние крылышки. Когда они садятся на ствол дерева, то складываются конвертиком, так что их не отличишь от коры. Вот розовый бражник, вот голубой, а этот молочайный — вон какой здоровенный! А вот самая главная... — Мальчик вынул из стола папиросную коробку, медленно открыл. — Мертвая голова! — произнес он тихо и таинственно. — Видишь, на спине череп?

Я смотрел на огромного ночного летуна, с черным распахом верхних крыльев и нежной желтизной округлых нижних крылышек, с вощаным, толстеньким телом, и готов был увидеть не только череп, но и целый скелет. Я был околдован.

Хозяйский сын собрал свои коробки и тщательно завернул в газетную бумагу. А на следующий день он уехал за Волгу, в пионерский лагерь. Я же, раздобыв марлю, проволоку и нитки, стал сооружать сачок — покупные сачки, по словам хозяйского сына, годятся лишь для ловли гусениц.

Целый месяц я прожил как в тумане. Я совсем не замечал кипучей жизни реки с ее белыми высокими пароходами, длинными караванами барж, парусниками, плотами, — мое внимание было приковано лишь к песчаному островку, густо поросшему шиповником: там трепыхались в воздухе желтые платица лимонниц да пестрые с рыжинкой — больших и малых оранжевых. Я совсем не знал улицу, на которой жил, но до сих пор помню отчетливо все девять «остановок» — так назывались в Саратове девять дачных поселков, связанных между собой и с городом одноколейной линией пригородного трамвая, — где приобрел лучшие экземпляры дневных и ночных бабочек.

Вначале мы с мамой отваживались ездить лишь до

пятой остановки. Трамваи ходили редко и нерегулярно, порой что-то портилось в них, и они на долгие часы замирали на путях. Каждая поездка грозила опасностью не вернуться в тот же день в город. И все же мы подавались дальше и дальше. Наша отвага была вознаграждена: на восьмой остановке, близ крошечного бочажка, глядевшего из травы голубым, как незабудка, глазом, я накрыл сачком медлительного, низко и плавно парящего белого махаона, а несколько дней спустя поймал тут же его более быстрого уральского собрата. Правда, за этим ловким и стремительным, не боящимся высоты летуном мне пришлось немало побегать. Трижды или четырежды терял я его из виду и хотел было прекратить погоню: простор накрылся вдруг глухой, мертвенной тенью и сонно забормотал вдалеке гром. Но туча прошла стороной, вновь заблестало солнце, и в его луче дразнящим золотым листиком зареял уралец. Наконец, запыхавшийся, потный, растрепанный и счастливый, я показывал маме свою добычу.

— Это аванесе-це? — с улыбкой спросила мама, азартно следившая за страстным моим увлечением.

Несмотря на все мои усилия, коллекция росла медленно. Много бабочек пропадало из-за моей ручной неумелости. Для приобщения к коллекции бабочку надо распялить с помощью полосок бумаги и булавок. То я слишком грубо распяливал бабочкам крылья, и они обрывались; то бумажные полоски стирали нежную пыльцу, и бабочки выходили из распялки полуголыми; то я слишком рано снимал закрепки, и крылышки складывались парусом, а при попытке разлепить их ломались. Так погибали первые мои махаоны, несметное число крошечных, хрупких мотыльков и даже великолепная траурница.

Отчаяние мое было так велико, что мама решила взять меня на последнюю, девятую остановку, откуда, по уверению отца, не вернулся еще ни один трамвай. К полудню, проплутав часа два по лесным дорогам, мы оказались в зачарованной, благоуханной тиши великолепного соснового леса. Голубоватые, прямые, клубящиеся пылинками лучи солнца, словно прожекторы, просвечивали плотный строй высоких, как на подбор, мачтовых сосен.

Я подобрал крепкую палку и, колотя ею по стволам сосен, двинулся вперед. Сосны коротким, звонким эхом откликались на удары, с ветвей что-то осыпалось, взлетало, вызывая у меня сладкую дрожь. Наконец словно крупная шелушина слоистой коры отделилась от одного из стволов, протрепыхала в воздухе, перелетела на другой ствол и слилась с ним. Лишь на краткий миг в сером трепыхании шелушины мелькнули голубоватые пятнышки, и я уже не сомневался, что это молочайный бражник.

Я кинулся к сосне, но бражник так замаскировался, что его невозможно было обнаружить. Тогда я ударил палкой по стволу — бражник перетерпел, не выдал себя, но на меня накинулся целый рой ос, гнездовавших на сосне. Казалось, в одну секунду мне сделали все прививки, от оспы до противостолбнячной. С диким воем, выпустив палку, я бросился назад. А громадные, вислозадые, как скаковые кони, осы яростно гудели надо мной, то и дело жала голову, шею, плечи.

Весь искусанный, прибежал я к матери.

— А знаешь, — сказала мама, — ведь бражник, наверное, так и сидит себе на сосне.

Преданно и благодарно взглянув на свою азартную мать, я снова направился к сосне, где хоронился бражник и с грозным гудом облетывали свое гнездо вислозадые осы. Теперь я пробирался ползком, используя для укрытий каждый кустик, каждую впадину и бугорок. У маленькой, пушистой, нежно-зеленой елочки, шагах в четырех от сосны, я залег и стал обозревать ствол. Как ни внимательно приглядывался я, ничего, кроме лиловых заусенцев коры, обнаружить не мог. Но постепенно глаза мои обрели удивительную зоркость: я различал уже всевозможных жучков, сверлящих в коре свои тонкие ходы, муравьев, снующих по коре в поисках строительного материала, и совсем крошечную, с муравьиный глаз, черную и блестящую, как антрацит, букашину, рядом с которой божья коровка казалась величиной с дом.

И тут я увидел бражника, и второго, и третьего, и четвертого, вся сосна была усеяна бражниками. Ожившие от дуновения ветра шелушинки обманули перетруженный глаз. Я отвел взгляд, а когда вновь посмотрел на сосну, то и впрямь увидел настоящего, единственно-

го своего бражника. Он медленно полз вверх, подрагивая крылышками и шевеля усиками. Еще немного, и бражник подыметя так высоко, что мне его уже не достать. В два прыжка я достиг сосны и накрыл ладонью щекотно встрепенувшегося летуна. Затем осторожно отнял его от ствола и кинулся бежать.

Снова гудели надо мной разъяренные осы, снова вонзали свое горячее, острое жало в лицо, шею, плечи. Но я не чувствовал боли: в кулаке у меня стрекотал живой, тугой, неуловимый летун!

Вернулись мы поздно ночью с каким-то случайным, заблудшим трамваем. Отец ждал нас на улице, у него было черное от тревоги лицо...

Теперь в моей коллекции не хватало лишь королевы ночи, таинственной и жуткой мертвой головы. Хозяинский сын говорил мне, что мертвую голову можно поймать только на свет фонаря. И начались ночные бдения. Каждый вечер выходил я в сад с большим жестяным фонарем. Здесь я просиживал часами, сам, как и фонарь, облепленный летающей со всех сторон мошкаррой и мотыльками. Порой на освещенной земле мелькала тень покрупнее, я вздрагивал и потом долго слышал, как стучит во мне сердце.

Однажды я задремал, сидя у фонаря. В полусне мне виделись какие-то странные летучие существа, они прикидывались то птицами, то крылатыми ящерицами, то листьями. Но всякий раз, как летун приближался, я видел череп с черными ямами глазниц и узкую щель рта. Поначалу эти реющие призраки не пугали меня, затем я вдруг резко вздрогнул и проснулся. В упор на меня смотрели два больших темных глаза, в глубине их мерцало по золотому ядрышку. Я смутно различил крутые своды надбровных дуг, странную, шевелящуюся, похожую на губку мякоть храпа и короткий блеск мелькнувшего в зевке резца.

— Мертвая голова! — вскричал я и взмахнул сачком.

Губчатая морда вскинулась, обнаружив худую, длинную шею, золотые ядрышки утонули в черноте зрачков, короткий фырк — и на меня извергся целый фонтан пенных и теплых брызг.

Мимо нашего дома постоянно тянулись к базару и с базара верблюжьих упряжки. Я пытался накрыть сач-

ком верблюда, заглянувшего в сад поверх невысокого забора.

Однажды вечером родители ждали гостей. Меня это нисколько не интересовало, я налаживал фонарь, готовясь к обычной ночной охоте, и тут услышал, что среди гостей будет легендарный Федор Сергеевич, знаменитый путешественник, живший через три дома от нас. Ребята с нашей улицы рассказывали, что квартира Федора Сергеевича забита чучелами животных, птиц, рыб, коллекциями цветов, растений, минералов, раковин и монет, старинным оружием и утварью и всякими другими чудесами, собранными им во время его странствий по всему свету. Говорили, что у него есть настоящий мамонтовый клык, гарпун, которым он убил самого большого кита, живой попугай, говорящий на трех языках, тибетский кот и редчайшее животное — мангуста. Мы не раз пытались заглянуть в окна Федора Сергеевича, но стоявшие на подоконнике горшки с кактусами и аквариумы с золотыми рыбками надежно прикрывали таинственные недра. Живя последние годы на покое, Федор Сергеевич и сейчас совершал небольшие путешествия по окрестностям, то на моторной лодке, то на старом, задышливом мотоцикле.

Конечно, ради такого знакомства я, не колеблясь, пожертвовал ночной охотой. Гости было много, но я никого не видел, кроме высокого, тощего старика в парусиновой куртке с короткими рукавами, откуда торчали большие, как лопаты, загорелые руки. У Федора Сергеевича были соломенные, лишь на висках тронутые сединой волосы, длинная, морщинистая, бурая от загара шея, добрые, близоруко прищуренные глаза. Перед тем как сели ужинать, мама, угадав томившее меня желание, подсунула Федору Сергеевичу мою коллекцию.

— Ну-ну, — сказал он глуховатым голосом, потирая большие, темные руки. — Посмотрим, посмотрим...

Многие смотрели мою коллекцию, но никто не смотрел с такой пристальной серьезностью, как Федор Сергеевич. Он ничего не говорил, только мягко побрякивал, но для меня это значило куда больше, чем умеренные и равнодушные восторги других. А потом он оседлал нос очками и стал читать названия, которыми я, как истый коллекционер, снабдил каждый эк-

земляр. На лице его мелькнуло изумление, затем он вдруг негромко, со вкусом расхохотался и снял враз запотевшие очки.

— Что это! — заговорил он сквозь смех, промокая подглазья клетчатым носовым платком. — Может, я отстал от науки, но почему эта капустная совка переименована в боярышницу, а бурая медведица в мраморницу? Лимонница — это, конечно, поэтично, но желтушка луговая все же вернее. А что такое аванесеце и аванесе-ланта? — Он еще раз со смехом повторил эти названия. — Нет, скажи-ка, любезный, где раздобыл ты эту классификацию?

— Мне так сказали... — пробормотал я.

— Ну, так тебя обманули! — безжалостно объявил он. — Таких бабочек нет в природе. Есть группа Ванес. Аванес же просто армянское имя. А это вот, запомни, пяденица, а не прядалица, дай я тебе напишу...

Я протянул ему карандаш. Исчезли привычные, сросшиеся с моим сердцем названия, которые звучали для меня, как боевой клич; названия, что пружинили мышцы, напрягали нервы, когда, усталый, потный, я продирался сквозь колючий репейник или секущую до крови крапиву в погоне за быстрой, верткой беглянкой. Оказывается, я не ловил никакой траурницы, я ловил монашку. Может, так даже и лучше, но это открытие принесло мне лишь горькое чувство утраты, как и всевозможные совки, златогузки, огневки и шашечницы, заместившие моих выстрадавших боярышниц, лимонниц, капустниц, больших и малых оранжевых. У меня отняли целый мир, я чувствовал себя обманутым, обобраным, нищим! Что с того, что теперь я знаю правильные названия бабочек! Эти названия ничего не говорили моему сердцу, они были мертвы для меня...

Долгое время самый вид парящей в воздухе бабочки был неприятен мне как память о пережитом. И только мертвая голова по-прежнему манила и притягивала.

Уже в отроческие годы, оказавшись в ночном саду или в лесу, я вдруг затаивал дыхание и начинал тревожно всматриваться в темные стволы деревьев и в чуть более светлые прозоры между ними — не покажется ли наконец таинственный летун? Порой эту надеж-

ду вызывали во мне ночные голоса леса. Рыдающий хохот филина, тоскливый вскрик совы, неистовый, исполненный ужаса перед самим собой вопль сыча мгновенно рождали во мне чувство: сейчас она появится. Бабочка не появлялась, и с годами я перестал думать о ней.

Однажды, восемнадцатилетним, я сидел на скамейке в Нескучном саду. Час был поздний, давно зажглись фонари, ярко зазеленив листву деревьев. Но июньское небо на западе еще светлело острой, бутылочного оттенка голубизной. На душе у меня было тревожно и радостно, я только что сдал последний экзамен в институт и думал о том увлекательном и трудном мире науки, в который мне предстояло вступить. Я смотрел прямо перед собой на куст жимолости, из которого росла тонкая, высокая осина, казалось, сама рождавшая ветер: в окружающем безмолвии только ее листочки неустанно трепетали.

И вдруг я увидел, как на бледную кору опустился огромный, с летучую мышь, мотыль и сложил крылья треугольником. Бразжник немного прополз по стволу, повел усиками вправо, влево и замер. На толстой, вощаной спинке отчетливо проступали очертания черепа с черными впадинами глазниц и щелью беззубого рта.

«Мертвая голова», — равнодушно подумал я. Мне вспомнилась горячка саратовского лета, ночные бдения с фонарем, зачарованность моей тогдашней детской души. Неужто все это минуло безвозвратно, как если бы было пережито не мной, а каким-то иным, безразличным мне человеком? Или ничто не минует, что пережито полной душой, и еще вернется ко мне в другую пору и в другом образе?

Синегория, берег, пустынный в послеполуденный час, девчонка, возникшая из моря... Этому без малого тридцать лет!

Я искал камешки на диком пляже. Накануне штормило, волны шипя переползали пляж до белых стен Приморского санатория. Сейчас море стихло, ушло в свои пределы, обнажив широкую, шоколадную, с синим отливом полосу песка, отделенную от берега валиком гальки. Этот песок, влажный и такой твердый, что на нем не отпечатывался след, был усеян сахарными голышами, зелено-голубыми камнями, гладкими, округлыми стеклышками, похожими на обсосанные леденцы, мертвыми крабами, гнилыми водорослями, издававшими едкий йодистый запах. Я знал, что большая волна выносит на берег ценные камешки, и терпеливо, шаг за шагом обследовал песчаную отмель и свежий намыв гальки.

— Эй, чего на моих трусиках расселся? — раздался тоненький голос.

Я поднял глаза. Надо мной стояла голая девчонка, худая, ребрастая, с тонкими руками и ногами. Длинные мокрые волосы облепили лицо, вода сверкала на ее бледном, почти не тронutom загаром теле, с пупырчатой проголубью от холода.

Девчонка нагнулась, вытащила из-под меня полосатые, желтые с синим трусики, встряхнула и кинула на камни, а сама шлепнулась плашмя на косячок золотого песка и стала подгребать его к бокам.

— Оделась бы хоть... — проворчал я.

— Зачем? Так загорать лучше, — ответила девчонка.

— А тебе не стыдно?

— Мама говорит, у маленьких это не считается. Она не велит мне в трусиках купаться, от этого простужаются. А ей некогда со мной возиться...

Среди темных, шершавых камней вдруг что-то нежно блеснуло: крошечная, чистая слезка. Я вынул из-за пазухи папиросную коробку и присоединил слезку к своей коллекции.

— Ну-ка, покажи!

Девчонка убрала за уши мокрые волосы, открыв тоненькое, в темных крапинках лицо, зеленые, кошачьи глаза, вздернутый нос и огромный, до ушей, рот, и стала рассматривать камешки.

На тонком слое ваты лежали: маленький, овальный, прозрачный, розовый сердолик и другой сердолик, покрупнее, но не обработанный морем и потому бесформенный, глухой к свету, несколько фернампиков в фарфоровой, узорчатой рубашке, две занятные окаменелости, одна в форме морской звезды, другая с отпечатком крабика, небольшой «куриный бог» — каменное колечко и гордость моей коллекции — дымчатый топаз, клочок тумана, растворенный в темном стекле.

— За сегодня собрал?

— Да ты что? За все время!..

— Небогато.

— Попробуй сама!

— Очень надо! — Она дернула худым, шелушащимся плечом. — Целый день ползать по жару из-за паршивых камешков!

— Дура ты! — сказал я. — Голая дура!

— Сам ты дурачок! Марки небось тоже собираешь?

— Ну, собираю! — ответил я с вызовом.

— И папиросные коробки?

— Сбирал, когда маленьким был.

— А чего ты еще собираешь?

— Раньше у меня коллекция бабочек была...

Я думал, ей это понравится, и мне почему-то хотелось, чтобы ей понравилось.

— Фу, гадость! — Она вздернула верхнюю губу, показав два белых острых клычка. — Ты раздавливал им головки и накалывал булавками?

— Вовсе нет, я усыплял их эфиром.

— Все равно гадость... Терпеть не могу, когда убивают.

— А знаешь, чего я еще собирал? — сказал я, подумав. — Велосипеды разных марок.

— Ну да!

— Честное слово! Я бегал по улицам и спрашивал у всех велосипедистов: «Дядя, у вас какая фирма?» Он говорил: «Дукс», или там «Латвелла», или «Опель». Так я собрал все марки, вот только «Эндфильда модели Ройаль» у меня не было... — Я говорил быстро, боясь, что девчонка прервет меня какой-нибудь насмешкой, но она смотрела серьезно, заинтересованно и даже перестала сеять песок из кулака. — Я каждый день бегал на Лубянскую площадь, раз чуть под трамвай не угодил, а все-таки нашел «Эндфильд Ройаль»! Знаешь, у него марка лиловая с большим латинским «Р».

— А ты ничего... — сказала девчонка и засмеялась своим большим ртом. — Я тебе скажу по секрету, я тоже собираю...

— Чего?

— Эхо... У меня уже много собрано. Есть эхо звонкое, как стекло, есть, как медная труба, есть трехголосое, а есть горохом сыплется, еще есть...

— Ладно врать-то! — сердито перебил я.

Зеленые, кошачьи глаза так и впились в меня.

— Хочешь, покажу?

— Ну, хочу...

— Только тебе, больше никому. А тебя пустят? Придется на Большое седло лезть.

— Пустят!

— Так завтра с утра и пойдем. Ты где живешь?

— На Приморской, у болгар.

— А мы у Тараканихи.

— Значит, я твою маму видел! Такая высокая, с черными волосами?

— Ага. Только я свою маму совсем не вижу.

— Почему?

— Мама танцевать любит... — Девчонка тряхнула уже просохшими, какими-то сивыми волосами. — Давай купнемся напоследок!

Она вскочила, вся облепленная песком, и побежала к морю, сверкая розовыми, узкими пятками.

...Утро было солнечное, безветренное, но не жаркое. Море после шторма все еще дышало холодом и не давало солнцу накалить воздух. Когда же на солнце наплывало папиросным дымком толстое облачко, снимаемая с гравия дорожек, белых стен и черепичных крыш слепящий южный блеск, простор угрюмел, как перед долгой непогодью, а холодный ток с моря разом усиливался.

Тропинка, ведущая на Большое седло, вначале петляла среди невысоких холмов, затем прямо и сильно тянула вверх, сквозь густой, пахучий ореховый лес. Ее прорезал неглубокий, усеянный камнями желоб, русло одного из тех бурных ручьев, что низвергаются с гор после дождя, рокоча и звеня на всю округу, но иссякают быстрее, чем высохнут дождевые капли на листьях орешника.

Мы отмахали уже немалую часть пути, когда я решил узнать имя моей приятельницы.

— Эй! — крикнул я желто-синим трусикам, бабочкой мелькавшим в орешнике. — А как тебя зовут?

Девчонка остановилась, я поравнялся с ней. Ореховая заросль тут редела, расступалась, открывая вид на бухту и наш поселок — жалкую горстку домишек. Огромное, серьезное море простиралось до горизонта водой, а за ним — туманными, мутно-синими полосами, наложенными в небе одна на другой. А в бухте оно притворялось кротким и маленьким, играя, протягивало вдоль кромки берега белую нитку, скусывало ее и вновь протягивало...

— Не знаю даже, как тебе сказать, — задумчиво проговорила девчонка. — Имя у меня дурацкое — Викторина, а все зовут Витькой. Можно Викой звать. Тьфу, гадость! — она знакомо обнажила острые клычки.

— Почему? Вика — это дикий горошек.

— Его еще мышинным зовут. Терпеть не могу мышей!

— Ну, Витька так Витька, а меня — Сережа. Нам еще далеко?

— Выдохся? Вот лесника пройдем, а там уже и Большое седло видно.

Но мы еще долго петляли терпко медвяно-душным орешником. Наконец тропинка раздалась в каменистую дорогу, бело сверкающую тонким, как сахарная пудра,

песком, и вывела нас на широкий, пологий уступ. Тут, в гуще абрикосовых деревьев, ютилась сложенная из ракушника сторожка лесничего.

Едва мы подступили к уютному домику, как тишина взорвалась бешеным лаем. Гремя цепями, навешенными на длинную проволоку, на нас вынеслись два огромных, лохматых, грязно-белых пса, взвились в воздух, но, удушенные ошейниками, выкатили розовые языки, захрипели и шмякнулись на землю.

— Не бойся, они не достанут! — спокойно сказала Витька.

Зубы псов клацали в полушаге от нас, я видел репы в их загривках, клещей, раздувшихся с боб, на храпе, только глаза их тонули в шерсти. Странно, из сторожки никто не вышел, чтобы унять псов. Но как ни кидались псы, как ни натягивали проволоку, они не могли нас достать. И когда я уверился в этом, мне стало щемяще-радостно. Наш поход вел нас к скалам и пещерам, населенным таинственными голосами, не хватало лишь грозных стражей, драконов, преграждающих смельчакам доступ к тайне. И вот они, драконы, — эти заросшие, безглазые, с красномясым зевом псы!

И опять мы петляем орешником по ниточно сузившейся тропе. Тут орешник не такой густой, как внизу, многие кусты посохли, на других листья изъедена в паутину мелким, блестящим, черным жучком.

Я устал и злился на Витьку. Она знай себе вышагивала своими тонкими, прямыми, как палки, ногами с чуть скошенными во внутрь коленками. Но впереди вдруг просветлело, я увидел склон, поросший низкой, бурой травой, вдалеке тянулась кверху серая скала.

— Чертов палец! — на ходу бросила Витька.

По мере того как мы подходили, серый скалистый торчок вздымался выше и выше, казалось, он вырос-тал несоразмерно нашему приближению. Когда же мы ступили на его темную, прохладную тень, он стал чудовищно громаден. Это был не Чертов палец, Чертова башня, мрачная, загадочная, неприступная. Словно отвечая на мои мысли, Витька сказала:

— Знаешь, сколько людей хотели на него забраться, ни у кого не вышло. Одни насмерть разбились, другие руки-ноги поломали. А один француз все-таки залез.

— Как же он сумел?

— Вот сумел... А назад спуститься не мог и сошел там с ума и после от голода умер... А все-таки молодец! — добавила она задумчиво.

Мы подошли вплотную к Чертову пальцу, и Витька, понизив голос, сказала:

— Вот тут. — Она сделала несколько шагов назад и негромко крикнула: — Сережа!

«Сережа...» — повторил мне в самое ухо насмешливо-вкрадчивый голос, будто родившийся в недрах Чертова пальца.

Я вздрогнул и невольно шагнул прочь от скалы, и тут навстречу мне, от моря, звонко плеснуло:

«Сережа!..»

Я замер, и где-то сверху томительно-горько простонало:

«Сережа!..»

— Вот черт! — сдавленным голосом произнес я.

«Вот черт!..» — прошелестело над ухом.

«Черт!..» — дохнуло с моря.

«Черт!..» — отозвалось в выси.

В каждом из этих незримых пересмешников чувствовался стойкий и жутковатый характер: шептун был злобно-вкрадчивым тихоней, морской голос принадлежал холодному весельчаку, в выси скрывался безутешный и лицемерный плакальщик.

— Ну чего ты?.. Крикни что-нибудь! — сказала Витька.

А в уши, перебивая ее голос, лезло шепотом: «Ну чего ты?..», звонко, с усмешкой: «Крикни», и как сквозь слезы: «Что-нибудь».

С трудом, пересилив себя, я крикнул:

— Синегория!

И услышал трехголосый отклик...

Я кричал, говорил, шептал еще много всяких слов. У эха был острейший слух. Некоторые слова я произносил так тихо, что сам едва слышал их, но они неизменно находили отклик. Я уже не испытывал ужаса, но всякий раз, когда невидимый шептал мне на ухо, у меня холодел позвоночник, а от рыдающего голоса сжималось сердце.

— До свидания! — сказала Витька и пошла прочь от Чертова пальца.

Я устремился за ней, но шепот настиг меня, прошестев ядовито-вкрадчиво слова прощания, и хохотнула морская даль, и голос сверху застонал:

«До свидания!..»

Мы шли в сторону моря и вскоре оказались на каменистом выступе, нависшем над пропастью. Справа и слева вздымались отроги гор, а под нами зияла бездна, в которой тонул взгляд. Если бы Чертов палец провалился сквозь землю, он оставил бы за собой такую вот огромную, страшную дыру. В глубине провала торчали острые, слизые скалы, похожие на клыки великана, в них тараном било темное, с чернильным оттенком море. Какая-то птица, распластав недвижные, будто омертвелые, крылья, медленно, кругами падала в бездну.

Казалось, что-то еще не кончено здесь, не пришли в равновесие грозные силы, вырвавшие из недр земли гигантский каменный палец, расколовшие горную твердь чудовищным колодцем, изострившие его дно шипами скал и заставившие море раздирать о них свой нежный язык. Весь каменный громозд вокруг и внизу был непрочным, зыбким, в скрытом внутреннем напряжении, стремящемся к пределу... Конечно, я не умел тогда назвать то мучительно-тревожное ощущение, какое охватило меня на обрыве Большого седла...

Витька легла на живот у самого края обрыва и поманила меня. Я распластался возле нее на твердой и теплой каменистой глади, и сосущая, леденящая притягательность бездны исчезла, стало совсем легко смотреть вниз. Витька наклонилась над обрывом и крикнула:

— Ого-го!..

Миг тишины, а затем густой, рокочущий голос трубно прогремыкал:

«О-го-го-у!..»

В голосе этом не было ничего страшного, несмотря на силу его и густоту. Видимо, в пропасти обитал добрый великан, не желавший нам зла.

Витька спросила:

— Кто была первая дева?

И великан, немного подумав, отозвался со смехом:

«Ева!..»

— А знаешь, — сказала Витька, глядя вниз, — ни-

кому не удавалось спуститься с Большого седла к морю. Один дядька добрался до середины и там застрял...

— И умер с голода? — спросил я насмешливо.

— Нет, ему кинули веревку и вытащили... А по моему, спуститься можно.

— Давай попробуем?

— Давай! — живо и просто откликнулась Витька, и я понял, что это всерьез.

— В другой раз, — неловко отшутился я.

— Тогда пошли... Будь здоров! — крикнула Витька в пропасть и вскочила на ноги.

«Здоров!..» — гоготнул великан.

Мне еще хотелось поговорить с ним, но Витька потащила меня дальше.

Новое эхо — по словам Витьки, «звонкое, как стекло», — гнездилось в узком, будто надрез ножа, ущелье. У эха был тонкий, пронзительный голос. Даже басом сказанное слово оно истончало до визга. И что еще противно: провизжав ответ, эхо не замолкало, а еще долго пропискивало мышью в каких-то своих щелях.

Мы не стали задерживаться у расщелины и пошли дальше. Теперь нам пришлось карабкаться вверх по крутому склону, то покрытому бурой жесткой травой и колючками, то голому, полированно-скользкому. Наконец мы оказались на уступе, заваленном огромными каменными глыбами. Каждая глыба что-нибудь напоминала: корабль, танк, быка, голову, которую победил Руслан, поверженного воина в доспехах, береговое орудие с отбитым стволом, верблюда, пасть ревущего льва, а то и части тела искромсанного гиганта — нос с горбинкой, ушную раковину, челюсть с бородой, могучий, так и не разжавшийся кулак, босую ступню, лоб с завитками кудрей...

Все эти закаменевшие существа, части существ, предметы, одетые камнем, перебрасывались, будто мячом, прозвучавшим среди них словом, с мгновенной быстротой и резкой краткостью отражая гранями звук. Тут-то и обитало «гороховое» эхо...

Но самым удивительным было эхо, о котором Витька ничего не сказала мне. Мы не шли к нему, а ползли по круче, цепляясь за выступы, за лишайник, сухие кусточки. Из-под наших ног и рук осыпались камешки, увлекали за собой более крупные камни, позади

нас творился непрерывный грохот. Когда я оглянулся, то подивился малости той высоты, которая кружила нам голову на обрыве. Море уже не казалось откуда гладью; беспредельное, неохватное, оно сливалось с небом, образуя с ним единую сферу — купол, царящий над всем зримым простором. И Чертов палец, подчеркивая нашу высоту, вновь умалился до торчка.

Витька остановилась у полукруглого темного провала, ведущего в глубь горы. Я заглянул туда и, когда глаза несколько привыкли к темноте, увидел сводчатую пещеру с длинными бородами каменных сосуллек. Стены источали зеленое, красное, синее мерцание, из пещеры тянуло затхлостью склепа, и я невольно отшатнулся.

— Здравствуй! — крикнула Витька, сунув голову в дыру.

И будто заухали, сталкиваясь, пустые бочки, под сводом тяжело отдавалось «бом», дребезжало по углам и низким охом, наконец, вырвалось наружу, словно сама гора испустила дух.

С почтительным изумлением глядел я на Витьку. Худая, крапчатая, с трепаными, сивыми волосами, острыми клычками в углах губ, с зелеными, блестящими глазами, она сама казалась мне сейчас такой же сказочной, как и сокровенный мир, в который она ввела меня.

— А ну крикни! — приказала Витька.

Я наклонился и «ахнул» в маленький черный рот горы. И опять там заухало, заверещало, а затем дохнуло мне в лицо нездешним, гнилостным холодом. Ужасное одиночество охватило меня вдруг, одиночество и незащитность посреди этого каменистого, отвесного, из кручи падей, мира, населенного загадочными, дикими голосами.

— Пойдем, — сказал я Витьке, выдавая свое смятение. — Пойдем отсюда!

Дальнейший наш путь я воспринимал как бесконечное падение вниз. На этом пути мимо нас снова промелькнули и каменное кладбище, и Чертов палец, и больной, источенный орешник, и взлетающие на цепях, хрипящие в удушье лесниковы псы, и другой, полный силы орешник. Наше падение оборвалось в сухой балке, огибавшей поселок со стороны гор.

— Ну что, интересно было? — спросила Витька, когда мы ступили на нашу улицу.

Я вновь чувствовал себя в безмятежной привычности, и Витька уже не казалась мне сказочной хозяйкой горных духов. Просто карзубая, костлявая, некрасивая девчонка. И перед этой-то девчонкой я праздновал труса!

— Интересно... — сказал я лениво. — Только какая же это коллекция?

— А тебе лишь бы в коробку да за пазуху?

— Нет, отчего же... А только эхо каждому откликается, не тебе одной.

Витька как-то странно, долго посмотрела на меня.

— Ну и что же, мне не жалко! — сказала она, тряхнув волосами, и пошла к своему дому.

Мы подружились с Витькой. Вместе облазали Темрюк-каю и гору Свадебную и на Свадебной, в гротике, нашли квакающее эхо. А вот Темрюк-каю, с ее отрогами, мощными склонами и остро вонзающейся в небо вершиной, оказалась совсем бесплодной.

Мы почти не расставались. Я привык к тому, что Витька купается голая, она была добрым малым, товарищем, и я совсем не видел в ней девчонки. Смутно я понимал природу ее стыдливости: Витька считала себя безнадежно уродливой. Я никогда не встречал человека, который бы так просто, открыто, с таким ясным достоинством признавался в своей некрасивости. Рассказывая мне как-то раз об одной школьной подруге, Витька бросила вскользь: «Она почти такая же уродина, как я».

Однажды мы купались неподалеку от рыбацкой пристани, когда с высокого берега посыпала ватага мальчишек. Я немного знал их, но мои робкие попытки сблизиться с ними ни к чему не приводили. Эти ребята не первый год отдыхали в Синегории, считали себя старожилками и не допускали чужаков в свою ватагу. Коноводом у них был высокий, сильный мальчик Игорь.

Я уже вышел из моря и, стоя на берегу, вытирался полотенцем, а Витька продолжала резвиться в воде. Подкараулив волну, она высоко подпрыгивала и перекатывалась на животе через гребень. Ее маленькие ягодицы сверкали.

Ребята небрежно ответили на мое приветствие и хотели уже пройти мимо, как вдруг один из них, в красных плавках, заметил Витьку.

— Ребята, глядите, голая девчонка!

Тут пошла потеха: крики, свист, улюлюканье. Надо отдать должное Витьке: она не обращала внимания на выходки мальчишек, но это лишь подливало масло в огонь. Мальчик в красных плавках предложил «загнуть девчонке салазки». Предложение было встречено с восторгом, и мальчик в красных плавках вразвалочку направился к воде. Но тут Витька с звериной быстротой нагнулась, нашарила что-то в воде, и, когда выпрямилась, в руке у нее был увесистый камень.

— Только сунься! — сказала она, ощерив свои острые клычки. — Всю морду разобью!

Мальчик в красных плавках остановился и попробовал ногой воду.

— Холодная... — сказал он, и уши его стали краснее плавок. — Неохота лезть...

Подошел Игорь и уселся на песок у самой кромки берега. Мальчик в красных плавках без слов понял своего вожака и опустился рядом, остальные ребята последовали их примеру. Они цепочкой отрезали Витьку от берега, одежды и полотенца.

Витька долго испытывала их терпение. Она то уплывала далеко в море, то возвращалась назад, ныряла, барахталась в воде, затем сидела на подводном камне, накатывая на себя руками волны. Но холод наконец взял свое.

— Сережа! — крикнула Витька. — Дай мне трусики!

Все это время я, сам того не замечая, вытирался полотенцем. Надраенная кожа горела, словно от ожога, а я все тер и тер посуху, будто хотел протереть себя до дыр. В жалкой и унижительной растерянности, владевшей мной, билось лишь одно отчетливое желание: только бы остаться непричастным к Витькиному позору.

— Сережа, подай своей даме трусики! — шутовским голосом пропичал мальчишка в красных плавках.

Повернувшись на локте, Игорь сказал мне с угрозой:

— Попробуй только!

Напрасное предупреждение: я и так бы не двинулся с места. Витька поняла, что ей нечего ждать от меня помощи. Жалко скорчившись, всем телом запав в худенький свой живот и закрывая его руками, лиловая и пупырчатая от холода, с покривившимся лицом, вылезла она из воды и бочком побежала к своим трусикам под хохот и свист мальчишек. То, чему она в чистоте своей души не придавала значения, предстало перед ней гадким, унижительным, стыдным.

Прыгая на одной ноге и все не попадая другой в кольцо трусиков, она кое-как оделась, подхватила с земли полотенце и побежала прочь. Вдруг она обернулась и крикнула мне:

— Трус!.. Трус!.. Жалкий трус!..

Из всех слов Витька выбрала самое злое, обидное и несправедливое. Должна же она была понять, что не кулаков Игоря я испугался. Но ей, видимо, хотелось вконец опозорить меня перед ребятами.

Не знаю, был ли то каприз вожака, не желающего идти на поводу у стаи, или что-то заинтересовало Игоря в Витьке, но только он вдруг спросил меня дружелюбно и доверчиво:

— Слушай, она что — чумовая?

— Конечно, чумовая! — подался я весь навстречу этой доброте.

— А чего ты с ней водишься?

Вовсе не для того, чтобы обелить Витьку, лишь желая выгородить себя, я сказал:

— С ней интересно, она эхо собирает.

— Чего? — удивился Игорь.

В низком порыве благодарной откровенности я тут же выложил все Витькины секреты.

— Вот это да! — восхищенно сказал Игорь. — Третье лето тут живу, а ничего подобного не слышал.

— А ты не загибаешь? — спросил меня мальчишка в красных плавках.

— Хотите, покажу?

— Все! — властно сказал Игорь, вновь становясь вожаком. — Завтра поведешь нас туда!

С утра моросило, горы затянуло сизо-белыми, как бы мыльными облаками, к угрюмому шуму побуревшего, цвета горной травы, моря примешивался рокот набухших ручьев и речек.

Но ватага Игоря решила не отступать. И вот снова вьется под ногой теперь уже знакомая тропка, а посреди нее, перекатывая гальку, бежит мутный, желтый ручеек. Орешник пахнет уже не медово-сладким, с легкой пригорчью духом, а гнилью палой листвы, кислетью размытой земли, в которой перетлевают что-то, источая уксусно-винный запах. Идти трудно, ноги разъезжаются на мокрой земле, оскальзываются на камнях...

Возле лесникова дома встретили нас обычным истошным лаем сторожевые псы, но в волглom воздухе лай их звучит мягче, глуше, да и сами они уже не кажутся такими грозными в своей мокро-свалывшейся шерсти. Видны их черные глаза, похожие на маслины.

А вот и больной, пораженный жучком орешник, ветер и дождь пообрывали его слабую, источенную листву, он стоит оголенный, печальный, и сквозь него виднеется угрюмая протемь моря.

Чертов палец, затянутый облаками, долго не показывался, затем в недосыгаемой выси прочернула его вершина, скрылась, на миг обнажился во весь рост его ствол и вмиг истаял в клубящемся воздухе. Странно, ветер рвал к морю, а легкие, как пар изо рта, облака тянули с моря. Они скользили по самой земле, накрывали нас влажной дымкой и вдруг исчезали, оседая росой на склонах.

Наконец из облачной мути вновь выдвинулся Чертов палец и преградил нам дорогу.

— Ну, подавай свои чудеса в решетке, — без улыбки сказал Игорь.

— Слушайте! — произнес я торжественно, чувствуя, как знакомо холодеют косточки хребта, сложил ладони рупором и закричал:

— Ого-го!..

В ответ — тишина, ни зловеще-вкрадчивого шепота, ни хохочущего всплеска с моря, ни жалобы в выси.

— Ого-го! — крикнул я еще раз, подступив ближе к Чертову пальцу, и все ребята вразнобой подхватили мой возглас.

Чертов палец молчал. Мы кричали и еще, и еще, и хоть бы малейший отзвук! Тогда я кинулся к пропасти — ребята за мной — и что было мочи заорал в клубящуюся глуть. Но и великан не отозвался.

В растерянности я заметался от пропасти к Чертову пальцу, от Чертова пальца к расщелине, и снова к пропасти, и снова к Чертову пальцу. Но горы безмолвствовали...

Я жалко стал уговаривать ребят подняться наверх, к пещере, уж там-то мы наверняка услышим эхо. Ребята стояли передо мной, молчаливые и суровые, как горы, потом Игорь разжал губы, чтобы сказать одно только слово:

— Трепач!

И, круто повернувшись, он пошел прочь, увлекая за собой всю ватагу.

Я плелся позади, тщетно пытаюсь понять, что же произошло. Меня не заботило сейчас презрение ребят, я хотел лишь постигнуть тайну своей неудачи. Неужто горы отзываются только на Витькин голос? Но когда мы были с ней вместе, горы послушно откликались и мне. Может, она впрямь владеет ключом, позволяющим ей запира́ть в каменных пещерах голоса?..

Наступили печальные дни. Витьку я потерял, и даже мама осудила меня. Когда я рассказал ей загадочную историю с эхом, мама смерила меня долгим, чуждым, изучающим взглядом и сказала невесело:

— Все очень просто: горы отзываются только чистым и честным..

Ее слова открыли мне многое, но не загадку горного эха.

Дожди не прекращались, море как бы поделилось на две части: в бухте оно было мутно-желтым от песка, наносимого реками и ручьями, в отдалении блистало чистым телом. Непрестанно дул ветер. Днем он размахивал серой простыней дождя, ночью, всегда ясной, в мелких белых звездах, он был сухим и черным, потому что обнаруживал себя в черном: в мятущихся сучьях, ветвях, стволах, в угольных тенях, пробегающих по освещенной земле.

Несколько раз я мельком видел Витьку. Она ходила на море в любую погоду и сумела набрать от скудного, редкого солнца густой, шоколадный загар. От тоски и одиночества я каждый день сопровождал теперь маму на базар, где шла торговля местными продуктами: овощами, абрикосами, козьим молоком, варенцом. Раз я повстречал на базаре Витьку. Она была одна, на руке

у нее висела плетеная сумка. Я смотрел, как она ходит среди лотков и бидонов в своих желто-синих трусиках, решительно отбирает помидоры, сама шлепает на весы шматок мяса, и с болью чувствовал, что потерял хорошего друга.

Утром, в первый солнечный день, я бродил по саду, подбирая палье, с мягкой гнильцой абрикосы, когда кто-то окликнул меня. У калитки стояла девочка в белой кофточке с синим матросским воротником и синей юбке. Это была Витька, но я не сразу ее узнал. Ее синие волосы были гладко причесаны и назади повязаны ленточкой, на загорелой шее ниточка коралловых бус, на ногах туфли из лосиной кожи. Я бросился к ней.

— Слушай, мы уезжаем, — сказала Витька.

— Почему?

— Маме тут надоело... Вот что, я хочу оставить тебе свою коллекцию. Мне она все равно ни к чему, а ты покажешь ребятам и помиришься с ними.

— Никому я не покажу! — горячо воскликнул я.

— Как хочешь, пусть она останется у тебя. Ты догадался, почему у вас ничего не вышло?

— А ты откуда знаешь, что не вышло?

— Слышала... Так догадался?

— Нет...

— Понимаешь, самое главное, это с какого места кричать. — Витька доверительно понизила голос. — У Чертова пальца — только со стороны моря. А ты, наверное, кричал с другой стороны, там никакого эха нету. В пропасти надо свеситься вниз и кричать прямо в стенку. Помнишь, я тогда тебе голову нагнула?.. В расщелине ори в самую глубину, чтобы голос дальше ушел. А вот в пещере всегда отзовется, только вы туда не дошли. И у камней тоже...

— Витька!.. — начал я покаянно.

Ее тонкое лицо скривилось.

— Я побегу, а то автобус уйдет...

— Мы увидимся в Москве?

Витька мотнула головой.

— Мы же из Харькова.

— А сюда вы еще приедете?

— Не знаю... Ну, пока! — Витька смущенно склонила голову к плечу и побежала прочь.

У калитки стояла моя мама и долгим, пристальным взглядом глядела вслед Витьке.

— Кто это? — как-то радостно спросила мама.

— Да Витька, она у Тараканихи живет.

— Какое прелестное существо! — глубоким голосом сказала мама.

— Да нет, это Витька!..

— Я не глухая... — Мама опять посмотрела в сторону, куда убежала Витька. — Ах, какая чудесная девочка! Этот вздернутый нос, пепельные волосы, удивительные глаза, точеная фигурка, узкие ступни, ладони...

— Ну что ты, мама! — вскричал я, огорченный странным ее ослеплением, оно казалось мне чем-то обидным для Витьки. — Ты бы видела ее рот!

— Прекрасный большой рот! Ты ровным счетом ничего не понимаешь!

Мама пошла к дому, я несколько секунд смотрел ей в спину, потом сорвался и кинулся к автобусной станции.

Автобус еще не ушел, последние пассажиры, нагруженные сумками и чемоданами, штурмовали двери. Я сразу увидел Витьку с той стороны, где не открывались окна. Рядом с ней сидела полная черноволосая женщина в красном платье, ее мать.

Витька тоже увидела меня и ухватила за поручни рамы, чтобы открыть окно. Мать что-то сказала ей и тронула за плечо, верно желая усадить Витьку на место. Резким движением Витька смахнула ее руку.

Автобус взревел мотором и медленно пополз по немощеной дороге, растянув за собой золотистый хвост пыли. Я пошел рядом. Закусив губу, Витька рванула поручни, и рама со стуком упала вниз. Мне легче было считать Витьку красивой заглазно: острые клычки и темные крапинки, раскиданные по всему лицу, портили тот пересозданный мамой образ, в который я уверовал.

— Слушай, Витька, — быстро заговорил я, — мама сказала, что ты красивая! У тебя красивые волосы, глаза, рот, нос... — автобус прибавил скорость, я побежал, — руки, ноги, правда же, Витька!..

Витька только улыбнулась своим большим ртом, радостно, доверчиво, преданно, открыв в этой большой

улыбке всю свою хорошую душу, и тут я своими глазами увидел, что Витька. и верно самая красивая девочка на свете.

Тяжело оседая, автобус въехал на деревянный мосток через ручей, границу Синегории. Я остановился. Мост грохотал, ходил ходуном, но передние колеса автобуса уже ухватили дорогу. В окошке снова появилась Витькина голова, с трепещущими по ветру пепельными волосами, и острый загорелый локоть. Витька сделала мне знак и с силой швырнула через ручей серебряную монетку. Сияющий следок в воздухе сгас в пыли у моих ног. Была такая примета: если кинешь тут монетку, когда-нибудь непременно вернешься назад...

Мне хотелось, чтобы скорее пришел день нашего отъезда. Тогда я тоже брошу монетку, и мы снова встретимся с Витькой.

Но этому не суждено было сбыться. Когда через месяц мы уезжали из Синегории, я забыл бросить монетку.

КОТЯТ ТОПЯТ СЛЕПЫМИ

Мы жили тогда в поселке под Шатурой, отец строил там железнодорожную ветку. У нас была черная кошка Акулина, она каждые три месяца приносила по шесть-семь котят. На котят в молодом поселке был большой спрос, мы уступали их с разбором, в хорошие руки; потом стали раздавать кому попало, лишь бы взяли. Наконец желающих не оказалось, поселок был с излишком насыщен потомством Акулины. Тогда-то и прозвучало впервые в нашем доме страшное слово «утопить». Не помню, кто первый произнес это слово, кажется Симочка.

— А если оставить их?.. — неуверенно сказала мама.

Отец взял карандаш. О, неумолимый язык цифр! Через год к наличным семи котяткам прибавятся еще двадцать восемь. А еще через год и три месяца у Акулины будет тридцать пять детей и сорок девять внуков. Даже я понимал, что восемьдесят пять кошек в доме — это слишком много!

Выхода не было: придется котят топить. Но у кого поднимется на такое дело рука? Отец не мог убить и клопа, мать могла убить клопа, Симочка жарила живьем карасей в сметане, приговаривая себе в утешение: «Карась любит, чтоб его жарили в сметане». По сравнению с ними я был кровопийцей. Я обрывал хвосты ящерицам, стрелял из рогатки по воробьям, мог запустить камнем в лягушку, высунувшую из воды зеленую треугольную морду. Но все мои злодеяния были скрадены охотничьим азартом, хладнокровно утопить котят я, конечно, не мог.

Словом, дни проходили, а котята по-прежнему оставались на дне глубокого картонного ящика, устланного ватой и войлоком. Они гомозились там, сосали Акулину, тонко, пронзительно пищали, все более требовательно заявляя о своем гибельном для нас существовании. Выручила нас молочница.

— Экая беда!.. — сказала она в ответ на Симочкины жалобы. — Кликните солдата, он за пол-литра не то что котят — сам утопится!

И как только нам не пришлось в голову обратиться к солдату!

Этот солдат был достопримечательностью поселка. Всегда пьяноватый, заросший пегой — соль с перцем — щетиной, растерзанный и неумытый, с Георгием на засаленной куртке, он ютился в хибаре за лесопилкой, в свободное от пьянства время пробавляясь всякой случайной работой. Наколоть дров, собрать шишки для самовара, опростать помойку, выбить пыль из половиков — он брался за все с угрюмой охотой. Но его рвения хватало ненадолго, он быстро уставал и тогда начинал курить, надрывно, смертно кашляя, канючить стопку и безбожно хвастаться былыми подвигами.

«Солдатом» прозвали его в шутку, никто не верил его рассказам о боях под Мукденom в японскую войну, его прямой, будто деревянной ноге, не гнущейся от застрявшей в колене пули, его тускло-серебряному Георгию на темной, замусоленной ленточке, его умению выкрикивать отрывистым, сиплым голосом слова военной команды. Считали, что и ногу он сломал по пьянке, и Георгия нашел в мусорной куче, и героические небылицы подслушал у других вралей. Его безудержное хвастовство да и весь размундиренный облик слишком уж не вязались с представлением о боевой славе.

Лишь один человек в поселке знал, что солдат говорит правду, и человеком этим был я. Однажды я попался ему под трезвую руку, что случалось редко, и солдат тихо, печально рассказал мне свою жизнь: и о солдатчине, и о том, как ходил в штыковую атаку, и как ему было страшно, и о том, как, вернувшись с войны калекой в маленькую деревушку на Каме, узнал, что жена его умерла в родах, и как затосковал он и махнул рукой на свою жизнь. Странно, но эта узна-

ная правда о солдате никак не отразилась на моем отношении к нему. Вместе с другими ребятами я по-прежнему дразнил его, когда он, пьяный, ковылял к своей хибаре, кричал ему всякие глупые и обидные слова, дергал за мотню штанов, отчего он спотыкался и падал. Видимо, мое грустное уважение относилось не к нему, а к похороненному в нем доброму и несчастному русскому солдату. Да и сам он, хоть и доверился мне, не делал различия между мной и другими мальчишками, когда, обороняясь, довольно метко швырял в нас камнями и комьями глины..

Тщетно наведывалась Симочка в хибару за лесопилкой. Солдат, постоянно мотавшийся по поселку, когда в нем не было нужды, сейчас куда-то запропастился. А в воскресенье мы вдруг неожиданно-негаданным увидели его близ нашей калитки, да еще непривычно прибранного, с надраенным Георгием. Он был не пьян, но под хмельком, и говорил что-то громкое и веселывывающее нашим соседям через дорогу.

Симочка проворно сбегала за ним. Волоча свою негнущуюся ногу, солдат прошел через двор и ступил в сени, где стоял ящик с котятками.

— Здравия желаю! — гаркнул он, вкусно дохнув вином и хлебом.

При звуке его голоса Акулина выпрыгнула из ящика и потянулась, сперва выгнув горбом, а потом длинно и узко растянув свое черно-лоснящееся тело.

Солдат захотел увидеть десятку, которую ему определили за труды. Мама принесла деньги и положила их на кухонный стол.

— Это по-нашенски — деньги на бочку! — весело сказал солдат, снова дохнув своим теплым, вкусным запахом, но десятку не взял. Он заглянул в ящик, где извивались червяками разноцветные Акулинины дети. — Всех топить будем? На развод не оставите? Дело! Давай мешок!

Симочка подала ему черный мешок из-под угля.

— И стопочку! — деловито добавил солдат.

Симочка посмотрела на маму, достала из шкафа бутылку водки, граненую стопку и кружок колбасы.

— Лишнее! — сказал солдат колбасе. — Я сытый.

Он взял стопку двумя пальцами, посмотрел на свет и ловко опрокинул под рыжеватые с проседью усы.

Утерши ладошкой не губы, а усы, умиленно-радостно сказал:

— Эх, до чего ж хорошо это пшеничное вино! — Он встряхнул мешок и поглядел на нас так радостно, светло и довольно, что мне показалось: топить котят — это нужное и веселое дело, способствующее общему радостному порядку жизни.

— Вам-то небось в непривычку, — заметил солдат, кивая на ящик, — а кто кровушки повидал, тому это, милые вы мои, плевое дело! Четвероногая тварь, она тварь и есть. Ино́ дело — человек!.. — Он махнул рукой и нагнулся над ящиком. — Ишь червячки!.. — засмеялся он. — Елозят, елозят, а чего, спрашивается, елозят? Слепенькие. Это правильно, котят топят слепыми... А ну дай-кась еще стопочку! — крикнул он так восторженно и доверчиво, что отказать было нельзя.

Симочка наполнила граненый стаканчик. На этот раз солдат погладил его ладонями, долго разглядывал на свет, лоя гранями блики, и уже не опрокинул в рот, а осушил маленькими глотками.

— Спасибо за угощенье!

Затем он как-то расправился и шагнул к ящику. Все обмерло во мне. Но солдат опять рассмеялся и показал на Акулину, которая тревожно прохаживалась возле ящика, порой, изгибаясь, терлась о ноги солдата и тихонько, самой глубиной нутра, поурчивала.

— Ишь стерва, ведь чует! И как это животная может знать, чего над ней человек загадал, если она слов не понимает! — Он сделал строгое лицо и, ткнув пальцем в Акулину, веско произнес: — Потому — тоже мать!

Было похоже, что солдату не очень-то по душе взятое им на себя поручение, и меня не удивило, когда мама сама наполнила ему стопку.

— Благодарствую! — все так же строго, без улыбки, сказал солдат, быстро выпил водку, мотнул головой и отщипил кусочек колбасы.

— Да... А с другой стороны, коли их не топить, что же получится? Вся планета кошками заселится, а человек!..

Акулина прыгнула в ящик, легла на бок, и тут все семь червячков сразу нашли ее и присосались к пол-

ным молока соскам. Только и слышался слабый чмок маленьких жадных ртов.

— Пусть попьют напоследок из матери, — добрым голосом сказал солдат. — И мы выпьем. — Он сам потянулся за бутылкой и перелил в стаканчик оставшуюся водку. — Живешь только раз, можно и погулять! — Он еще что-то говорил о жизни и смерти, но путано, глухо, в себя, и я ничего не понял.

Затем он выпил, но не духом — споловинил, и, неловко откинув ногу, присел над ящиком.

Насытившиеся котята отвалились от материнского брюшка, и кошка лежала расслабшая, умиротворенная, сонно щура зеленые глаза с узкими, ножевого надреза, зрачками.

Солдат резко и шатко поднялся и опрокинул в рот остаток водки.

— Будет!.. — сказал он и трясущейся рукой полез в карман брюк, кисть его ходуном ходила, будто он играл на балалайке. Достав смятые рубли, он шмякнул их на стол. — Трояка не хватает... Ладно, за мной не пропадет, отработаю... А котят сами топите, душа из вас вон! — И, покачиваясь, тяжело волоча негнувшуюся ногу, пошел со двора.

Лось в черте города

Мы шли в Сыромятники погонять в футбол: Агафонов, Ладейников и я. Был конец мая, но дни стояли сухожаркие, будто в разгаре лета, и молодые листья деревьев уже покрылись серой пылью. Только мы перешли Садовую, как сразу увидели его, прямо посреди тихой, пустынной улицы, что ведет к Сыромятникам: большой, темный, горбоносый, он возник перед нами, как из сна, как из сказки.

— Лось! — обмирающим голосом произнес Ладейников.

— Лось! Мать честная, лось!.. — счастливо заорал Агафонов.

Верно испуганный его криком, лось вскинул массивную голову и неспешно заскакал прочь.

С дикими, первобытными криками мы устремились за лосем. Красный от натуги, Ладейников пронзительно свистел в два пальца, в руках у меня невесть как оказалась длинная палка, Агафонов на бегу выворотил из мостовой булыжник и метнул в лося.

Лось перепрыгнул через ограду маленького сквера и на миг скрылся за кустами, затем он снова возник, преследуемый двумя шавками. Собачонки захлебывались бешеным лаем. Они кусали лося за задние ноги, и тот, обезумев от страха, кинулся на Садовую, в густоту машин, трамваев, автобусов. С визгом затормозил автобус, застукотел решеткой по булыжникам трамвай, рассеяв голубые искры, въехал на тротуар роскошный «Линкольн», чтобы избежать столкновения с серым, стремительным телом. Звонки, гудки машин,

рев людей вконец ошеломили лося, он помчался прямо по стрезню улицы, но навстречу ему ползло, звеня, огромное, красное чудище, — лось прыгнул в сторону и вдруг оказался рядом с ломовой лошадей в надвинутой на глаза соломенной шляпе. Он замер, дрожа, и потянулся к лошади. В неумолимо жестком, каменном и железном мире, душно воняющем бензином, гарью, асфальтом, неожиданно повеяло на затравленного зверя близостью родственного, мягкого, шерстяного тела, запахом зверьего пота. Но лошадь не признала своего в длинноногом, горбоносом незнакомце — она брезгливо кивнула головой в шляпе и, цокнув коваными копытами, рванула воз, — тяжело ухнули пустые бочки, лось метнулся прочь, оставляя на пыльном асфальте влажную зубчатую строчку.

Мы едва не настигли его возле лошади, но сейчас он вновь оказался намного впереди нас. Озираясь по сторонам, лось стоял у решетки, отделяющей улицу от глубокой балки, по дну которой среди камней, мусора и грязных водорослей тащила свои мутные воды Яуза. Мы боялись, что лось перепрыгнет через решетку и уйдет. Но теперь в потеху включилось много народа. Камень, пущенный чьей-то меткой рукой из глубины балки, оторвал лося от решетки, а тяжелый портфель, угодивший ему в бок, погнался прямо на нас.

Он мчался, кидая с губ пену, огромный, грузный, разъяренный, и мы в испуге шарахнулись в сторону.

И сразу на нас обрушился новый смерч в лице белобрысого парня в голубой, не заправленной в штаны рубашке и тапках на босу ногу. Он ударил по затылку Ладейникова, вывернул кисть Агафонову, заставив его уронить на землю камень, выхватил у меня палку и переломил о колено.

— Живодеры! — ругался парень.

— Ты чего дерешься? — запальчиво вскинулся Агафонов, наш школьный силач.

— Еще не так тресну! — пообещал белобрысый. — Животное мучать? — И, заметив у нас на рубашках пионерские значки, добавил: — Пионеры юные, головы чугунные!..

Мы молчали, бесцельный азарт погони сменился стыдом.

— И взрослые туда же! — презрительно оглянулся белобрысый на других преследователей, которые как раз поравнялись с нами. — Стой, дьяволы! — гаркнул он. — Стой, не то ноги перебью!

Этот парень был властным и находчивым человеком. В одну минуту он превратил толпу бессмысленно возбужденных людей в отряд загонщиков и ловцов. Часть отряда должна была преграждать лосю прорыв в город, другая — гнать его в сторону леса.

Но лось никак не хотел признать наших добрых намерений. Он яростно сопротивлялся всем попыткам вернуть ему свободу. Только мы направим его на верный путь, вдруг сумасшедший скачок в сторону, взлет над плетнем, еще прыжок, и уже по соседней улице он мчится прочь от воли и леса, в городскую гущу. Какими неуклюжими, вялыми, бессильными казались мы, городские люди, рядом с этим чужаком, пришельцем из другого мира!

Верно, жесток был его копытцам булыжник переулков и дворов, страшен вид неведомых преград: заборов, стен, ворот, каменных тумб, фонарей, невыносим для нежного, тонкого слуха человеческий ор, трамвайный звон, автомобильный лай, скрежет и грохот движущегося железа, — но он с неистовым изяществом проносил свое большое незащищенное тело среди всех опасностей, безошибочно находил просвет, чтобы промелькнуть в нем темной молнией. Не знаю, сколько времени длилась погоня. Мы с Агафоновым совсем сорвались с голоса, из-под замусоленных пальцев Ладейникова выходил не свист, какой-то жалкий писк, часть доброхотов дезертировала, а лось снова, в который раз, оставил нас в дураках. Он стоял близ маленького домика, под кустом сирени, и ветви оглаживали взгорбок на его шее.

— Так не пойдет! — отдуваясь, сказал белобрысый. — Надо его поймать, связать и отвезти за город.

Он поискал кого-то глазами.

— Серенька, сбегай за веревкой, — приказал он коротенькому пареньку в большой кепке со сломанным козырьком.

Серенька метнулся в ближайший палисадник, и сшившееся на веревке белье шлепнулось на землю, вслед затем в руках белобрысого оказалась длинная

бечева. Он ловко запетлил конец, свернул бечеву кольцами и повесил на руку.

— Гоните его вон в тот проулок!

Снова свист, крики, вопли, снова сумасшедший бег. Вместе с лосем, слыша его хвойный запах и сиплое дыхание, я влетел в проулок. Белобрысый был начеку. Аркан просвистел в воздухе, и хотя петля лишь скользнула по шее лося, он закинул голову, будто впрямь ощутил на горле захлестку, колени его подломились, и он рухнул на землю, перекувырнулся через голову и замер. В одно мгновение мы были рядом. В большом, круглом, сумеречном зрачке лося я увидел отраженный мир: небо, дома, верхушки деревьев и свое, искаженное выпуклостью глаза, одутловато-овальное лицо, и вдруг отражение померкло, будто задернулось пыльной пленкой.

— Держи! Не пускай! — кричал белобрысый.

Челюсти лося клацнули, оскалив пасть желтыми резцами, наружу вывалился кожаный, сухой язык. И сразу на этот язык села изумрудная муха.

Подбежал белобрысый парень с розово-вмятым от бега и волнения лицом.

— Чего это с ним? — проговорил он растерянно, нагнувшись, тронул рукой морду лося, выпрямился и будто еще не веря: — Никак, сдох?..

Никто не отозвался. Толпа вокруг павшего лося стремительно росла. Затем вперед протиснулся седоватый человек в пальто с бархатным воротником и фетровой шляпе с загнутыми полями.

— Бедный лосенок, — негромко сказал человек.

— Нешто это лосенок? — усмешливо-сожалеюще проговорил кто-то из толпы. — Цельный лосище!

— Нет, лосенок, годовик...

И верно, сейчас, распростертый на мостовой, лось вовсе не казался таким громадным — просто большой теленок.

— Отчего же это он... а? — жалобно спросил белобрысый.

— Не выдержал преследования.

— Да мы его не преследовали! Хотели на волку выгнать, в лес.

— Молодые лоси не выносят насилия, — своим негромким, отчетливым голосом сказал человек. — Их

нельзя принуждать даже к воле. Лося надо оставить в покое. Вечером, когда стихнут шум и движение, он сам найдет дорогу к лесу.

— Значит, это мы его убили? — шепнул я Ладейникову.

— Сам виноват, нечего было из лесу убежать, — угрюмо пробормотал Ладейников.

Человек повернулся к нам.

— Разрешите вам объяснить, — сказал он так вежливо и серьезно, словно обращался к взрослым. — Весной лосихи телятся. Они покидают своих годовалых лосят до осени, а сами скрываются в глухой чаще. Брошенные лосята ведут себя, как дети, потерявшие в толпе мать, разве только не плачут. Они блуждают по лесу, заходят невзевь куда и... — он бросил взгляд на мертвого лосенка, — зачастую гибнут. — Затем другим, деловым голосом он сказал белобрысому парню: — Поставьте тут, я позвоню, чтобы его забрали...

Мы долго не могли забыть о погибшем лосенке. Покажись теперь лось вблизи наших Чистых прудов, мы уже знали бы, как поступить. Мы окружим его тишиной, остановим весь транспорт и убьем каждого чистопрудного, который попробует заорать или засвистать в пальцы.

В газетах изредка мелькали сообщения о лосях, появившихся в черте города. Но видели сохатых или в Петровском парке, или в Черкизове, или возле Останкинского дворца. Верно, Чистые пруды находились слишком далеко от лесной воли, и лоси сюда не забредали.

Я изучаю языки

1

Моей матерью владело одно честолюбивое желание: обучить меня иностранным языкам. Лишних денег в семье не водилось, и мне шел уже седьмой год, когда мама отыскала наконец молодую немку, которая за недорогую плату согласилась давать мне уроки.

— Она будет не только учить Сережу, — говорила мать моему деду, — но и водить его гулять. Это настоящая Гретхен: белокурая, голубоглазая, совсем молоденькая и очень милая. Ее зовут Анна Ивановна, она родилась в России и прекрасно говорит по-русски.

— Весьма похвально, — раздувая усы, проворчал дед. — Ну, а немецкий она знает?

— Ее фамилия Борхарт, — сказала мама. — самая немецкая фамилия.

Мама не преувеличивала достоинств Анны Ивановны Борхарт, она в самом деле была милая, молоденькая, белокурая и прекрасно говорила по-русски.

Мое воспоминание о первой учительнице похоже на некоторые кубистские портреты Пикассо. В странном, хаотическом, хотя, быть может, закономерном сопряжении плоскостей и линий вдруг проглянет живой влажный глаз, нежная крутизна скулы, смутный намек на какую-то телесность, но все вместе не складывается в цельный и отчетливый образ. С пятилетнего возраста моя жизнь ясно, в мельчайших подробностях освещена памятью, но все связанное с немкой Анной Ивановной видится мне вкраплениями реальности в полубредовый перепут красочных мазков. Помню ярко-

синие глаза и светло-льняные, почти белые волосы, помню лиловые шерстяные чулки и серые фетровые ботики, помню обезьяний воротничок шубки. Но не помню, как она впервые появилась в нашем доме, как приходила и уходила, чем мы занимались с ней во время уроков. А ведь, наверное, она чему-то учила меня, но этого, хоть убей, не помню.

Зато крепко засело в памяти другое. Мы гуляем на Чистых прудах, маленькой лопаточкой я строю из снега домик, рядом пританцовывают серые ботики и лиловые чулки. Я не умею строить: я просто подравниваю сугроб лопаткой, прихлопываю с боков, получается что-то похожее на вздувшийся в духовке сыроватый пирог. Но я втыкаю сверху щепку — это труба, с боков криво рисую похожие на тюремные окошки, и у меня нет никаких сомнений, что я построил дом.

Анна Ивановна молча — она почти все делает молча — берет у меня из рук лопатку, ловко обрезает мое сооружение со всех четырех сторон, и вместо кривых склонов вырастают прямые, стройные стены, затем, набросав поверх свежего снега, она несколькими точными ударами лопатки подводит дом под двускатную крышу. Никакой трубы, никаких рисованных окошек, и все же это настоящий, красивый и уютный домик. Я очарованно гляжу на дивное сооружение. Как жаль, что его нельзя унести с собой!

— Дас хаузхен! — нежно говорит Анна Ивановна. Я гляжу на нее и вижу лишь васильковое сияние ее глаз.

— Дас хаузхен! — проникновенно повторяет Анна Ивановна. — Домик...

— Дас хаузхен, домик, — лепечу я, блаженно подавленный этим двойным богатством: открывшейся мне тайной созидания и первым словом чужого языка, которое, я знаю, запало в меня навек.

И я думаю сейчас: слышал ли я от Анны Ивановны еще какие-либо немецкие слова, кроме слов приветствия: «Гутен морген» — и прощального слова «ауфвидерзейн»? Но эти слова я знал до нее, от дворовых ребят, и вовсе не считал немецкими.

Но «хаузхен» звучало мне не раз. Сколько таких вот чудесных домиков построили мы с Анной Иванов-

ной и на Чистых прудах, и в Телеграфном переулке, и в Потаповском, и в Сверчковом, и в Армянском! Если бы они не разрушались, в недрах Москвы возник бы новый маленький город. Анна Ивановна никогда не отказывала мне в просьбе построить домик. Миг — и лопатка быстро мелькает в ее руке, и бесформенная глыба снега становится уютным домиком. «Еще один хаузхен», — говорит Анна Ивановна, и мне кажется, это строительство доставляет ей не меньше радости, чем мне.

Что я еще помню? Незнакомую мне близость чужой жизни, молчаливой, потаенной и деятельной. Да, Анна Ивановна при всей своей тихости была очень деятельна. Пока я рассматривал картинки в толстой немецкой книге, которую Анна Ивановна приносила в потертом портфельчике, — огнедышащие вулканы и сокровища земных недр, жуков и червей, паровые машины и сложные станки, человеческий скелет, мышцы и внутренности, красивых мужчин и женщин верхом на породистых тонконогих конях и в лакированных автомобилях, животных, птиц и рыб, бородавчатую щеку луны и звездное небо — моя учительница писала письма. Писала и рвала, обрывки прятала в свой портфельчик, снова писала, потом облизывала клейкий край конверта острым розовым язычком и запечатывала письмо. А когда мы шли гулять, то первым делом опускали письмо в синий почтовый ящик на углу Телеграфного переулка и слушали, как оно, шурша, проскальзывает вниз, на дно ящика. Почти бегом мы устремлялись на почтамт, и Анна Ивановна склоняла свою белокурую голову к полукруглому окошку и о чем-то спрашивала сидящую там седую, стриженную под мальчишку, краснолицую женщину. Выслушав короткий ответ, она медленно, помогая себе руками, распрямлялась и отходила от окошка. Мне казалось, что она не видит меня в эти минуты, и, боясь потеряться в огромном, гулком мире почтамта, я жался к ней, ловил ее локоть. Мы шли на Чистые пруды, и здесь Анна Ивановна строила очередной домик и, будто возвращаясь издалека, говорила нежным, разбитым голосом: «Дас хаузхен».

Все сжималось во мне от жалости, я знал, шестилетний дуралей, что она несчастлива, и, право же, до-

волью далеко добирался в своей угадке по смутным следам ее беды.

Если я, для своих лет, так много угадывал в ней, так взволнованно чувствовал ее неблагополучие, почему же память моя столь неполна и отрывочна? Слишком сильное давление чужой, напряженной, сложной жизни лишило, мне кажется, мою память обычной детской цепкости. Зоркость сердца, проникшего туда, куда ему еще рано было заглядывать, пошла в ущерб зоркости глаза.

Незадолго до конца месяца Анна Ивановна, смущаясь и краснея, попросила у мамы свое скромное вознаграждение вперед. А получив, как в воду канула. Правда, через неделю она прислала наспех нацарапанную записку: пусть мама не беспокоится о деньгах.

— Да я нисколько не беспокоюсь, — огорченно говорила мама, — но бросить нас так внезапно, без предупреждения, как раз когда ты стал делать такие успехи, не ожидала я от Анны Ивановны!

А затем мама вдруг решила, что Анна Ивановна тяжело больна, что она лежит одна, без всякой помощи и мы непременно должны ее проведать. Кто-то помог маме раздобыть ее адрес, и мы отправились через всю Москву в Верхние Котлы.

Помню огромный деревянный дом на краю света, лестницы, шаткие, как пароходные трапы, кухню, похожую на фрегат, всю в тяжко влажных парусах стиранных простынь, и клубы пара, и едкий щелочной запах, и странных, растерзанных женщин, возникавших из пара и простынь и кричавших так громко, словно все они терпели бедствие. Наконец, крики и длинные жесты обернулись маленькой, похожей на моль старушкой, такой высохшей, пропеченной, легкой, что казалось, хлопни ее ладонью, и старушка рассыплется золотой пылью. Старушка долго не понимала, чего от нее хотят, а потом сказала зловеще и таинственно:

— Как бог свят, гноила у меня угол немочка, да под Егория съехала. Вот адресат свой оставила...

Мама переписала адрес, и мы отправились на другой конец города, в Сокольники.

Здесь мы попали в девственный мир, в снегу тонула улица, вернее, просека в голоствольном сосняке, в сне-

гу тонули домики, сараи, кусты, а собачьи будки были просто сугробами с черной дырой лаза. И мы по колено тонули в снегу, плутая в перепутанице домовых номеров.

— Где-то здесь должен быть пятый номер! — неуверенно сказала мама, разглядывая груды домишек под номерами 3, 7, 9 и 14.

— Да вот же он! — Я показал на маленький, едва видный за сугробами дом без номера, по другую сторону улицы.

— С чего ты взял?

Да я просто знал, ведь сколько раз видел я этот уютный домик, этот «хаузкен», я помогал его строить. Но разве объяснишь это маме?

От беспомощности мама стала доверчивой. Увязая в снегу, мы перешли улицу и толкнули тонко пискнувшую калитку. К крыльцу была протоптана дорожка. Мы двинулись по снежному коридору, но еще не достигли крыльца, как из дома большой розовой птицей вылетела Анна Ивановна, в легком ситцевом платье — красные гвоздики на палевом фоне, — с непокрытой снежной головой, и кинулась к нам.

Она не была ни смущена, ни удивлена, только счастлива — конечно, не нашим появлением — и щедро излила на нас свое молодое, через край, счастье. Она обняла маму, склонилась ко мне и, став золотисто-розовой туманностью, просквоженной одним ярко-синим, нестерпимо сияющим маяком глаза, поцеловала меня. Быть может, Пикассо изображал своих женщин в кратком видении поцелуя?

Они с мамой взволнованно, перебивая друг друга, о чем-то говорили, но я слышал лишь интонацию уступок и благородства, внимание мое было занято другим. На крыльцо, придерживая голыми по локоть руками накинутую на плечи кожаную куртку, вышел рослый молодой человек в клетчатой ковбойке и толстых шерстяных брюках, заправленных в тяжелые горные ботинки. Образ этого юноши запечатлелся во мне с совершенной полнотой и отчетливостью. До сих пор помню я его тонко загорелое лицо — такой загар бывает лишь от зимнего солнца, — каштановые волосы, серые глаза, тяжеловатую нижнюю челюсть, выжидательную, холодную улыбку резко очерченного, сжатого рта, его мускули-

стые, смуглые руки, покрытые рыжеватым пухом, сильную фигуру с запавшим животом, прочно расставленные ноги.

Я смотрел на него и понимал, что мы больше никогда не увидим Анну Ивановну. Она построила свой «хаузкен», и на этот раз не из снега.

2

Когда умер дед, оказалось, что у него есть небольшие сбережения. Я был уверен, что дед копил мне на велосипед, но доказать этого не мог. Мама нашла деньгам иное применение: в нашем доме появилась миссис Кольберт, «настоящая англичанка».

Миссис Кольберт была маленькая, круглая и крепкая, как кленовый корешок. На смугловатом, румяном лице влажными вишенками темнели живые, зоркие глаза, чуть тронутые сединой волосы были густы и тяжелы, зубы белы как мел...

Январское солнце просвечивало молочный покров неба. В комнате светло, как весной. Окна наполовину оттаяли. Видны крыши под ослепительным снеговым настилом и черные фигурки людей, сбрасывающих лопатами снег.

Миссис Кольберт зевнула, прикрыв рот пальцами. Тщетная предосторожность. Зевок вышел из-под прикрытия и захватил все лицо. Мгновенной судорогой он свел челюсти, округлил ноздри и наполнил слезами глаза. Наслаждение, которое он ей дал, долго не сходило с ее лица слабой, растерянной улыбкой.

В такой день особенно томительна та полная отрешенность от реальной жизни, которая сопутствует первым урокам иностранного языка. Дерево, стол, человек, дом — прозрачный мир начинающего ученика! Рассказы о том, почему у осла длинные уши, а кожа носорога собрана в складки, и бесстрастные фразы: «Я ношу калоши», «Куда ушел Майкл?», «Майкл ушел в школу» — прозрачно благополучная среда, неестественная, как лечебная ванна.

Англичанка зевала, я пытался придумать фразу, которая хоть на мгновение вернула бы нас к живой обыденности. Недавно она принесла мне марку Британской империи с почтовым штемпелем, вырванную из

конверта, — она знала, что я собираю марки. Верно, она получала письма с родины.

— Миссис Кольберт, а у вас остались родственники в Англии?

Англичанка вздрогнула, словно застигнутая врасплох моим вопросом, черные глаза ее заблестели, все же она не поддавалась сразу. Она прижала пальцы к вискам и мучительно сморщилась.

— No, no! — воскликнула она. — Скажите мне эту фразу по-английски.

Я сказал, как умел.

— О да, у меня там есть дочка.

— Взрослая девушка?

— Очень взрослая! Церере тридцать три года. Она учительница, как мама. Она преподает в колледже.

— Вы очень по ней скучаете? У вас нет других детей?

— Of course, конечно. У меня было два мальчика и две девочки. Марс, Юпитер, Церера и Венус.

— Как? — вскричал я, ощутив, что снова проваливаюсь в тот призрачный мир, который приносила с собой англичанка.

Она решила, что я не понял последнего имени.

— Венера, — пояснила она. — Fine children, славные дети. Я дала им такие красивые имена, чтобы они были счастливы. Прекрасные имена! Муж гордился, что у него такие дети.

Равнодушия как не бывало, она словно вспыхнула изнутри.

— И они были счастливы, ваши дети? — выдавил я наконец.

Англичанка повела плечами под тяжелым платком, покрывавшим ее спину, концы его она всегда придерживала рукой у горла.

— No!

Немного помолчав, она продолжала:

— Самый любимый был Марсик. Splendid boy! Он был такой вкусный. Я его мыла в тазу. Он был уже взрослый юноша, у него грудь была черной от волос, но его так приятно было мыть. Такая большая радость смотреть, как он рос и становился мужчиной. Ему только исполнилось двадцать, когда он получил место в колониях. Он думал вернуться богатым. Но заболел

там... — Она зябко передернула плечами. — Как это?

— Малярней?

— No!

— Лихорадкой?

— Да, да, он получил лихорадку. Болезнь вспыхнула, и его не стало. Poor boy, бедный мальчик. А еще слезы не высохли, новое несчастье пришло: умерла Венис, любимая дочь. У меня есть ее фото.

Англичанка порылась в портфеле и достала фотографию. Смуглая девушка лет двадцати пяти лежала на траве. Широко раскрытые глаза и та неестественная улыбка, какая бывает при съемке с большой выдержкой. На белом платье и голой руке легкая тень листьев невидимого дерева. Одна нога подогнута, и натянувшаяся юбка обрисовала полное колено, другая нога, очень прямая, лежала не в лад с телом, словно чужая.

— Она здесь за месяц до смерти. У нее нет ноги, это протез.

— Мисс Кольберт, а как она потеряла ногу?

Англичанка шутливо хлопнула меня по руке.

— Опять вы называете меня мисс, я не девушка — я миссис. Вы спрашиваете, как Венис потеряла ногу. Мы жили не в Лондоне, мы жили в предместье. Венис спешила на работу, а было много людей. Они тоже спешили сесть в трамвай. Они толкнули Венис, и нога ее попала под колесо. Ах, Венис, poor girl. Она отказала своему жениху, из красивой, толстой девочки стала худой и белой. Надо лечить ее, но было жалко денег. Она лечилась, когда уже поздно было лечиться.

— Да, это неприятная вещь, — сказал я довольно бессмысленно, так как не знал, нужно ли сочувствовать столь далекому горю. — Но у вас ведь еще были дети, — прибавил я в утешение.

— Да, Церера и Юпитер. Но они не такие. О, Венис, какая умная и красивая! Это не такие умные и красивые, они пошли больше в папу. После смерти моего мужа я жила у Цереры. Она неплохая девушка, но ее нельзя так любить, как Венис. Когда я вместе с сыном Юпитером уехала из Англии, Церера не захотела ехать со своей матерью. Она осталась в Англии, у нее родился ребенок, а отец ребенка не знает об этом,

и она не знает, где отец. Она пишет, что хочет приехать сюда...

Англичанка усмехнулась.

— Скажите, — произнес я, чувствуя трепет перед судьбой, так сурово покаравшей жалких земных богов, — а что случилось с Юпитером?

— Юпитером? Stuped boy! Он приехал сюда вместе со мной. Я его не люблю: он изменил свое имя.

— Разве это такой большой грех?

— У нас это не принято, — сказала англичанка, поджав губы. — Такое красивое имя Юпитер, а он сделал из него Питер, Петр. Он говорит, что все смеялись над его именем. Мне жалко, что он счастливый, а не Марсик и Венис. Он изменил свое имя и стал счастливым почему-то, у него жена и родился ребенок — Василь...

Англичанка взглянула на часы. Минутная стрелка на два деления переступила оплачиваемое время. Англичанка охнула, перехватила платок левой рукой, другую торопливо сунула мне и метнулась к двери...

3

Я был десятиклассником, когда в младших классах нашей школы ввели французский язык. Несколько лет назад, сдавая в утиль библиотеку покойного деда, я наткнулся на загадочную французскую книжку. «Мемуары г-на д'Артаньяна», — разобрал я с трудом. Я не знал: подлинные ли это мемуары, ведь при дворе Людовика XIV действительно был капитан мушкетеров д'Артаньян, или апокрифические, но меня давно томило желание прочесть книгу, связанную с моим любимым литературным героем. Я стал ходить в первую смену на уроки французского.

Язык преподавал пожилой, из обрусевшего рода, француз Сергей Петрович Лефевр. Почему-то все мы были уверены, что он потомок наполеоновского маршала и знаменитой мадам Сен-Жен. Очарованный моим рвением, этот добрый человек предложил мне брать бесплатно уроки у его племянницы Мари, не столь давно выписанной им из Франции. Я спросил у Сергея Петровича, как мне к ней обращаться: не Мари же и не товарищ Лефевр!

— Зовите ее мадемуазель Лефевр, — ответил он с улыбкой.

Так появилась в моей жизни мадемуазель Мари Лефевр.

Первое впечатление от нее было странное. Быть может, имя Мари, да еще в сочетании с «мадемуазель», настроило меня на ожидание встречи с юным, цветущим существом, почти моей сверстницей. Мари Лефевр давно пережила свою первую весну, ей было под тридцать, ее тонкое лицо сохранило молодость, как и мальчишески худая, стройная фигура, но волосы, от природы русые, отливали серебром. Угловатая, хрупкая, незащитная, как-то внимательно-рассеянная, в тонком, чуть ощутимом аромате нежных духов, она напоминала мне зачарованную принцессу из старых французских сказок, и мне хотелось стать принцем, чтобы, совершив ряд диковатых подвигов, снять с нее злые чары. Мне было восемнадцать лет, и, впервые нарушив многолетнюю верность Нине Варакиной, я влюбился в Мари Лефевр.

Любил я ее, как и обычно бывает в юности, глазами. Я смотрел на ее тонкие, длинные, просвечивающие, прозрачно-розовые пальцы, на темную овальную ямку над ключицей, на легкие серебристо-пепельные волосы, но если встречал ответный взгляд ее бледно-фиалковых глаз, то тут же потуплялся и тогда видел тонкую сильную щиколотку и маленькую, острую, лакированную туфлю.

Она не подозревала о моей влюбленности, и все же мне удавалось получать от нее свою долю нежности, хотя сама она не знала об этом.

Это случилось впервые, когда под ее диктовку я вывел деревянными пальцами: «*Le camarade Pétrov*». Мадемуазель Лефевр сказала:

— *Eh bien*, только над «е» надо поставить *accent aigu*.

— Что? — спросил я вздрогнув.

Лицо француженки улыбалось, в бледно-фиалковых глазах блеснула искорка. «*Accent*», — повторила она. Затем уголки ее губ дрогнули, губы вытянулись в робкую трубочку, верхняя губа чуть дрожала, и она нежно прошептала: «*Aigu*» — и звук замер не сразу. Тогда я снова при первом же случае пропустил крючок над закрытым «е», и француженка снова с нежностью,

заставившей меня вздрогнуть, произнесла: «Accent aigu!»

Почему это слово звучало на ее чуть увядших губах с такой молодящей нежностью? Есть слова, звучание которых затрагивает самые глубокие слои души. Почему слово «стабилизатор» всегда вызывает у меня улыбку радости, а слово «креатура» заставляет морщиться, словно от кислого? Какая-то магия слов, вернее, звуков... Но тогда я не задумывался над этим, я воровал эту нежность, попросту относил ее к себе. и улыбался француженке в ответ...

Я понял всю прелесть этого слова, когда научился произносить его. В нем особая, непередаваемая интимность, оно продолговатое, оно соединяет губы собеседников, оно летит с дыханием. Впервые произнеся его вслух, я покраснел, мне казалось, что я сделал признание в любви.

— Accent aigu! — проговорил я задыхаясь.

— Accent aigu, — прошептала она.

Но однажды меня постиг жестокий удар. Написав какое-то слово, в котором, мне казалось, должен стоять «аксантегю», я был остановлен резким голосом Мари Лефевр:

— Не то, не то, — accent grave.

Я не понял ее и смутился. Она взяла из моих рук перо и вывела закорючку над буквой в сторону, обратную знаку любви — accent aigu.

— Accent grave, — сказала она, и на щеках ее проступили сухие трещинки морщин, углы губ некрасиво раздвинулись и опустились.

Укороченное слово звучало отвратительно и резко, как отказ в любви. Я никогда не забывал в дальнейшем ставить этот значок, а она, словно щадя меня, никогда больше не произносила жесткого слова.

Чтобы я привыкал к звучанию живой французской речи, Мари Лефевр рассказывала мне бесстрастным голосом романтические и неправдоподобные истории «из жизни ее знакомых», какие могут возникнуть лишь в возвышенном и неудовлетворенном сердце. Я слушал, поглядывая на ее пальцы, ключицу, волосы, щиколотку и кончик лакированной туфли.

Мы медленно продвигались вперед, уроки утомляли

меня бесплодной игрою чувства, и язык постигался туго.

Как-то в начале марта, в первый солнечный день близящейся весны, она пришла еще более угловатая, чем обычно, а на щеках ее тлели нежно-розовые пятна румянца. Она была беспокойна, в ней чувствовалось скрытое волнение.

— *Assent aïgu*, — сказала она, поправляя мою ответственную фразу.

Она вынула из портфельчика маленький, чуть помятый букетик подснежников и протянула мне. Она стала говорить, что на двор пришла весна, в эту пору больные девушки умирают, а здоровые любят и получают счастье. И что у нее на родине, в Авиньоне, все покупают сейчас цветы. У больных цветы стоят в горшках на окнах, здоровые рвут их в полях и вдевают в петлицы.

— У вас тоже любят цветы, — почему-то печально вздохнула она.

Затем она снова заговорила о весне. О том чудном беспокойстве, какое возникает в сердцах молодых людей, и как грустно спокойствие тех, кто уже никого не любит. И тогда я решаюсь. Я сжимаю букетик подснежников, голос мой словно балансирует на тонкой проволоке и вот-вот сорвется:

— Можете ли вы полюбить, *mademoiselle*?

Она сделала полуотстраняющий жест, прижав пальцы к вискам, а локти выставив вперед. Затем опустила руки, развернула учебник, и полились строки диктанта, равнодушные, как дробь осеннего дождя:

— *C'est l'ouvrier Ivanov. C'est la porte. C'est la pompe... George... — Я был остановлен ее изменившимся голосом. — George любил меня. Он просил у меня поцелуй, только поцелуй... Я была... как это?*

— Робкой?

— Нет...

— Гордой, честной, черствой, холодной, бессердечной?..

— Нет, нет, нет! — перебивает меня она. — Добродетельной, добродетельной девушкой. Я сказала ему: я подарю тебе свой первый поцелуй, когда стану твоей женой. *Il ne vas pas a pied. Il entre dans la cour. Assent aïgu.*

— Тут нет, тут нет accent aigu, — поправил я.

— Pardon! Il est étudiant. Но мы не могли стать муж и жена, мы были бедны, и Жорж надо много работать, чтобы стать муж. Il va à la fabrique... Пишите же, это надо писать. Он работал много, у него была слабая грудь, он кашлял. Но он любил меня и хотел стать муж, он все просил: подари мне один поцелуй. Но я была, как это?..

— Добродетельной.

— Да, я была добродетельной девушкой, я говорила: нет...

Она замолчала. Румянец ее щек разбился на хлопья, голос не повиновался, но она пересилила себя и заставила спокойно продиктовать:

— Il travaille à la fabrique.

...Он заболел и не вставал с кровати. Я приходила к нему и приносила цветы, но он твердил: один поцелуй, une lis, но я была... — От сдавленного дыхания голос ее перешел в хриплый шепот, и тогда она снова сказала слова из диктанта, и они поддержали ее: — Il dit: c'est la mur, c'est la chaise, c'est la table... И он до конца просил меня, и умер на моих руках, и когда глаза его закрылись, я поцеловала его в лоб. Это можно, я была честная девушка, — с торжествующей гордостью сказала она. — Я не нарушила своего слова. — С нестойким спокойствием она продиктовала: — Samagade Petrov va à l'université... — И вдруг отчаянно: — Il ne viendra pas de là... Вы спрашиваете: могу ли я полюбить? Il ne viendra pas de là — accent grave.

Accent grave! Нельзя было прямее сказать: нет. Да и на что мог я надеяться? Ну что ж, я останусь ей верен, я отдаю ей бескорыстно всю свою нежность.

— Нет, — говорю я и сопровождаю свои слова взмахом пера, — нет, мадемуазель, я ставлю здесь accent aigu!..

Нас было четверо

Семи-восьмилетним мальчишкой я увлекался «Тремя мушкетерами» Дюма. Пухлый том с волнующей эмблемой в виде мушкетерского плаща, скрещенных шпаг и широкополой шляпы — первая книга, которую я сам прочитал. Я уже знал многих писателей: Диккенса, Скотта, Купера. Их читала мне мама. Я любил эти чтения вслух, но глубокая прелесть книг, когда прочитанное так сплетается с самой жизнью, что уж не знаешь, где жизнь, а где вымысел, открылась мне впервые, когда я сам прочитал «Трех мушкетеров». Мне показалось, что мама выбирала для чтения какие-то тощие, бедные книги, но, перечтя их впоследствии, я с удивлением обнаружил в старых знакомцах куда большее богатство, чем ожидал. И вовсе не потому, что мама читала с какими-либо цензурными сокращениями. Нет, но чтение вслух с навязываемой невольно интонацией, ударениями, подчеркиванием одних и скрадыванием других деталей убивало во мне фантазию.

У меня было три закадычных друга. Мама подала мне мысль превратить друзей в мушкетеров и пережить с ними наново историю любимых героев. Меня поразила эта мысль, до которой обычно дети доходят своим разумом. Я сделал четыре шпаги, затем стал думать, как распределить роли.

После длительных размышлений я выбрал для себя д'Артаньяна, и не потому, что он главный герой: мне больше импонировал Атос. Но я не ощущал в себе того благородства, составляющего основную черту Ато-

са, которым в полной мере обладал мой друг Павлик. Не было во мне ни портосовского добродушия, ни изящества и скрытности Арамиса. Я не чувствовал в себе ни одного ярко выраженного качества, я ощущал себя сложным и противоречивым, иными словами, я осознавал в себе характер и, естественно, должен был избрать д'Артаньяна, единственного героя, наделенного не признаком души, а живым многообразием душевных свойств.

Мой сосед по квартире, сын вагонновожатого Лабутина Борис, стал Портосом. В нем, правда, не было ни портосовской страсти к щегольству, ни размаха его тщеславия, ни корыстолюбия, но он был самый крупный из всех нас и самый добродушный. Павлик, о котором я уже говорил, по своему благородству не уступал подлинному Атосу. Самый юный из нас, Колька, был красивым мальчиком, но этим едва ли не ограничивалось его сходство с Арамисом, он был шалопай, жуир и своим безобидным тщеславием превосходил двух Портосов.

Мои товарищи не сразу вошли в свои роли. На первых порах игра походила на оперу с одним солистом: я играл и фантазировал за всех, они же были безгласными исполнителями моих выдумок; впоследствии все изменилось: каждый знал свое место, игра обрела форму.

Мама, воспринимавшая необыкновенно чутко все мои увлечения, всегда умела вносить в них ту естественность и достоверность, на которые у меня не хватало практической фантазии. Когда я увлекся автомобилем, мама сделала из баллона от детской клизмы и докторской трубки замечательный клаксон, а из круглого сиденья вращающейся табуретки превосходный руль. И вот однажды утром я был потрясен, обнаружив на спинке кровати вместо обычных штанов с бретельками и бумазейной курточки сияющую позолотой и лазурью мушкетерскую одежду: плащ, штаны с бантами, шляпу с пером и перевязь с кожаными ножнами. С трепетом натянул я на себя все эти прекрасные вещи. В этот момент вошел Портос. Рот его открылся, как у окуня.

— Послушай, белобрысый, — сказал я, — ты бу-

дешь сейчас Людовиком Тринадцатым, а я мушкетером, который вернулся с войны.

Белобрысый покорно уселся в кресло и сложил руки на толстом животе. Я торжественно вошел и, обметая пол пером шляпы, произнес:

— Ваше величество, приказание ваше выполнено: противник уничтожен. Я загнал четырех лошадей, чтобы первым принести вам весть о победе!

— Молодец, товарищ д'Артаньян. Вы отдохните, а я покуда лошадь почищу, — со свойственным ему доброжелательством ответил Людовик-Лабутин.

Добряк Портос не читал Дюма, он вообще ничего не читал, но скрывал от нас свое невежество и даже не подозревал, насколько был верен образу. Но ведь сейчас-то он был Людовиком!

В бешеном гневе за такую профанацию образа я немедленно разжаловал Людовика в простого мушкетера, а мушкетера вызвал на поединок. Портос покорно слез с трона. Мы скрестили шпаги.

Наш Портос дрался еще хуже, чем Портос настоящий. Он был толстый, лимфатический малый с огромным запасом добродушия. Мои бешеные выпады его огорчали. Ему казалось, что мое неистовство вызвано страданием, которое он мне причинил, и он торопился помочь мне освободиться от этого страдания.

К скорейшему окончанию дуэли побуждало его также и маленькое тщеславие — слабая тень тщеславия настоящего Портоса: он замечательно умирал. Ни один из нас не мог достигнуть подобного искусства. Соседки расставались с примусами, чтобы полюбоваться последними минутами Портоса.левой рукой он зажимал рану, в то время как правая, держащая шпагу, медленно опускалась. Когда конец шпаги касался пола, пальцы разжимались, и, гремя эфесом, шпага падала на пол. Портос вздрагивал, глаза его закатывались, он раскидывал руки, колени подгибались, в смертной истоме он несколько секунд колебался, как подрубленное дерево, затем резко откидывался назад и растягивался во всю длину. Если роль, которую Борис исполнял, была особенно гнусна — когда он был гвардейцем кардинала или самим Жюссаком, или лярошельцем, — то перед тем как испустить дух, он в кор-

чах катался по полу и застывал в особенно неудобной позе.

Из-за этих превосходных умираний я больше всего любил иметь противником Портоса, хотя неизмеримо больше интереса представляли для меня поединки с Арамисом. Наш Арамис дрался превосходно, как бы подтверждая мучившие меня подозрения, что настоящий Арамис в искусстве владения шпагой превосходил д'Артаньяна. Дуэльные победы Арамиса многочисленны и лаконичнее дартаньяновских. Я никогда не мог простить Дюма, что он придал победам Арамиса больше изящества и блеска. Удар шпаги Арамиса был всегда смертелен, и он не знал таких неудач, как д'Артаньян при встрече на Амьенской дороге.

Я, как умел, пытался восстановить репутацию д'Артаньяна, но далеко не всегда преуспевал в этом. Наш Арамис дрался хитро и настойчиво. Иногда мне удавалось нанести ему смертельный удар, но чаще всего схватки заканчивались вничью. Доведенный, бывало, до отчаяния сопротивлением Арамиса, я кричал:

— Ну, сдавайся же, сдавайся, ведь ты должен сдаться!

По законам нашей игры некоторым из нас иной раз приходилось брать на себя роли противников мушкетеров. Но Колька только улыбался насмешливо и продолжал умно, расчетливо и тонко действовать шпагой.

Атос дрался слабо. Он был высокий, худой, голенастый и неуклюжий, как борзой щенок. Но его можно было бы заставить прекратить поединок лишь ударом в сердце — не нашей, деревянной, а настоящей, острой стали, шпагой. Его упрямство, как мы это называли, — на самом деле стойкость — было изумительным. Мы с Арамисом проделывали над ним страшные вещи. Когда он не подчинялся правилам и, получив удар шпаги в грудь, не опускал оружия, мы начинали рубить его с ожесточением, выходящим за пределы игры. Мы рвали шпагами его рубашку, искалывали грудь, но с глазами, полными слез, Атос продолжал неравный поединок. При этом он никогда не вкладывал в свои ответные удары лишней силы — он не хотел причинить нам боли. Он превосходил нас сердцем и совершенно лишен был чувства мстительности.

Когда же игра прекращалась, он вынимал очень

большой новый платок с зеленой каемкой — почему-то у него все платки были с зеленой каемкой — и сморкался. Но ни разу мы не видели слез на его щеках. Каким-то удивительным усилием воли он умудрялся удерживать их в глазах, пока они не высыхали. Никто не мог сказать, что видел Атоса плачущим.

Со временем игра наша приобрела четкую форму, хотя мы никогда не разыгрывали сцен из романов Дюма: ни погони за бриллиантовыми подвесками, ни завтрака на бастионе Сен-Жерве, ни расправы над миледи. Не придумывали мы и своих собственных с завершенной интригой сцен. Наша игра была лишена всякой театральности. Быть может, это объясняется тем, что нас увлекал в этой игре не сюжет, а та атмосфера тесной дружбы, которая ежеминутно могла быть подтверждена ударом шпаги, дружбы, полной самопожертвования и бескорыстия, дружбы, в которой четыре человека ощущали себя, как одного, и четыре сердца, как одно сердце.

Мушкетеры собирались. Полный костюм из голубой крашеной материи был только у меня. Плащ расшит золотыми мушкетерскими крестами, широкополая фетровая шляпа с серым страусовым пером, бархатная перевязь. Остальным приходилось довольствоваться какой-нибудь частью одежды. Атос обычно наряжался в очень недурной розовый плащ, Арамис украшался шляпой, а Портос — перевязью и парой шпор из велосипедных зажимок для брюк. Зато у каждого на боку висела шпага, и преотличная. Чашка была сделана из донышка консервной банки, эфес из тонкой стальной проволоки, деревянный клинок покрашен серебряной краской. Встречались мы на углу улицы «Старая Голубятня» и тут же отправлялись в добрый кабачок «Сосновая Шишка». Там, громко стуча кулаками, мы грозили трактирщику, что обрубим ему уши, если он не будет подавать нам все новые и новые бутылки старого бургонского и шампанского. Анжуйского мы не пили, памятуя о мстительной миледи.

— Подлец трактирщик, — картавя, кричал Арамис, — опять подсунул нам токайского вместо бургонского...

«Бургонское», «токайское» — Арамис упивался хмелем этих слов.

Конечно, на стол подавался гусь с вареньем. Это странное блюдо было заимствовано из «Трех мушкетеров», оно радостно удивляло нас необычностью сочетания; затем Арамис, восторженно картавя, требовал фрикасе.

Впоследствии Портос начал оживлять наши воображаемые пиршества кусками настоящего пирога, которые он приносил за пазухой из дома. Портосовские пироги были начинены чаще всего саго. Прежде я никогда не мог заставить себя проглотить кусок пирога, начиненного как будто скользкими, тусклыми рыбьими глазами, но в трактире «Сосновая Шишка» я с удовольствием уминал нагретый за пазухой Портоса сыроватый пирог.

Во время трапезы мы рассказывали друг другу о своих дуэлях. Портос, наименее всех нас склонный к отвлеченности, то и дело порывался рассказать, как он играл в «орлянку» или спасался от рук страшного Кукурузы, грозы нашего двора. Его призывали к порядку. Маленькое возбуждение, которое он вызывал в нас своей нетактичностью, приводило к тому, что шпаги вынимались из ножен. Я наскоро распределял роли. Двое оставались мушкетерами, двое других на время становились врагами: англичанами или гвардейцами кардинала Ришелье. Шпаги скрещивались с тупым деревянным звуком, который в наших ушах звучал высоким тоном металла. Но когда затихала битва и шпаги опускались в ножны, каждый хвастал своей победой, потому что все снова становились мушкетерами, то есть непобедимыми.

Если кто-нибудь из нас заболел, то считалось: Портос лечится от удара шпаги; Арамис занят интригой с госпожой де Шеврез; Атос предался вину; д'Артаньян гоняется за бриллиантовыми подвесками. Но в такие дни игра не клеилась. Лишь вчетвером испытывали мы полное, необыкновенное тепло дружбы.

Первое основание дисциплины — это форма, хотя бы она состояла из одной шляпы или пары брючных зажимок. Вчетвером мы представляли как бы маленькое войско. Мы до поры и сами не подозревали об этом. Но знаменательная встреча на Чистых прудах открыла нам глаза.

В пору нашего детства окрестности Чистых прудов были населены буйным и свирепым племенем. Те, кто помнит банду атамана Квакина из прекрасной повести А. Гайдара «Тимур и его команда», легко представят себе характер чистопрудной вольницы.

Квакин и его сподвижники были грозой дачных протек и фруктовых садов; чистопрудные ребята властвовали над большим водоемом, колыхавшим свои мутные волны в конце бульвара, у Покровских ворот.

Этот пруд, предмет восхищенной зависти мальчишек целого района, оставался под запретом для всех, кроме чистопрудных. Они одни могли ловить в нем карасей и пиявок, кататься с опасностью для жизни на старой, разошедшейся плоскодонке, зимой лазать по ледяным валунам и сооружать снежные крепости. Редкие смельчаки, рисковавшие приобщиться к запретным благам, карались беспощадно. Чистопрудные викинги создали нечто вроде мертвой зоны вокруг своих владений. Тот мальчик, который по беспечности или легкомысленной отваге осмеливался перешагнуть запретную черту, уносил с собой напрасные сожаления, разбитый нос и бессильную мечту о мести.

По всей Покровке и дальше — до Спасоглинищевского, Космодемьяновского, Златоустинского и прочих переулкам нашего района разносилась, подобно весеннему грому, слава предводителей чистопрудных. Чистопрудные превосходили воображением цирковых борцов, выбиравших себе звучные и грозные прозвища: Громобой, Циклоп, Змей-Горыныч; они знали убийственную силу контрастов и самого страшного из страшных окрестили нежно — «Лялик». Его сподвижник и тайный конкурент звался изящно: «Гулька». Остальные располагали столь же непринужденными кличками: «Фунтик», «Скоба», «Тапочка».

Наш отечественный Кукуруза, несмотря на всю силу своих маленьких крепких кулаков, никогда не мог завоевать и десятой доли авторитета этих мореходов. Его однообразные побои скорее надоедали, чем запугивали. Кукуруза был лишен всякой изобретательности, он и сам чувствовал, что его грузная, потом заработанная слава тускнеет перед волшебным, как северное сияние, ореолом, окружавшим веснушчатое тело Ля-

лика, черное и острое, как у галчонка, личико Гульки и даже блинообразную физиономию Фунтика.

Однажды мы возвращались вчетвером со школьного вечера. Мы вышли очень веселые, возбужденные, испытывая тот героический подъем, который всегда появляется у мальчиков в большой шумной компании, от музыки и соперничества в играх. Мы смеялись, громко разговаривали: хотелось хвастаться и чем-нибудь удивить друг друга. Мы и не заметили, как вышли к бульвару. Несколько в стороне угрюмо чернели воды пруда, деревья сухо шелестели ветвями, бульвар от решетки до решетки был широк, как мир. Возбуждение разом спало, взгляды наши дружно обратились в сторону Мясницкой, но груз хвастливых слов тяготел над нами, не давая свернуть с дороги. Мы подавили вздох и, разом поскромнев, двинулись через бульвар. Теперь каждый из нас стремился только к одному: в случае неприятной встречи произвести самое безобидное впечатление.

Одна дорожка, другая, вот уже мигает красный сигнальный фонарик у трамвайной линии. Вот уже, оскользнувшись на обледеневшем рельсе, я следом за другими перехожу путь. Как ласково мерцает фонарями тихое устье Телеграфного переулка! Внезапно я натываюсь на спину Портоса.

— Чего встал, белобрысый? — с ноткой пробуждающегося от сознания безопасности задора кричу я.

Но Портос не отвечает, он делает шаг в сторону, и сердце мое уходит далеко-далеко, оставляя за собой щемящую струйку холода. Прямо на меня смотрят два зеленых маленьких глаза, как будто вправленных в оранжевый апельсин. Но это не апельсин, а весноватая, нагло-злая мордочка Лялика. Черный галчонок рядом с ним — Гулька, позади ухмыляется во весь свой блин Фунтик. Еще двоих я не успел рассмотреть — они зашли к нам в тыл. Мы окружены.

— «Чего встал, белобрысый?» — передразнивает меня Лялик и заливается мелким, противным смехом.

И тут каждый из нас бессознательно вошел в свою роль. Арамис принялся издеваться, Атос молча встал впереди всех, прямо против зачинщика, Портос приосанился, а я, поддавшись прекрасному порыву, порождаемому дружбой, развернулся и с треском вlepил

кулак в курносый нос самого Лялика. Я почувствовал, как нос Лялика вдавился, подобно кнопке электрического звонка.

Не знаю, быть может, уже с утра таинственно и грозно начали бушевать подо льдом воды Чистых прудов, или зазеленела опушенная инеем липа, проросшая сквозь развалившееся здание теплушки, или какие иные необыкновенные предзнаменования вещали чистопрудным о близящихся тяжких бедах, быть может, все уж заранее было отмечено в книге судеб, — но я настолько поразился, увидев красные струйки, вытекавшие из носа викинга, что даже не сразу понял, что это кровь.

Между тем вокруг разгорелся бой. Атос взял на себя любимца чистопрудных — Гульку, Портос — Фунтика, Арамис оказался против двоих.

Мой же противник, страшный, непобедимый Лялик, стоял передо мной и двумя пальцами скидывал на снег красные капли крови. Он был незащищен в этот момент, но, потрясенный собственной дерзостью, я и не думал воспользоваться полученным преимуществом. Мой пыл как-то разом остыл, я позорно повернулся, но, не сделав и одного шага, споткнулся о чью-то ногу и полетел в снег. Мой противник, мгновенно оправившись от первого удара, в один прыжок очутился у меня на спине. Странное дело, его удары доставили мне удовольствие! Лялик был для меня воплощением ужаса, я думал, что удары его смертельны. Ничуть не бывало, я почти не чувствовал боли. В этот момент я освободился от страха. Теперь я знал, что в его жилах течет такая же кровь, как и в моих, и что его сила несколько не превосходит силы обыкновенного человека; он парализовал свои жертвы страхом.

Наслаждение, доставленное мне этим открытием, было настолько сладостно, что я позволил Лялику нанести несколько лишних ударов. Затем я вскочил. Первый же мой удар снова отворил шлюзы в его курносом носу. Еще один удар — и, корябая руки о булыжник, Лялик волчком завертелся на мостовой.

Я бросил быстрый взгляд на поле боя. Мушкетеры держались. Арамис прыгал, вился ужом между своими противниками, не давая им дотронуться до себя. Сам же он время от времени награждал их не сильными, но

меткими ударами в наиболее уязвимые части тела. Портос с Фунтиком, оба толстые, большие и неуклюжие, угощали друг друга увесистыми ударами, несколько не думая о защите. Атосу приходилось как будто хуже других...

И тут я оказался свидетелем маленькой сцены, давшей мне твердую уверенность в победе.

Один из противников Арамиса сумел заскочить ему за спину. Момент был исключительно опасный: удачная подножка — и Арамис пропал бы. Я хотел было крикнуть: «Берегись», но тут Портос, угостив Фунтика увесистой оплеухой, с неожиданным проворством обернулся, его толсто подшитый чесанок пришел в соприкосновение с задом противника Арамиса, еще мгновение — и тот с воем полетел в сугроб.

Да, мушкетеры не только дрались, они следили друг за другом, чтобы в нужный момент прийти на помощь. Чистопрудные ребята были сильны своей организованностью, но сейчас они столкнулись с более крепкой организацией. Мы превосходили их дружбой. У нас не существовало ни зависти, ни соперничества, мы были как одно тело. И в этом чистопрудные уступали нам. Ведь никто не пришел на помощь Лялику, когда я с первого же удара разбил ему нос. Наверное, Гулька в глубине души испытал радость от унижения своего патрона. Значит, мы можем побить их поодиночке. Когда я повернулся к Лялику, он мог прочитать в моих глазах свой смертельный приговор.

Я еще раз ударил его, и Лялик не осмелился ответить. Он подпрыгивал в своем коротком пальтишке, дуя на ободранные в кровь пальцы. Я замахнулся.

— Брось! — с хмурой, недетской досадой сказал Лялик и отошел в сторону.

Но мне мало было сломить его физически.

— Чеши! — крикнул я, махнув рукой в сторону бульвара.

Он повернулся и медленно побрел прочь.

— Бегом! — крикнул я.

Он затрусил, вобрав голову в плечи.

— Быстрей! Еще быстрей!

Скрюченная фигура бывшего викинга как-то жалко проплясала в свете уличных фонарей и скрылась за решеткой бульвара.

Я повернулся к дерущимся. Один из противников Арамиса, видимо тот, что отведал валенка Портоса, покинул поле боя, и Арамис чувствовал себя не плохо. Портос вяло, но уверенно продолжал поединок с Фунтиком. Зато Атосу приходилось туго. Маленький, сухощавый Гулька был дьявольски увертлив, хитер и злющ. Носиком кованого сапога он бил Атоса в живот, по голениям, подпрыгивал и головой ударял под подбородок. Длинные руки Атоса бессильно резали воздух. Ему никак не удавалось попасть в Гульку. Настоящий Атос скорее бы умер, нежели попросил о помощи, но взгляд его бывал красноречивей всяких слов. Наш Атос ни за что не унизился бы до того, чтобы просить о помощи даже взглядом: он был из тех, кто умрет, не сделав себе никакой уступки.

Я схватил Гульку за воротник.

— Пусти! — хрипло крикнул Атос.

Я понял и отпустил. Но Гулька был сделан из металла более прочного, чем Лялик, — он снова наершился. И тут один из ударов Атоса наконец-то попал в цель. Когда Гулька удирал по переулку, мне казалось, что он продолжает свой полет на скорости, сообщенной ему ударом Атоса.

Не знаю, удалось ли бы нам даже вчетвером разделаться с Фунтиком. Он был как будто слоновой кожей обшит — удары не причиняли ему вреда. Но, обнаружив, что остался один, толстяк совершенно растерялся, обмяк, уронил руки и кончил тем, что разревелся как теленок. Мы по разу вложили ему для памяти и торжествующе двинулись домой, занимая всю ширину улицы, которая, как и весь мир, принадлежала теперь нам. Мы получили свое первое настоящее боевое крещение.

Теперь нужно было оповестить всю окрестность о нашей победе. На другое утро мы сплоченным строем вышли во двор. Этот строй возник у нас невольно, как только мы осознали себя воинской частью. Впереди я с Атосом — группа атаки, позади Портос с Арамисом — группа прикрытия.

Первым, кого мы встретили, был Кукуруза. Мы все не хотели его задирать, это шло вразрез с нашими планами. Но Кукуруза был тяжелый, тупой малый, вечно поглощенный заботой о своем престиже. Он был

настолько глуп, при всей его незаурядной силе, что любой плюгавка мог над ним поиздеваться.

Но мы не собирались его трогать. Кукуруза сумрачно взглянул на нас, и, видимо, наш четкий строй вызвал в нем смутное недовольство, словно он узрел попрание каких-то своих прав. Наклонив голову, Кукуруза шагнул вперед и толкнул Атоса в плечо. Не было произнесено ни слова, ни звука, но в мгновение ока трех Кукурузы лежал на крыше винного подвала, валенки зарылись в помойку, а сам владелец вещей сидел на грязном сугробе, выковыривая из ушей снег, соломинки и всякий сор. Мы же четким строем прошествовали по двору, не дав себе труда оглянуться на поверженного колосса.

Вскоре все ребята двора и окрестностей почувствовали нашу новую силу. Одни с увлечением, другие с недоверием, которое мы не пропускали случая рассеять, следили за ростом нашего могущества; до сих пор мы пользовались репутацией скромных мальчигов, которых не стоит большого труда обидеть.

Один Кукуруза не мог усвоить происшедшей перемены. Бедный парень никак не способен был увязать прошлого с настоящим. Однажды ему удалось «поймать» меня одного, когда я возвращался из школы, и залепить мне пару основательных плюх.

— Кукуруза, имеешь! — пригрозил я ему на прощанье и тут же пожалел о своей несдержанности: теперь он будет избегать нашей четверки, и нам не придется с ним по квитаться.

Я плохо знал Кукурузу: он не только не уклонился, он сам полез в огонь...

После экзекуции Кукуруза покорно подобрал свои монатки, но должного урока все-таки не извлек и на следующий же день избил Арамиса. На этот раз он подвергся более суровой каре. Портос при нашей дружеской поддержке не только намял бока Кукурузе, но и зашвырнул его пожитки на крышу дровяного сарая, откуда их ему долго не удавалось извлечь.

— Не трожь ты их, Кукуруза, — уговаривали его другие ребята, — сгубят они тебя совсем. Вон ты уж какой бледный стал.

Ничего не помогало. Кукуруза не мог взять в толк, как могло случиться, что мальчишки, которых он по-

одиночке бьет и которых в прежние времена без труда колотил всех четверых зараз, стали так жестоко с ним расправляться. Каждый раз он накидывался на нас и, получив свою порцию, долго сидел на снегу, мучительно-тяжко размышляя над происшедшим.

Это был самый расцвет нашего мушкетерства. Но именно с этого момента и началось угасание игры. Причин тому было несколько: наше повзросление, школа, новые книги и картины, рассказывающие о наших сверстниках, советских детях, чьи дела были нам ближе и интересней похождениям далеких героев Дюма.

Мы с Павликом учились в одном классе. И вот вскоре после зимних каникул к нам явился один старший товарищ, из пятого класса, и заявил, что годы у нас уже не малые и пора бы подумать о красном галстук. Красный галстук давно уже был предметом нашей зависти, мы в совершенстве умели его завязывать и знали, что длинный конец означает рабочий класс, короткий — трудовое крестьянство, а узел — нерушимую связь между двумя классами. Но старший товарищ сказал, что одного желанья стать пионером мало, галстук надо заслужить. Нам дали три задания: провести подписку на дирижабль среди квартирантов нашего дома на сумму не меньше десяти рублей, собрать мешок бумажного утиля на Главном почтамте, который был шефом нашей школы, и написать стихи в стенную газету «Голос пионера».

Первое и последнее задания мы выполнили не без блеска. Наши друзья пришли нам на помощь. Подписных листов с гербами и штампами у нас было всего два, но мы разграфили листки из тетрадки и вручили Борису и Кольке. Поскольку их в доме хорошо знали, не возникла мысль о подделке. После мы подклеили их листки к нашим. Собранную таким образом сумму мы пополнили собственными сбережениями, разбив глиняные копилки: я кошку, Павлик собаку. Общая сумма достигла тридцати семи рублей.

Стихотворение мы посвятили прославленной советской полярной экспедиции, разыскавшей группу злополучных спутников итальянского аэронавта Умберто Нобиле. Писали мы это стихотворение три дня, зато получилось здорово:

Чухновский в путь пустился,
Всех обогнал он быстротой:
Людей спасать ведь торопился
Наш северный герой.

Это стихотворение, напечатанное в стенной газете, произвело фурор, вся школа выучила его наизусть. Отсутствие поэтических красот и несколько обидная краткость с успехом окупилась актуальностью темы. В то время Чухновский был кумиром мальчишек, среди наших сверстников Чухновских было не меньше, чем Покрышкиных и Кожедубов у ребят поры Отечественной войны.

Оставалось третье задание: сбор бумагоутиля на почтамте. Оно вызвало у нас большие сомнения.

Главный почтамт на Мясницкой казался нам одним из редчайших чудес света. Там все было необычайно. Вертящиеся массивные двери стремились настигнуть тебя и прихлопнуть своей дубовой тяжестью; посреди не гигантского зала чернел зев подземелья, уходящего в таинственные недра здания; за деревянными барьерчиками бежали по свистящим вращающимся роликам бесконечные резиновые ленты, на которых, покачиваясь, плыли облитые сургучом пакеты, толстые письма в небывало огромных конвертах: голубых, розовых, синих, красных; там, в зените невообразимой выси купола, куда уносились все голоса и шумы, творилось бесконечное эхо, словно играла таинственная музыка.

Но то, что происходило ввнутри, за стенами было еще притягательней. И вот сейчас нам открывалась возможность проникнуть в этот запретный мир, увидеть то, что навсегда останется скрытым от глаз многих тысяч посетителей почтамта. Но как примирить утиль и мушкетерство, голубой плащ, удары шпаги, «Старую Голубятню» с обрывками старых газет, бумажным сором и пахнущими картофелем мешками?

Одно дело — дирижабль или стихи, которыми не брезгал и знаменитый Сирано де Бержерак.

Мы сделали попытки уклониться, мы попросили заменить нам это задание каким-нибудь другим, например собрать деньги еще на один дирижабль. Но старший товарищ дал мне суровую отповедь:

— Сбор утиля — одна из главных задач на данном этапе. Из утиля делают машины, станки и даже ве-

лосипеды. Бумага-мусор перерабатывается снова на бумагу. А бумага, как вам известно, идет на тетради, которых не хватает и малышам, и даже пятиклассникам. Так что мы обязательно должны вас проверить на этом важнейшем участке.

Что оставалось делать? С одной стороны, красный галстук, утренний сбор по сигналу серебряного горна, принадлежность к лучшему отряду школьников, заманчивая работа, с другой — затянувшаяся игра, первую тесноту которой мы начали ощущать, словно не в меру узкую одежду. Ранним мартовским утром, когда воздух был студен и сумрачно белес, мы с Павликом, запасшись двумя мешками, отправились на почтамт. По улице мимо плачущих капелью стен, подняв воротники, спешили на работу люди. И мы невольно приравнивались к их шагу, впервые в жизни ощутив себя тружениками.

На углу Кривоколенного переулка нас поджидал опрозрачневший от изморози Николай. Он прижимал к животу огромную кипу каких-то бумаг. Опасаясь, что нам не набрать по полному мешку утиля, Колька похитил из отцовской библиотеки комплект журнала «Нива», присоединив к нему целый ворох своих рисунков. Мы с благодарностью приняли рисунки, а «Ниву» решили отложить, чтобы после посмотреть иллюстрации. Колька проводил нас до почтамта и был свидетелем того, как здоровенный дядя в толстой шинели пожарника, приблизив к носу наши пропуска, буркнул: «В порядке», и отодвинул свою массивную фигуру от крошечной дверки, над которой мигали красные электрические буквы «Служебный вход»...

А через две недели мы стояли на сцене физкультурного зала в ряду наших одноклассников, красные от волнения, как галстуки, которые держал в руке старший товарищ, и, стремясь перекричать друг друга, старательно выговаривали:

— Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, даю торжественное обещание...

После этого я не то чтобы охладел к игре, но уже не с прежним безоблачным чувством натягивал на себя мушкетерский плащ. Окончательный же удар мушкетерство получило с иной, совершенно неожиданной стороны.

С некоторых пор я стал замечать какую-то перемену в Портосе. Он по-прежнему довольно исправно нес свою мушкетерскую службу, но делал это словно по обязанности, не вкладывая в игру живого сердца. Несколько раз я заставал Бориса о чем-то беседующим с Колькой. Вернее, Борис рассказывал, жестикулируя с несвойственной ему горячностью, а Колька слушал с открытым ртом. При моем появлении Борис круто замолкал и начинал улыбаться, как человек, захваченный какими-то своими приятными мыслями. Все это не могло укрыться от меня, но я делал вид, что ничего не замечаю. Наша дружба не позволяла мне понуждать Бориса к откровенности. В глубине души я не терял надежды, что он сам откроет мне свой секрет. Так оно и случилось.

Как-то вечером мы были в сборе и поджидали Бориса, запоздавшего более обыкновенного. Мы не начинали игры и тихо злились на нашего слишком нетерпеливого друга. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился Борис. Но то не был наш привычный Портос. Его добродушное лицо с пшеничными бровями потонуло под старым, источенным молью красноармейским шлемом с высокой остроконечной шишечкой. Посреди шлема, над крошечным козырьком, горела пятиконечная кумачовая звезда, пришитая черными нитками. На бедре белобрысого висела кобура из потрескавшейся темной кожи.

— Боец второй кавалерийской бригады Котовского Лабутин, бывший Портос, — отрекомендовался он, лихо отдав честь.

Впечатление было потрясающим. Даже Арамис-Колька, посвященный в Борькину затею, был поражен его великолепием. Он понюхал кобуру и нашел, что она «пахнет порохом», затем, став на цыпочки, потрогал шишечку шлема.

— Настоящая, — дал он свое заключение.

— Где ты все это стащил, белобрый? — зависть против воли прорвалась в моем вопросе.

— Зачем стащил! — солидно ответил Борис. — Мне отец дал. Он у меня сам служил в Красной гвардии.

Я и прежде не представлял себе, что можно уважать человека больше, чем мы уважали старика Лабутина, когда он на красном, бешено звенящем, мечу-

щем голубую искру трамвае подкатывал к остановке у Армянского переулкa и круто тормозил на самом углу. Каждый мальчик нашего двора считал себя ошастливленным, если в ответ на истошное «Здравстуйте, дяденька!» старый вагоновожатый подмигивал зеленым под рыжей ресницей глазом. Но теперь наше уважение перешло в поклонение. Как выяснилось, он был не просто бойцом, а самим каптенармусом.

— Ну, уж это ты загнул, белобрысый! — воскликнул Колька, на которого звучное слово «каптенармус» произвело необычайно сильное впечатление.

Белобрысый поклялся, что говорит святую правду. Этот день и последующие за ним воспринимались мною так, словно стены моей комнаты, сдвинутые с места какой-то чудодейственной силой, начали расширяться, что-то кроша на своем пути, открывая новые, неизведанные миры и просторы, от которых спирало дыхание.

Мало того, что в квартире у нас оказался настоящий живой герой, мало того, что белобрысый, смело отбросив мушкетерский плащ, предстал перед нами в скромном, но блистательном обличье красного бойца, мы и сами, поддавшись обаянию нового героизма, хотели, чтобы он повел нас в этот, пока лишь ему одному принадлежащий мир.

Вскоре нам стала ясна вся картина превращения Портоса. На детском утреннике в кинотеатре «Маяк», «самой плохой кинушке в Москве», как сообщил нам не без гордости, он увидел фильм «Красные дьяволята» — про необыкновенные приключения трех ребят: Мишки, Дуняши и негра Тома, которые вместе с Красной Армией сражались против банды страшного атамана Махно.

Какие только штуки не выделывали они с махновцами! То переодетая Дуняша проникнет в главный штаб махновцев и похитит портфель с важными документами. То Мишка-следопыт прищемит вагонной дверью голову преследовавшего его махновца. То негр Том притворится убитым и тем завлечет в засаду целый обоз белобандитов. То натрут скипидаром зад самому батьке... Картина настолько понравилась Борису, что он решил сам вступить в ряды Красной гвардии.

— Это что, мушкетеры! — увлекшись, говорил он. — Только и знали, что шпагами тыкать да бургонское дуть. А здесь, как Дуняшу бандиты в плен возьмут!..

Это было, конечно, кощунство, которое в прежние дни наверняка стоило бы Портосу хорошего удара шпагой в грудь, но сейчас я только спросил:

— А она что?

— Дуняша? Молчала, как мертвая. Ей Махно велел пятки огнем жечь, а она молчит. Ей уголья раскаленные в пальцы суют, а она молчит.

— Ну, а после?

— А после ее негр Том спас. Он на ней вроде как женится.

Это нам не понравилось, жениться считалось стыдным, и мы не любили, когда герои женились. Поэтому Борис поторопился добавить:

— Это уже в самом конце. А так — здорово!

— Вот бы сходить на эту картину! — мечтательно сказал Колька.

— Очень свободно! Только там сейчас «Жизнь за жизнь» идет, страшная заграничная буза, где все время целуются. Я завтра сбегаю узнаю, когда будет детский утренник.

— Ладно, значит, решено, — сказал я. — А покамест... — и я потянулся за шпагой.

Но ни один из друзей не последовал моему примеру.

— Ну их, мушкетеров! — досадливо и небрежно отмахнулся Борис.

— Полегче, белобрысый! — Я почувствовал, как похолодели мои щеки.

— А ты знаешь, кто такие мушкетеры? — ошеломил он меня неожиданным вопросом.

— Как кто такие? Герои, солдаты.

— На-кась! Это жандармы!

Жандармы? Нам в школе много рассказывали про царских жандармов, и я не знал более бранного слова, чем «жандарм». Как могли быть жандармами эти веселые храбрецы, рубаки, герои? И все же я почему-то сразу поверил, что он говорит правду. Мне показалось, что золотое шитье на моем плаще поблекло.

— Врешь ты все, белобрысый...

— Вот и не вру. Мне отец сказал.

С этим авторитетом нельзя было спорить. Я медленно общипывал страусовое перо на шляпе.

— Они и на войну-то почти не ходили! — с торжеством продолжал белобрысый. — А были телохранителями у царя. Тело его хранили.

— Это верно, — тихо подтвердил Павлик, который много читал и не говорил ничего такого, чего бы не знал наверняка.

Любимые герои навеки потускнели в моих глазах. Я чувствовал себя обманутым. «Нет, — говорил я себе, — может быть, мушкетеры и были жандармами, но только не Атос, Портос, Арамис и д'Артаньян». И все же мое пионерское сердце не позволяло мне рядиться в обличье пусть и невсамделишных, но все же жандармов. В этот вечер мы не играли...

А ночью я безжалостно перекроил мушкетерскую шляпу в остроконечный красноармейский шлем. Но я ничего не сказал об этом друзьям до того дня, пока мы не пошли смотреть «Красных дьяволят».

В воскресенье, купив по полтиннику билеты, мы переступили порог кинотеатра «Маяк», находившегося возле Чистых прудов в переулке.

Крошечный зал фойе был полон ребят. Были здесь девятинские, златоустинские, несколько чистопрудных, которые, завидев нас, стали перешептываться, но не предприняли никаких враждебных действий. Борис, чувствующий себя старожилом, уговаривал нас пойти посмотреть на макет винтовки из папье-маше. В макет была вделана электрическая лампочка, от которой шли два провода. Надо было присоединить один провод к металлической кнопке на какой-нибудь части винтовки, а другой — к такой же кнопке в списке частей. Если правильно угадаешь название части — лампочка загорается. Правда, лампочку давно вывинтили кто-то из чистопрудных, но мы поверили Борису на слово. В это время билетерша объявила, что в фойе состоится лекция.

— Давайте быстренько вон к тому столу. Да не шумите, а не то не покажем вам сеанса...

— Не стоит ходить, это не обязательно, — отчего-то покраснев, стал убеждать нас Борис.

Но нам хотелось испытать все удовольствия утренника.

Мы смешались с толпой, окружавшей крытый ку-мачом столик и сидящую за ним лекторшу, пожилую женщину в роговых очках на красноватом, пористом носу. Лекторша с трубным звуком высморкала свой похожий на губку нос, нагнулась и вытащила из-под стола большие листы картона. На картоне были нарисованы огромные черви с хоботами и голые люди со вскрытыми внутренностями. Лекторша отобрала картоны с червями и подала их одному из чистопрудных.

— Посмотрите и передайте товарищам, — сказала она. — Это бактерии заразных болезней, увеличенные в несколько миллионов раз.

Чистопрудный хмуро и недоверчиво ухмыльнулся и через голову передал картоны стоявшим позади.

— Ну, ребята, — бодрым голосом начала лекторша, — сегодня мы с вами беседуем о туберкулезе.

Конечно, мы очень скоро поняли, почему белобрысый пытался нас удержать от этой лекции. Но в этой попытке скукой была своя приятная сторона: тем более заманчивым казалось ожидавшее нас впереди наслаждение.

Остальная аудитория томилась не менее нас, но почему-то никто не расходился. Чистопрудные ребята деловито переговаривались, менялись свайками и большими стертymi пятаками для игры в расшибалку. Когда же лекторша заговорила о вреде курения для легочных больных, чистопрудные дружно потянули из карманов измятые пачки «Басмы». Хотя из предосторожности курили в рукав, скоро и лектор и аудитория потонули в голубых, вонючих клубках дыма. Надтреснутый звонок неожиданной радостью вторгся в унылую атмосферу фойе. Все ринулись к дверям, и жалобно из-за дымовой завесы звучал голос невидимой лекторши, умолявшей вернуть ей бактерии.

Предводительствуемые Борисом, мы в числе первых проникли в зал и заняли отличные места у самого экрана. В наше время передние места считались самыми почетными. Экран в этом кинотеатре заменяла плохо побеленная стена, на которой каждый раз после очередного разрыва пленки возникал световой квадрат. Но никто не обращал внимания на такую мелочь, так же как и на частую штриховку, косо резающую кадры, как будто все действие фильма происходило под дож-

дем, на перевернутые надписи и радужные блики от неровностей стены. Все это принадлежало кино, а мы не помнили, что находимся в кино. Мы были включены в происходящее на экране, мы были полноправными участниками всех приключений маленькой компании. Лишь на другой день смогли мы говорить и спорить, что кому больше понравилось: история ли Дуняши, наскипидаренный ли Махно или глупый бандит, дующий самогон через клистирную трубку.

Все сплошным потоком вошло в душу, достоверное и близкое, как сама жизнь.

Наверное, это был очень хороший фильм, если он мог так захватить все поколение моих сверстников. В нем была правда дружбы, правда больших и добрых человеческих отношений, и в этой главной правде исчезала неправдоподобность отдельных ситуаций, наивность и примитивность многих сцен.

Когда зажегся свет и публика повалила к выходу, Борис сказал, чтоб мы не двигались с места.

— Сейчас второй сеанс будет. Останемся.

Мы беспрекословно подчинились его авторитету. Я заметил, что несколько чистопрудных и златоустинских тоже остались в зале. Борис объяснил, что надо делать. Когда станут проветривать зал, мы спрячемся между рядами, а затем спокойно зайдем свои места. Минут через десять перед нами снова замелькали знакомые лица, снова под громкий смех глупый махновец тянул самогонку через клистирную трубку.

Мы вышли из «Маяка» около шести часов вечера, когда кончился последний, пятый по счету, сеанс для детей и начиналась демонстрация заграничной бузы с поцелуями.

А затем мы собрались в большой, заставленной кроватями комнате Бориса. За столом, крытым клеенкой, сидел сам вагоновожатый с поднятыми на лоб очками и рассказывал нам о своем боевом прошлом.

Хотя вскоре выяснилось, что звучный титул каптенармуса, или каптера, как говорил Лабутин, означает всего-навсего кладовщика, ореол славы, окружавший его в наших глазах, нисколько не померк. Он знал все и про Махно, и про Петлюру, он видел в глаза самого Буденного, а комбриг Котовский пообещал однажды «посадить его на губу» за непорядки на складе. Когда

же он стал рассказывать о том, как в бою под Гуляй-Подем, когда в ротах осталось не более десятка штыков, он взял винтовку и занял место в поредевшей цепи стрелков, мы побледили от восторга и острой зависти к белобрысому.

— А вы много беляков подстрелили? — спросил Колька.

Я почувствовал, что слова «посадить на губу», «беляки» начинают Колю пьянить, как не пьянили прежде даже «бургонское» и «анжуйское».

— Не считал, — пряча улыбку под рыжими, пушистыми усами, ответил вагоновожатый.

На другой день был организован отряд красных партизан имени Лабутина-отца. Командиром из уважения к прошлым заслугам был избран я, комиссаром — душа дела, белобрысый. Колька стал во главе разведки, Павлик принял штабную работу, а за нашей спиной выстроилась колонна бесстрашных, лихих, горячих воображаемых бойцов.

Впрочем, наша армия недолго оставалась абстрактной. Игра наша, изменив своему комнатному характеру, вышла на улицу, во двор, и скоро отряд насчитывал десятка два боеспособных штыков.

Однажды Борис пришел сильно озабоченный.

— Знаешь, что отец намедни говорил? Он говорил, что красные партизаны громили помещичьи усадьбы и уничтожали частных собственников.

— Это какие частные собственники? — спросил юный Колька.

— Ну, которые сами чего имеют, а другим не дают. Капиталисты в общем...

— Так ведь теперь нет капиталистов, белобрик, — заметил Павлик.

— Как нет? А чистопрудные? Сами имеют пруд, а разве кому дадут попользоваться? Самые настоящие капиталисты.

— Неужели ты хочешь?.. — начал Павлик, но остановился и побледи, пораженный величием идеи Бориса.

— Факт! Насовали же мы им в Телеграфном. Надо только ребят побольше собрать.

Так возник дерзкий план, который должен был положить предел могуществу чистопрудных. Но органи-

звать ребят оказалось делом не легким. Страх, внушаемый чистопрудными, был слишком велик. Сама идея принималась с восторгом: еще бы — сломить чистопрудных, сделать пруд достоянием мальчиков всего района, что может быть лучше! Но когда речь заходила об исполнении, огонь разом потухал: нас слушали вежливо, но холодно.

Бежали дни, а мы по-прежнему проводили время в горячих, но бесплодных маневрах: штурмовали винные подвалы, пугая огромных битюгов, брали приступом помойку, рассеивались, сосредоточивались, наступали, оборонялись — словом, осваивали стратегию и тактику партизанской войны. Но наша главная, заветная цель оставалась все так же далека. И совершенно неожиданно мы получили серьезную поддержку в лице... Кукурузы.

Случилось это так. Как-то после очередного столкновения с Кукурузой, когда мы готовились подвергнуть его обычной процедуре, нас остановил Борис.

— Ты кого трогаешь? — обратился он к Кукурузе, который стоял, набычив шею и сжав кулаки. — Ты красных партизан трогаешь. Буржуй ты, больше никто! — И Борис повернулся к нему спиной.

У Кукурузы побелели суставы пальцев, так сильно он их сжал:

— Но-но... ты... за буржуя в морду дам...

Борис спокойно посмотрел на Кукурузу.

— А как же тебя еще назвать? Только буржуи так себя ведут. Тут красные партизаны, командир вот, комиссар, начальник штаба, а ты лезешь.

— А я почему знал, — хмуро, но с заметным смущением пробормотал Кукуруза. — Я слышал за вас, что вы какие-то мушкеры.

— Темнота! — с сожалением покачал головой Борис. — Мало ли что было! А сейчас мы за уничтожение буржуев во всем мире. Слушай-ка, — сказал он, словно что-то сообразив, — до тебя дело есть...

Обычно все важные дела нашего двора разрешались в укромном месте за помойкой. Там, сидя на горячей от солнца крыше дровяного сарая, мы и рассказали Кукурузе о своем плане свержения чистопрудных. Узнав, что дело идет о чистопрудных, Кукуруза оживился:

— Я чистопрудных завсегда бью.

— Пстой, — остановил его я. — Бить-то бьешь, а на пруд ты пойти можешь?

Кукуруза хитро улыбнулся:

— Что я, рыжий? Побьют...

— А ведь охота рыбки подергать, купнуться?

— Факт, охота!

— А раз охота, набирай отряд. Мы им партизанскую войну объявим. Тебя назначаем командиром бригады.

— Командиром! — во весь рот ухмыльнулся Кукуруза. — Командиром — это можно...

Весть о том, что могучий Кукуруза примкнул к нашему движению и сам ведет полки, с быстротой ветра облетела весь двор. В нас верили, как в организаторов, но лучшей гарантией успеха являлись для всех крепкие кулаки нашего богатыря. Мы быстро составили ударную группу в составе пятнадцати человек. Почетным командиром был поставлен Кукуруза, но если б группе пришлось вступить в открытый бой, подлинным руководителем стал бы назначенный к нему комиссаром Портос. Дело в том, что мы вовсе не рассчитывали сломить чистопрудных силой. Побей мы их хоть дважды, все равно мы не гарантированы от того, что они вернуться к прежним повадкам. И группу бойцов мы думали использовать только на самый худой конец. Дело было уже к лету. В назначенный день мы запаслись удочками и отправились на Чистые пруды.

Приближаясь к Покровским воротам, мы обнаружили, что кроме пятнадцати бойцов за нами следуют еще десятка два сочувствующих; не рискуя принять непосредственное участие в боевых действиях, они не прочь были насладиться плодами победы, если таковую дарует нам небо.

Не доходя до Чистых прудов, наш отряд рассредоточился, чтобы скрыто занять оборону в районе кинотеатра «Колизей». Мы же четверо, с удочками на плечах, двинулись к пруду. На склонах водоема — зеленая трава. Вода голубая, чистая, посередке, где рябь, то и дело короткие взбрызги — караси выпрыгивают из воды в погоне за мошкаррой. Нигде не чувствуется приход лета так ясно и радостно, как близ воды.

На зеленом откосе, с удочками в руках, нежились

под лучами нежаркого апрельского солнца чистопрудные рыболовы. Самое лучшее место для ловли было у разрушенных мостков. Там, под навесом липовых ветвей, в тенистой заводи, клевало особенно хорошо.

Мы перелезли через ограду и подошли к теплушке. Шесть или семь чистопрудных внимательно следили за поплавками, покуривая «Басму» и тихонько переругиваясь. Был среди них и наш знакомец Гулька. Рядом с ним стояло ведро, где между черными запятыми пиявок плескался настоящий живой карась.

— А ну-ка подвинься, браток! — сказал Колька, разворачивая леску.

Гулька поднял голову. Он побледнел так, как только может побледнеть галчонок. Лицо его скривилось гримасой боли и страдания.

— Пусть себе ловит, бог с ним, — тихо сказал Борис.

Я взглянул на Павлика, тот потупил голову. Как всегда, все решил жест. Гулька как-то слабо, поженски замахнулся и хлопнул Колю по груди. Это было движение не столько злобы, сколько отчаяния. Коля равнодушно взглянул на Гульку, он принял его жест, как простую помеху, словно сучок зацепился за одежду. Он поднял ногу — и драгоценная банка с пиявками и настоящим, еще живым карасем полетела в воду.

Чистопрудные смотали удочки.

Мы заняли их место. Сочувствующие перелезли через решетку, но все же не решались приблизиться к пруду. Наши лески описали сияющие дуги и ушли в воду, поплавки запрыгали против волны. И все же ни наши друзья, ни наши враги не считали вопроса исчерпанным. Оглянувшись, я увидел, что чистопрудные собираются в подворотне ближайшего дома и словно ждут чего-то.

И вдруг понял: надо хоть что-нибудь выловить, ну хотя бы жалкого карасишку, хотя бы пиявку. Мелкая рябь тревожила поплавки, поваживала лески, но мы не поддавались на обман. Мы ждали того короткого вздрага тонкого конца удилица, который единственно служит верным сигналом удачи. Но его-то и не было.

— Клюет! — кричал Колька.

Машинально я выдернул удилице, еще не поняв даже, что клюет у меня. На крючке висела большая

черная пиявка, она медленно извивалась, тускло отсвечивая зеленым.

— Ох, и здорова!.. А жирна!.. — зазвенели вокруг нас голоса.

То, чего одни ждали с нетерпением и надеждой, а другие со злобой и злорадством, свершилось. Мы были окружены целой толпой наших ребят. Пиявка решила все. В какой-то миг весь берег усеялся рыболовами, замелькали удочки, сачки. И вот уже какие-то смельчаки отплывают в далекое странствие на старой, разошедшейся плоскодонке.

Свершилось!.. Мы нарочно прошествовали мимо подворотни, где сгрудились чистопрудные. Я нес свою удочку, как знамя, на крючке дрожала, истекая чем-то мутным, черная жирная пиявка. На нее смотрели все девятинские, все златоустинские ребята, делегаты от Спасоглинищевского и Космодемьяновского, на нее смотрели все мальчишки нашего района как на верный и прочный залог освобождения. Бессильные слезы лились из глаз чистопрудных, сгрудившихся в темной подворотне. Ведь я уносил не пиявку — я похитил их славу, силу и честь!

Великая цель была достигнута без всякого кровопролития, а запоздалая драка, которую все же затеял Кукуруза с чистопрудными, была нужна только ему.

В скором времени мне пришлось на год расстаться с моими друзьями. Отец, работавший в ту пору под Мурманском, что-то жаловался на здоровье, и мы с мамой уехали к нему.

Вернулся я в тридцать шестом году. Вернулся и нашел пейзаж моего детства сильно изменившимся. В Сверчковом переулке на месте пустыря с торчащими кое-где чахлыми, обглоданными дубками, носившими громкое название Абрикосовского сада, стояло большое кирпичное здание школы. Такое же здание поднималось на месте старой церкви, распространявшей запах ладана — запах бабушкиного сундука — по всему Армянскому переулку. Даже самый дом наш изменился, он стал выше на два этажа и сменил свой сиротский серый цвет на ярко-голубой. На дворе играли в «Чапаева» незнакомые мне ребята, и, лишь приглядевшись к самому Василию Ивановичу, я обнаружил, что чер-

ты его мне знакомы. Это был брат одного из участников чистопрудного похода, в те времена желторотый птенец. Я остро почувствовал всю длительность своего отсутствия и испугался, что мои друзья не узнают меня, а я не узнаю моих друзей.

С сильно бьющимся сердцем направился я к Кольке. Я выбрал Кольку, потому что он был самым легким и отзывчивым, настоящий барометр дружеских отношений. На лестнице знакомо запахло кошками, я немного приободрился.

— Но пассаран! — таким восклицанием встретил меня Колька.

И хотя ожидал иных слов встречи, я обрадовался. Я понял, чем сейчас живут мои друзья. Своим восклицанием Коля как бы открывал мне двери в свой новый мир и вместе с тем проверял меня: по-прежнему ли я с ними.

— Конечно, не пройдут, — ответил я. — Наши заняли Уэску, в Астурии дела тоже не плохи. А горняки подходят к центру Овиедо...

Колька с чувством пожал мне руку.

— Эти сволочи захватили Ирун, но я уверен, наши не дадут им закрепиться.

Он подошел к висящей на стене огромной карте Испании, истыканной флажками.

— Я хорошо придумал, что надо делать. Если наши начнут наступление из Гвадалахары...

— Да не в Гвадалахаре дело! — раздался знакомый, но с непривычными басовыми нотками голос, и в комнату вошел очень вытянувшийся, с черным пробивающимся усом Павлик, а за ним менее изменившийся, только ставший чуть не вдвое больше, белобрысый, голубоглазый Борис...

До глубокой ночи засиделись мы у нашего друга. И хотя внешность, повадки, интересы моих друзей стали иными, мы за один вечер наверстали целый год. Мы шли по одной дороге и потому словно не разлучались.

Мать Кольки уже несколько раз кричала нам из другой комнаты, что пора расходиться, но мы, каждый раз лишь на минуту сбавив голос, продолжали нескончаемые разговоры.

Колька по молодости лет всерьез помышлял о том,

как бы пробраться в Испанию и вступить в Интернациональную бригаду.

— Он познакомился с дочкой генерала Лукача Талочкой, — объяснил мне Борис. — Она обещала написать отцу, чтоб он вызвал Николая.

— Я бы не советовал Коле сейчас воевать, — с серьезным видом заметил Павлик. — Он находится в положении Сирано де Бержерака, для которого всякая рана была бы смертельной.

— Почему?

— Потому, что он состоит из сплошного сердца.

Впервые на моей памяти Колька покраснел.

Мы расходились, когда над Москвой занялась заря. Переулки были пустынные и облиты розовым. Цвели липы, а казалось, что нежный медовый аромат источают стены домов. Глубоко, всей грудью, вобрав воздух, Павел сказал:

— Я хотел бы стать солдатом до самой последней войны.

...Последующие годы мы виделись значительно реже, чем в пору детства. Наши жизненные пути разошлись, у каждого появились свои интересы, свои надежды, а порой и тревоги, о которых не расскажешь даже самому близкому другу. Но это не значит, что ослабли связующие нас нити. Каждое более или менее значительное событие в жизни одного из нас как-то само собой собирало всех вместе. Так было после поступления моего и Павлика в медицинский институт, вступления Бориса, а затем Кольки в комсомол. Так было и после больших неудач, вроде провала Павлика в четвертый раз по анатомии, когда стало ясно, что ему не удержаться на медфаке; так было после провала моего первого сборника рассказов и после того, как Борис, работавший бригадиром, уступил первенство другой бригаде. Так было в месяцы суровой войны с Финляндией, когда Павлик должен был уйти на фронт с добровольческим лыжным батальоном московских студентов, но сломал ногу во время тренировки и не попал на фронт. Мы никогда не занимались соболезнаваниями. Мы высмеивали пострадавшего, издевались над его неудачей, и это действовало куда благотворнее, чем жалкие, расслабляющие слова утешения. Неудача сразу становилась маленькой и проходящей,

впереди зрелась огромная, серьезная жизнь, на которую не попадало никакой тени от коротких, нестрашных бед настоящего.

Перед Отечественной войной мы виделись еще реже. Помню одну нашу встречу по случаю того, что Павлик, перешедший в Театральный институт, удостоился похвалы Леонидова. Благородный, добрый, необыкновенно сдержанный, Павел с легким волнением, которое мы наблюдали у него впервые, рассказал, как, вонзив в него бледный, пулевидный глаз, великий актер сказал: «Черт возьми, из вас, молодой человек, выйдет толк!» Это была редкая похвала в устах Леонидова, и мы поняли, что наш дорогой привычно неудачливый Павлик обрел наконец точку приложения той упрямой душевной силы, которая вела его сквозь все неудачи, а нас заставляла верить в большую его судьбу.

В последний раз мы встретились 22 июня 1941 года. Мы знали, что это будет последняя наша встреча. Мы сошлись в верхнем зале кафе «Метрополь». На этот раз пили мы не воображаемое, а настоящее, хотя и очень плохое вино. В этот день в одном тонком журнале был опубликован мой первый рассказ. Появление его должно было стать для меня началом новой жизни. Да, в этот день началась новая жизнь, но не для одного меня и совсем не так, как мне мечталось. Отправляясь на свидание, я захватил с собой журнальчик, — во всем огромном мире было только три человека, которым сегодня еще был нужен этот жалкий, запоздавший на целое столетие рассказ.

Мы все знали, для чего собрались. Павлик опередил нас; мы это обнаружили, как только он снял старую фетровую шляпу с обвисшими полями. Странно мелкая, круглая, выбритая до синевы голова Павлика избавила нас от многих лишних слов. Он уезжал через три-четыре дня. Коле, только что окончившему десятилетку, предстояло идти на действительную службу, он уже прошел все комиссии и сейчас был озабочен лишь одним: в какой род войск проситься. Борис работал бригадиром на оборонном заводе и мобилизации не подлежал. Но его брат — командир пехотного полка — обещал похлопотать, чтобы Бориса отпустили с ним. Самое двусмысленное положение было у меня.

По странной иронии судьбы, бывлой зачинщик всех битв и стычек был... признан негодным к военной службе.

Но я знал, что все равно буду там же, где и мои друзья, знали это и они. Мы сидели, пили очень плохой портвейн, который казался нам столь же прекрасным, как старое бургонское наших детских лет. Улыбнувшись, маленький Колька встал.

— Налейте мне еще вина, я хочу сказать тост! Давайте так... воевать, как будто мы все вместе. Ведь вместе мы были непобедимыми, — помните чистопрудных?

— И давайте не писать друг другу писем до конца войны, — сказал Борис.

— Почему?

— Нешто вы не помните: когда у нас кто-нибудь заболевал... ну в общем выбывал из строя... у остальных игра не клеилась?

Мы замолчали. Тень вечности скользнула над нашим столом. У Бориса детски дрожали пухлые губы. Павел опустил голову, он мог многого добиться в жизни, но, беспощадный к себе, он не ждал пощады от судьбы.

Поздно ночью мы вышли из кафе. Война лишила город замкнутости, улицы превратила в дороги, дороги вели в ночь. В ночь ушли мои друзья. Но перед тем я в последний раз увидел их лица в отблеске электрического разряда, выбитого дугой какого-то заблудшего трамвая. В коротком призрачном сиянии, бледном и странном, как в рентгеновском кабинете, их лица предстали мне словно выбитыми на медали из какого-то несуществующего холодного, нежного и легкого металла.

В октябрьские дни я со студенческим ополчением шагал по Волоколамскому шоссе. В нагрудном кармане гимнастерки лежали ненужные теперь гражданские документы: паспорт, студенческий билет и свидетельство о негодности к военной службе...

Я надолго потерял из виду моих друзей. Уже после отпуска студенческого ополчения, когда я, все-таки оставшись в армии, был произведен в офицеры, до меня дошли смутные слухи, что Колька отправлен на один из северных фронтов. Он окончил полковую шко-

лу в звании младшего сержанта и получил назначение в лыжный ударный батальон.

Я возвращался на попутной машине из Селищева, военного городка аракчеевских времен, лежащего на берегу Волхова. Мы только что перебрались через реку, и наша полутонна, гремя разболтанными болтами, кашляя и задыхаясь, стала карабкаться по береговому откосу, когда навстречу нам вышли лыжники-автоматчики. Из-под круглых зеленых касок глядели усталые мальчишеские лица. Очень новые, с необмывшимися воротниками шинели, необстрелянное оружие за спиной, блестящие, как зеркало, шанцевые лопатки, не отрывшие ни одного окопчика, говорили о том, что эти автоматчики — молодые бойцы пополнения. Маршевый батальон не держал строя, и многие из автоматчиков ложились на снег для короткой передышки: кто — ничком, кто — свернувшись калачиком. Иные жадно, горстями, запихивали себе в рот пушистый, сухой снег. Но были более выносливые или более упрямые. Согнувшись и не глядя по сторонам, они упорно шагали обочь дороги с лыжами на плече.

Промчалась штабная «эмка». Сзади нее, привязавшись ремнем к буферу, неся, присев на корточки, молодой лыжник. Вслед ему полетели веселые выкрики и шутки, забавная его выдумка как будто вернула бодрость уставшим паренькам. Они сдвигали на затылки глубокие каски, чтобы полюбоваться на своего лихого товарища.

Пронесясь мимо нас, боец поднял голову, и я узнал беспечное, нежное, с чуть монгольским разрезом глаз, красивое, дерзкое, дорогое лицо Кольки. Я что-то заорал и на ходу вывалился из кузова.

Штабная машина быстро удалялась к Волхову. Размахивая руками и крича во все горло, я бежал следом за ней. Коля приподнялся, я чувствовал — он силится меня разглядеть, но расстояние между мной и машиной быстро увеличивалось. Лыжники провожали меня удивленными взглядами. Я выбежал на берег Волхова, когда машина уже подпрыгивала на досках моста.

Впереди лежал замерзший, в черных полыньях, Волхов. Правый берег тонул в сумерках, а наш как-то печально светился, словно по его откосам расстелили

бледные ризы. Никогда не забыть мне щемящей тоски закатов Приволховья. Казалось, что солнце, исчерпав свою скудную, бедную силу, навсегда прощается с землей, медленно и блекло навек умирает день...

Резкий, гортанный крик команды заставил меня очнуться. Уже весь батальон собрался на краю обрыва, и вот первый автоматчик, словно пущенный из пращи, сорвался и понесся под откос, взметая снежную пыль. За ним второй, третий... Один за другим лыжники стрелой неслись к реке, в воздухе мелькали палки, синие колеи на снегу сплетались в сложный узор. Вот уже первый лыжник петляет между черными ямами полыней, и, настигая его, мчатся десятки других юных автоматчиков. И уже нет здесь усталых детей — здесь быстрые, собранные в комок, устремленные вперед солдаты наступления. Противник был далеко, за ледяными валунами правого берега, за редким, как расползшийся шелк, иссеченным снарядами лесом, но мне казалось, что стремительное движение этих лыжников не кончится, пока они не достигнут сердца врага. И мне стало менее грустно при мысли о том, что Колька находится среди настоящих людей.

О судьбе своих товарищей я узнал, вернувшись после контузии зимой сорок третьего года в Москву.

Дома меня ждало письмо от Бориса. Он писал: «Я стал такой злой и упрямый, а мне все злости мало. Хочу знать все про вас: кто живой, а кто пал от руки фашистов, чтоб и за эти жизни взять с них ответ». Я написал Борису, что знал.

Павел пал в боях за Москву. Его имя значилось в коротенькой заметке Информбюро. Там сообщалось об упорном бое, разгоревшемся в селе Н. между группой советских бойцов во главе с младшим лейтенантом Аршанским и ротой немецких автоматчиков. Советские воины, отрезанные от своей части, засели в здании сельсовета и в течение нескольких часов отражали атаки немцев. В конце концов немцам удалось поджечь деревянное строение. Советские воины предпочли погибнуть в огне, нежели сдать в плен.

Заметка была написана в обычном тоне: кратко, сухо, без подробностей. Но я, для которого младший лейтенант Аршанский был соратником по чистопрудным боям, очень хорошо представил, как все это про-

исходило. Да, вот о таких, как Павел, разбился характер новоявленных тевтонов.

О судьбе Коли я узнал несколько позже. Оказалось, он никогда не был на Волховском фронте. Он погиб у Ильменя. В один из московских госпиталей прибыл его товарищ, однокашник, который был с ним в последнем бою. И последнее, что он видел, перед тем как его ранили, был Николай, тащивший на спине раненого товарища.

Мать Николая, пришедшая вместе со мной в госпиталь, спросила почему-то раненого, видел ли он лицо Николая в этот момент. Нет, сказал тот, товарищ, которого тащил Николай, был очень велик и грузен. Коля так согнулся под тяжестью его тела, что лицом едва не касался снега.

Коля был маленьким и тщедушным. Я помню: сумка с провизией или туго набитый ученический портфель казались ему немалой тяжестью, и он поминутно перекладывал ношу из руки в руку. Я бы несколько не удивился, услышав о самом невероятном его подвиге. Его беспечной дерзости хватило бы на любое отважное деяние. Но рассказ раненого поразил меня: то, что сделал Николай, было сверх его физической силы.

Иначе сложилась судьба Бориса. Он прошел до конца весь беспримерный путь русского солдата. Убитый под Ельней, он воскрес под Молодечно. Он брал Варшаву и, оплаканный матерью в дни штурма Кенингсберга, прислал ей весть из-под Кюстрина. Четырежды раненный, дважды контуженный, дважды объявленный погибшим, он брал Берлин, и не его вина, если он не был в числе тех, кто поднял знамя над горящим рейхстагом.

Он долго служил в оккупационных войсках в Германии и вернулся в Москву лишь через несколько лет. Мы встретились, мы любили друг друга, как встарь, но дружбы не получилось — слишком звонка была пустота, оставленная теми, ушедшими.

Тихон Петрович

Тихон Петрович, преподаватель физики, был самым старым из наших учителей. Он был на целое поколение старше ближайшего к нему по возрасту Игната Захарыча. Географ Игнат Захарыч, высокий, жилистый, костяно-лысый, с острой седой бородкой, держался подчеркнуто прямо, ходил быстро, носил толстовку из туалъденора, черные брюки флотской ширины и ботинки-бульдожки; внимательный и придирчивый, он всех учеников помнил по именам и не скупился на выговоры.

Тихон Петрович был мал ростом, согбен в плечах, очень дряхл; на урок он выходил из учительской заходя, в разгар перемены, чтобы поспеть к звонку. Он еле передвигал ноги, каждую ступеньку лестницы одолевал в три шага. Он носил сюртучок, обшитый тесьмой, полосатые брюки без манжет и порыжелые генеральские ботинки с ушками, на груди у него был повязан черный шелковый бант, излохматившийся по краям. Он сохранил зрение, даже не пользовался очками, но в лицо своих учеников не помнил и на улице не узнавал. Голос, разработанный полувековым учительством, звучал громко, отчетливо, но редко когда окрасивался интонацией.

Погруженный в свою старческую слабость, он был отрешен от окружающего мира, странный и трогательный выходец из другой, далекой эпохи. Его безнадежная дряхлость и «потусторонность» особенно бросалась в глаза по контрасту со «здешностью» тоже очень старого Игната Захарыча. Рядом с другими молоды-

ми и пожилыми учителями Тихон Петрович был просто стар, рядом со старым Игнатом Захарычем он был стар вдвойне.

Мне много раз доводилось читать о том, как злобно издеваются школяры над слабыми, старыми или больными учителями. А вот Тихона Петровича щадили. Дисциплина на его уроках была не хуже, чем у других, куда более молодых, властных и строгих учителей, и уж, во всяком случае, лучше, чем на уроках Игната Захарыча. Географ любил показать, что он всеведущ и его не проведешь. Он ястребом падал на ученика, тайком читавшего под партой какую-то книгу, и с торжеством выхватывал у нарушителя... учебник географии. Ученик нарочно шевелил губами, Игнат Захарыч обрушивался на говоруна, а тот, призывая в свидетели весь класс, с видом оскорбленной добродетели доказывал свою невиновность. Когда же все сидели с закрытыми ртами, с глазами, прикованными к географическим картам, развешанным на стене, класс наполнялся тугим, ровным гудом, будто июньский шмель кружил над медоносом, и Игнат Захарыч не знал, на кого ему кидаться.

Ничего подобного не бывало на уроках Тихона Петровича. Его так легко было обмануть, сбить с толку, что это не представлялось заманчивым. «Бузить» на уроках Тихона Петровича считалось мелким и недостойным. Тот, кому хотелось читать Конан-Дойля, пока Тихон Петрович громким, неокрашенным голосом излагает закон Лавуазье — Ломоносова, преспокойно читал, но делал это вежливо и незаметно. Слушали Тихона Петровича плохо, его скучно было слушать, но оплачивали свое невнимание строгой тишиной. Эта печальная, жалостливая тишина казалась мне обидной для Тихона Петровича. Чтобы как-то нарушить ее, я иногда нарочно его переспрашивал или делал вид, что мне не все понятно. Едва ли он испытывал ко мне признательность: ему трудно было повторять раз сказанное, а тем более искать другие слова для объяснения.

— Ну, слушайте! — говорил он громко, с какой-то бессильной обидой. — Ведь я, кажется, ясно выражаюсь!

Я не отступал от своего правила, — я не только жа-

лел, но и глубоко уважал Тихона Петровича. Однажды я был в Политехническом музее на публичной лекции о квантовой теории. Я ходил на эти сложные, требующие серьезной подготовки лекции, ничего в них не понимая, кроме того, что мир куда сложнее и таинственнее, нежели это явствует из наших учебников. К своему удивлению, я встретил там Тихона Петровича. Он преподавал Ньютонову физику, но сам, чуть не ровесник Ньютона, старался быть в курсе новых научных открытий, ломающих к тому же весь привычный строй его представлений. Так ли просто узнать под конец долгой жизни, что энергия тоже материальна! До чего же трогателен в молодой, дерзкой аудитории был Тихон Петрович в своем сюртуке и с бантом, с клеенчатой ученической тетрадкой в руке; детскими шажками брел он по проходу, и его легкие, как пух одуванчика, белые волосы, подвластные любому дуновению, реяли вокруг бледно-розового черепа, словно собирались улететь.

— Здравствуйте, Тихон Петрович! — Я поклонился ему чуть не до земли, вложив в этот поклон все мое восхищение его научным подвижничеством.

Напрасный труд! Тихон Петрович не узнал меня, как давно уже не узнавал своих бесчисленных учеников.

— Здравствуйте, — ответил он равнодушно, даже не взглянув в мою сторону.

Однажды, когда уже прозвенел звонок, я погнался за Борькой Ладейниковым, причинившим мне какой-то ущерб. Мы мчались сперва между партами, а потом по партам, через головы ребят, давя чернильницы, топчя тетрадки, сбрасывая на пол учебники. Хоть и увлеченный преследованием, я все же подумал, что сейчас откроется дверь и в класс войдет Тихон Петрович. Ну и пусть! Разве бросил бы я погоню, если бы мы ждали Игната Захарыча или любого другого учителя? Тихон Петрович вовсе не нуждается в этом обидном снисхождении, лишь подчеркивающим его слабость. В головокружительном прыжке я настиг Ладейникова и вместе с ним рухнул на пол у ног вошедшего в класс учителя.

Тихон Петрович выронил деревянный штангенциркуль и не столько гневно, сколько испуганно закрычал:

— Ну, слушайте, что же это такое! Да вы с ума сошли!..

— Мы больше не будем, Тихон Петрович, — сказал я смиренно. — Простите нас, Тихон Петрович! — и прощмыгнул на свое место.

Другой раз мне удалось на иной манер доказать свою любовь к нему. Не помню уж, для каких нужд понадобилась Тихону Петровичу тетрадка по физике за пятый класс. Тетрадка ему нужна была образцовая: с записями всех уроков, с хорошими рисунками и чертежами. Лучшие тетрадки были, конечно, у девочек: чистенькие, аккуратные, без клякс и помарок. Но чертежи и рисунки выглядели безрадостно. Я хорошо рисовал и чертил и при большом усилии мог обходиться без помарок. Я сказал Тихону Петровичу, что за каникулы сделаю ему образцовую тетрадь. Три недели ухлопал я на это дело, три недели отняв у реки, футбола, городков, походов в лес и других радостей деревенской жизни. Но в первый день нового учебного года я принес Тихону Петровичу действительно образцовую тетрадь. До этого я никогда не видел, как он улыбается. Его бледные губы под белыми усами чуть зашлепали одна о другую, в уголок бледно-голубого глаза набежала слеза, и лицо стало застенчивым, лукаво-виноватым. Но почему-то мне показалось, что Тихон Петрович забыл о своей просьбе.

...В этот день Тихон Петрович принес в класс большой градусник в деревянном футляре и другой, маленький, — в картонном. Он рассказал о том, какое великое изобретение градусник, о его устройстве, способах применения, о шкалах Реомюра, Цельсия, Фаренгейта... Все шло хорошо, пока он не заговорил о медицинском градуснике и не обмолвился, что у человека температура не бывает ниже тридцати пяти. Я тут же вскинул руку.

— Ну, что вам? Слушайте, что вам? — громким и обиженным голосом спросил Тихон Петрович.

— Вот вы говорите, что температура у человека не бывает ниже тридцати пяти. А я знаю мальчика, у которого было всего три градуса.

Я говорил правду. У моего дружка по квартире Кольки Полякова во время приступа уремии температура упала до трех делений. Тут не было никакой

ошибки, я своими ушами слышал, как на кухне говорили про три деления и еще добавляли: «Нешто выживешь с такой температурой!» Но Колька Поляков выжил и прославился во дворе как чемпион по низкой температуре.

— Не знаю я вашего мальчика, слышите, не знаю!— говорил Тихон Петрович. — А температура у человека не может быть ниже тридцати пяти градусов!

— Этот мальчик живет в моей квартире, — сказал я мягко. — Он болел уремией, и у него было три градуса.

— А я вам говорю, так не бывает!

— Ну как же так, Тихон Петрович, если у Кольки Полякова было?

Класс одобрительно зашумел, я не раз приводил Кольку Полякова на наши школьные вечера, и его знали многие ребята.

— Тише! — крикнул Тихон Петрович и стукнул по столу слабой, худой рукой. — Не бывает у живого человека такой температуры!

— Но Колька Поляков живой!

Класс дружно поддержал этот неопровержимый довод. Ребята понимали, что я прав, а Тихон Петрович, несмотря на свой стаж и опыт, сел в галошу.

— Да вы что, издеваетесь надо мной? — плачущим голосом сказал Тихон Петрович. — Не бывает у человека ниже тридцати пяти, не бывает, слышите, не бывает!..

Я понимал, что мучаю его, но ничего не мог с собой поделать. Если б я меньше любил и меньше уважал Тихона Петровича, я бы оставил его в этом смешном и жалком заблуждении. Перепутай Игнат Захарыч проливы, острова или даже материки, я бы, конечно, указал ему на ошибку, но разве стал бы я так настаивать?

— А у Кольки Полякова было три градуса, — грустно, но твердо произнес я.

Какое потерянное, бледное лицо стало у Тихона Петровича!

— Ну, скажите, что вы ошиблись, слушайте, скажите, что вы ошиблись!.. — умоляюще взывал Тихон Петрович. Он понимал, что не может продолжать урок,

пока не восстановит подорванное мною доверие учеников.

Что было делать? Ведь я отстаивал истину не столько ради нее самой, сколько ради Тихона Петровича, чтобы развеять его ужасное заблуждение, вырвать из пучины старческого маразма. Я твердо верил, что еще усилие, еще немного стойкости — и ему передастся ясная сила моего молодого разума.

— Тихон Петрович, — чувствуя, как в горле закипают слезы, сказал я, — у Кольки Полякова было три градуса.

Тихон Петрович опустил на стул и закрыл лицо руками.

По счастью, прозвучал звонок. Что-то бормоча про себя, Тихон Петрович поднялся, забрал свои опозоренные градусники и поплелся вон из класса, еще более согбенный и дряхлый, чем всегда, и тонкие, легкие волосы беспомощно шевелились на его затылке.

Вернувшись из школы, я сразу пошел к Кольке Полякову. Он опять болел, на этот раз неопасной болезнью — свинкой. Колька лежал обвязанный шерстяным материнским платком и сводил на деку новенькой балалайки переводную картинку. У его изголовья стояла тумбочка, на ней — лекарственное питье в стакане, микстура с бумажным хвостиком и градусник.

— Слушай, Колька, я сказал учителю, что у тебя было три градуса, а он не поверил.

— Я бы всех этих учителей!.. — прохрипел Колька из шерстяного платка. — Много они понимают! — Он нащупал на тумбочке градусник и, обозначив ногтем свою температуру, протянул мне.

Все было правильно. Отросший за болезнь, грязноватый ноготь указывал точно три деления, а под этими тремя делениями была длинная черточка, возле которой стояла цифра 35. 35,3 градуса было у моего друга, когда его отвозили на «Скорой помощи» в больницу! Но почему же Тихон Петрович не сказал просто, что шкала градусника начинается не с нуля, а с тридцати пяти?

Прошло много лет. Я кончил школу и поступил в медицинский институт. Однажды в Политехническом музее на лекции о теории относительности я увидел Тихона Петровича. Он совсем не изменился, давно уже

перешагнул ту грань, когда человек меняется: те же узкие, согбенные плечи, тот же реющий младенческий пушок на голове, тот же шаркающий шаг и та же клеенчатая тетрадь в руках, и сюртучок, и брюки в полоску, и генеральские ботинки, и черный бант были все теми же. Я кинулся к нему.

— Здравствуйте, Тихон Петрович!

— Здравствуйте, — машинально отозвался он.

— Тихон Петрович, вы не помните меня? Я учился у вас в 326-й школе.

— Да... да... — проговорил он. — Многие у меня учились, многие...

— Я вам еще тетрадку летом переписывал...

— Да... да... спасибо.

Нет, не пробиться мне к нему! И уже просто так я сказал:

— А помните, я доказывал, что у одного мальчика температура была три градуса?

Он поднял голову, в бледно-голубых, почти белых глазах затеплилось что-то живое, гневное.

— Не бывает этого! Ну, слушайте, не бывает! — знакомым обиженным, громким голосом закричал Тихон Петрович.

Все-таки я остался в его памяти.

Торпедный катер

— ...Конференция по разоружению зашла в тупик. Итальянцы требуют равенства своего флота с французским, англичане не хотят поступиться хоть одним кораблем, немцы тайно строят боевой флот, готовясь к реваншу. Можем ли мы оставаться в стороне, ребята?— говорил на сборе отряда наш вожатый Витя Шаповалов, и его красивое, узкое лицо горело ярким, вишневой густоты румянцем.

— Нет! — пылко вскричала Нина Варакина, но ее восклицание было вызвано не столько тяжелой международной обстановкой, так ясно и твердо обрисованной Виктором, сколько тайной и постоянно прорывающейся влюбленностью в нашего вожатого, в его красоту и румянец.

Все мы невольно заулыбались. Улыбнулся и покраснел еще пламенней сам вожатый. Румянец, то и дело обливавший его лицо, выдавал не смущение или застенчивость, а скрытое напряжение его внутренней жизни, страстность, которую он вынужден был держать в узде. Подавленное мстило за себя, выталкивая ему под тонкую кожу горячую, алую кровь. Мне кажется, наши девочки безотчетно угадывали это, и румянец Шаповалова покорял их властнее, чем его серые, матовые глаза под длинными ресницами, чем его белые с жемчужным оттенком зубы, чем его высокий рост и стройность, чем его восемнадцать юношеских лет.

— Так что же мы должны сделать, чем ответить на происки империалистов? — в упор спросил Шаповалов.

— Собрать еще больше пустых бутылок! — выпалил тихий, застенчивый Ворочилин.

— Нет, этого мало! — серьезно сказал Шаповалов.

— Хорошо учиться, — пропищала круглолицая, зеленглазая Кошка — Панютина.

— Это мы должны всегда!

— Послать протест! — выплыл на миг из своих роговых очков с выпуклыми стеклами серьезный, погруженный в себя Павел Глуз.

— Отвечать надо не словом — делом!

— Крепить оборону Родины! — громко сказала Лида Ваккар.

— Конкретнее! — потребовал Шаповалов.

Он всегда произносил в иностранных словах ударные «е», как «э», и говорил «пионэр», «тэнор», «сантимэтр», «конкрэтно». И многие наши девочки подражали ему.

В моей душе бродило что-то смутно-героическое, но не складывалось в четкий образ предстоящего нам деяния.

— Мы должны, — медленно произнес Шаповалов, — собрать деньги на торпедный катер.

— Я только хотел сказать! — вскричал я: в эту минуту мне и в самом деле казалось, что я хотел это сказать.

— Напрасно удержался, — заметил кто-то ехидно.

Но остальные не обратили внимания на мою неловкую выходку, слишком велико было впечатление, произведенное вожатым. Вот такой он был, Шаповалов, он всегда подводил нас вплотную к решению вопроса. Даже странно, почему мы неизменно останавливались у самой последней черты; казалось бы, еще небольшое усилие ума и сердца, и нужное слово будет сказано, но мы терялись, и последнее слово оставалось за нашим вожатым.

— Подписные листы я раздам завтра, каждое звено должно собрать не меньше ста рублей.

— Неужели торпедный катер стоит всего четыреста рублей? — удивился Ворочилин.

Наш отряд включил пионеров пятых классов: «А», «Б», «В», «Г», каждому классу соответствовало звено.

— В одной нашей школе семь отрядов, — ответил

Шаповалов, — а собирать на торпедный катер будут пионеры и других московских школ.

— Ого! — сказал Ворочилин. — Неужели катер стоит так дорого?

Я поймал на себе гордый взгляд Кольки Карнеева, звеньёвого 5-го «А», и ответил ему таким же гордым взглядом. Я был звеньёвым 5-го «В», и между нашими звеньями, сильнейшими в отряде, шло постоянное соперничество.

— Наше звено соберет сто пятьдесят рублей! — крикнул я.

— Обязательство берет звено, а не звеньевой, — сухо сказал Шаповалов.

Я и сам это знал, но уж больно хотелось мне уязвить Карнеева.

На сборе звена мы решили, что каждый пионер будет подписывать жильцов своего дома. Большинство ребят обитало в маленьких домишках Покровских переулков, где нельзя было рассчитывать на обильную жатву, но три друга — Грызлов, Панков и Шугаев жили в новом, восьмиэтажном доме военных, что в Сверчковом переулке, Ладейников — в таком же большом доме политкаторжан на Покровке, наконец, я — в доме печатников, хотя и трехэтажном, но огромном, выходящем на три переулка — Армянский, Сверчков и Телеграфный.

Я был уверен, что мой дом меня не подведет. Основное население, которому дом был обязан своим названием, составляли типографские рабочие: печатники, наборщики, офсетчики, брошюровщики, переплетчики, метранпажи — народ политически грамотный, партийный, многие участвовали в революции и гражданской войне. Конечно, были и другие жильцы, занимавшие некогда огромные квартиры в нашем, тогда еще доходном «доме Константинова». Сейчас их заставили потесниться...

Вечером я отправился в путь. Меня встречали приветливо и серьезно, со строгим интересом к моему поручению. До сих пор памяты мне худые, бледноватые, будто тронутые свинцовым налетом лица, осторожный кашель: многие носили в себе профессиональную болезнь дореволюционных наборщиков — чахотку; внимательные глаза за металлической оправой очков,

глуховатые голоса, расспрашивающие, что за катер и с какой целью он строится. Разговор чаще велся в прихожей или на кухне, куда собирались все обитатели квартиры: главы семей, их жены, иные с грудными детьми на руках, мои дворовые дружки, а иной раз и неприятели. Но и эти последние, уважая дело, которое привело меня к ним, держались вежливо и предупредительно. В рабочих семьях подписывались все, не намного, по достатку и возможности, и я понимал, что внесший двадцать копеек был не скупее того, кто жертвовал полтинник, просто сейчас он не мог дать больше. Часто подписывались и жены: на три, пять копеек, сколько у кого оставалось от дневных расходов; они не складывали свои деньги с мужними, вносили их самостоятельно и тоже расписывались на листе. И мои дворовые приятели не оставались в стороне, причем вклад их порой превосходил родительский. Но особенно растрогал меня Борька Соломатин, хотя он внес всего пятачок. Это был очень старый, совсем стершийся, расплющенный пятак, но в том и заключалась его ценность. Борька отдал свой знаменитый биток, которым он обыгрывал весь двор в расшибалку.

В первый вечер я собрал около двадцати рублей. У большинства ребят, как и следовало ожидать, успехи были скромнее. Зато Грызлов, Панков и Шугаев могли похвалиться круглой суммой в пятьдесят рублей. Ладейников не пошел в обход. Он боялся засыпать контрольную по арифметике и весь вечер промучился с задачками. Все же общая сумма приближалась к сотне. Звено Карнеева собрало сорок рублей, остальные того меньше. В этот день мы были героями школы.

На большой перемене мне попался Карнеев.

— Мы думаем взять новое обязательство, — бросил я ему небрежно. — Что скажешь насчет двухсот рублей?

— А мы уже это сделали, — ответил он спокойно.

Надо было принимать срочные меры — Карнеев что-то задумал.

Павел Глуз был выдающимся математиком: мы проходили арифметику, а он давно вращался в сфере отвлеченных величин.

— Слушай, Глуз, ты не останешься после уроков позаниматься с Ладейниковым? — спросил я его.

— У меня сегодня кружок, — после долгой паузы, понадобившейся ему, чтобы уразуметь мой вопрос, ответил Глуз.

— Можешь разок пропустить. Ведь — аврал. На Ладью вся надежда. Порешай с ним задачки, а то Карнеев нас побьет.

— Мы собрали девяносто семь рублей, а они сорок три, — вдруг оживился Глуз. — Значит, через неделю у нас будет шестьсот семьдесят девять рублей, а у них триста один, на триста семьдесят восемь рублей меньше.

— Да, по цифрам это верно, — сказал я, несколько ошеломленный быстротой, с какой были произведены эти подсчеты, — а на деле хорошо бы две сотни собрать. Тут все не так просто... — Но, увидев, как затушилось и отдалилось лицо Глуза, я не стал пускаться в объяснения. — Одним словом, раз ты сам не ходишь по квартирам, помогай нам своей гениальностью.

— Что же делать! — вздохнул Глуз.

Но Ладейников не успокоился.

— У меня с домашним сочинением паршиво, — сказал он.

Если бы дом политкаторжан не рисовался мне чем-то вроде золотых приисков, я бы по-свойски ответил Ладейникову.

— Да ты что — не можешь написать, как провел лето?

— А чего писать, когда я все лето играл в футбол?

— Лида! — позвал я высокую, сухощавую девочку, с раскосыми серыми глазами.

Сочинения Лиды Ваккар на вольную тему пользовались особой любовью у нашей учительницы Елизаветы Лукиничны из-за чувствительности, с какой Лида описывала сельские пейзажи и животных. Если верить Лидиным описаниям, то большая часть жизни лучшей гимнастки пятых классов проходила на берегах ручьев, заросших прудов, среди овечек и козочек.

— Чего тебе? — лениво спросила Лида.

— Лида, помоги этому обалдую написать, как он провел лето.

Лида, столь трогательная в своей прозе, вовсе не отличалась сентиментальностью.

— И не подумаю! — сказала она.

— Но у нас вся надежда на Ладью!

Лида чуть смутилась.

— У меня не выйдет.

— У тебя-то?

— Откуда я знаю, как он хулиганил летом?

— Он тебе расскажет, и он вовсе не хулиганил, правда, Ладья? Он играл в футбол, купался в ручье и пас овец.

— Скорее, его пасли, — вскользь бросила Лида. — Ладно, черт с вами!

— Вот бы мне кто с чертежником помог... — завел Ладейников.

— Знаешь что — хватит! Помощь помощью, а батрачить на тебя никто не будет...

В следующий вечер я продолжил обход дома. Покончив с нашим двором, я перешел на другой двор и тут сразу же столкнулся с неожиданностью. Дверь мне открыл чистопрудный парень Калабухов, мой самый ожесточенный враг. Мало того, что он принадлежал к враждебному клану, он, как и я, был влюблен в Нину Варакину. По его наущению и с его участием меня не раз жестоко избивали на катке чистопрудные ребята. Но почему он попал в наш дом? Видимо, Калабухова столь же удивило мое появление.

— Ты... ты чего? — проговорил он, заступая мне путь в коридор.

Один на один я не очень боялся Калабухова. Отстранив его плечом, я ответил свободно:

— Деньги на торпедный катер собираю... А ты чего тут делаешь?

— К бабушке пришел... — растерянно произнес Калабухов.

Между тем передняя заполнилась жильцами и уже прозвучал привычный вопрос: «Тебе чего?..» Я хотел ответить, но Калабухов опередил меня:

— Я его знаю, он деньги на торпедный катер собирает!

После этого Калабухов забрал у меня лист и сам провел подписку. Когда же передняя опустела, он сунул мне собранные деньги и прошептал с ненавистью:

— Попадись ты мне, зараза, на Чистых прудах!

Утро принесло разочарование. Панков, Грызлов и

Шугаев столкнулись с конкуренцией: пионеры других школ, живущие в их доме, тоже проводили подписку на катер. Нашим ребятам достались поскребыши, что-то около двадцатки. Маленькие дома Покровских переулков, выжатые досуха, дали всего десять рублей. Весь наш сбор едва достиг полусотни. Звено Карнеева собрало примерно столько же, и разрыв между нашими звеньями сохранился. Мы по-прежнему ходили в героях. Принимая от нас деньги в пионерской комнате, Шаповалов растроганно произнес:

— Молодцы, ребята!.. Народ вас не забудет!

За спиной Шаповалова, распластанные по стене, скрещивались древками знамена, над ними сиял золотом пионерский горн. И слова Виктора были как золото, как кумач... Потрясенный, Ладейников дал слово, что немедленно ринется на штурм карманов политка-торжан...

Вечером я снова ходил по дому, но дело у меня не ладилось. Ничего удивительного тут не было. Квартиры с рабочим составом жильцов я уже обошел и сейчас все чаще натывался на мутноватый, отнюдь не пролетарского корня народишко. Помню, я очень долго стучался в маленькую, обитую войлоком дверь. Наконец дверь приоткрылась, в щели, косо перечеркнутой цепочкой, возникла повязанная темным платком старушечья голова. Крошечные, мокрые глазки, скользнув по мне, обрыскали лестничную площадку. Убедившись, что я один, старуха скинула цепочку и впустила меня в сумеречную переднюю, припахивающую церковью.

— Чего тебе? — спросила она.

— Я собираю деньги на торпедный катер.

— Чего? — Она повернула и наклонила голову так, что ее большое ухо с мясистой мочкой приблизилось к моим губам.

— Деньги... — как в микрофон, сказал я в это ухо.

Старуха цепко оглядела меня.

— Одет вроде чистенько... Да кто их, нынешних, поймет... Ну-кась, выдь на площадку.

Я шагнул за порог. Старуха накинула дверную цепочку и сказала мне:

— Погоди тут...

Возилась старуха долго. Наконец в щели показа-

лась темная, жилистая рука, держащая какой-то сверток в газетной бумаге.

— Ступай себе с богом!.. — И дверь захлопнулась.

Я развернул сверток. В нем оказались куски ситника, позеленевшие корки черного хлеба, маленькая копченая, медного цвета рыбка и сморщенное яблоко. Первым моим движением было постучаться в дверь и швырнуть старухе ее оскорбительное подаяние. Да ну ее к черту! Положив сверток у порога, я постучался в другую дверь.

Мне никто не ответил, видимо, квартира была пустая. Я взбежал этажом выше и нажал кнопку звонка раньше, чем подумал, что сюда-то мне звонить не следует. Здесь жила Валя Гронская.

Лет пять-шесть назад моего деда, врача, вызвали ночью к больной девочке. У девочки оказался дифтерит, она задыхалась. Дед, хороший и опытный врач, принял необходимые меры и, как любили говорить в то время, спас больной жизнь. Девочка эта была Валя Гронская, сказочное существо, которому я издали молчаливо поклонялся. Сколько раз с восторгом и смирением смотрел я, как ее привозят из гостей или с прогулки, летом — в лакированной пролетке на дутых шинах, зимой — в высоких санях с меховой полостью, разряженную, словно маленькая дама, смугло-румяную, грациозно-капризную, чуждую нашему двору с его винными складами и винным запахом, с толстозадыми битюгами и хмельными краснолицыми возчиками, чуждую мне и моим дворовым сверстникам, всем нашим делам, дружбе, вражде и оттого еще более притягательную.

Хотя мне было тогда семь лет, я не был вовсе лишен социального чувства, меня, внука врача и сына инженера, упорно звали во дворе «буржум». Мы жили очень скромно, только-только сводя концы с концами, и ничего буржуазного в нашей трудовой семье не было. Меня до черноты в глазах злило, когда Женька Мельников, сын завмага, кругленький, сытенный, добротен и нарядно одетый, отвлекался от бутерброда с ветчиной, чтобы крикнуть мне набитым ртом: «Буржуй!». «Сам ты буржуй — ветчину жрешь!» — отзывался я, но освободиться за счет Женьки от ненавистной клички мне не удавалось. Я не понимал тогда, что

дело тут не в зажиточности, а в моем непролетарском происхождении. Потребовалась вся бескорыстная и самоотверженная деятельность деда, лечившего жильцов нашего дома бесплатно, мои собственные футбольные и хоккейные подвиги, потоки крови из носа Женьки Мельникова и других особо рьяных любителей меня подразнить, чтобы оскорбительное прозвище отпало. И вот мне, так болезненно воспринимавшему слово «буржуй», никогда не приходило в голову отнести его к Вале Гронской.

Как я уже говорил, уважая славный народ, населяющий наш большой дом, дед не брал денег за лечение. Он не отступил от своего правила и в случае с Валей Гронской. Очарованные врачебным искусством и еще больше бескорыстием деда, Гронские решили отблагодарить его через внука и пригласили меня на день рождения Вали.

Из старой отцовской толстовки мне сшили штаны и курточку, и в назначенный день и час, зажимая под мышкой роскошного сытинского издания «Детство и отрочество» Толстого, я вошел в залитый огнями, сверкающий позолотой мебели и гладью зеркал чертог. Я не подозревал, что на свете существует такая роскошь: стены увешаны картинами в золотых багетных рамах, одна из них изображала Валу во весь рост с красным цветком в матово-черных волосах; на высоких постаментах — хрустальные и фарфоровые вазы, на этажерках — фигурки из слоновой кости. Иные стены были затянуты шелковыми тканями, иные украшены лепкой. Сколько там было комнат — не знаю, помоему, сто. Слепленный, оглушенный, как-то тяжело очарованный, я был в полубреду. Впрочем, во мне хватило ясности понять, что я очень плохо одет по сравнению с другими детьми: бархатными мальчиками и кружевными девочками. Я сознавал также, что жалок в своем поведении: прилепившись к Вале, я следовал за ней, как невзрачная тень. Ей, наверное, хотелось посекретничать с подругами, поговорить о чем-то своем с знакомыми мальчиками, но стоило ей уединиться с кем-либо, как тут же рядом вырастал я, безгласный и настырный со своей ненужной преданностью.

Там играли в фанты, и, конечно, мне выпало петь, и, красный, слепой, полумертвый, я тупо стоял посреди

комнаты не в силах раскрыть рта, хотя рыжеволосая Валина тетка, с голыми полными руками, в оспенных прививках величиной с медные пятаки, трижды принималась наигрывать на огромном черно-пламенном рояле «В лесу родилась елочка». А когда я наконец решился и тихо фальшиво затынул: «Смело, товарищи, в ногу», на меня зашикали. Оказывается, мой фант пропустили, и сейчас какая-то девочка, ловя воздух маленьким, круглым ртом и проглатывая его вместе с началом и концом слов, но громко и самоуверенно читала по-немецки «Лорелею».

А потом в коридоре на меня вдруг стал наскакивать козелком высокий, тонкий мальчик с завитой кудряшками головой. То ли его обозлила моя прикованность к Вале, то ли он почувствовал во мне пария и возжаждал легкой славы — не знаю. Он зажал меня в угол и тыкал в грудь хорошо пахнущей шелковой головой, толкая острым плечиком, а я только ежился, смущенно и жалко улыбаясь. Он был года на два старше меня и на голову выше. Но не это меня останавливало — страшно было нарушить порядок в его бархатном, с кружевным воротничком костюмчике, в его тугих, аккуратных кудряшках. И тут я заметил, что Валя со странным интересом следит за упражнениями своего приятеля. Наверное, я делаю страшную глупость, что позволяю ему измываться над собой: мне дана возможность вмиг стать героем, возвыситься в глазах Вали, а я стесняюсь и робею, как девчонка.

И когда он снова боднул меня в грудь, я встретил его ответным ударом плеча в скулу. Он отскочил с удивленным и обиженным видом, затем его тонкое личико скривилось, и он кинулся на меня. Через секунду он лежал на полу в своем костюмчике и кудряшках, а я сидел у него на животе. Он позорно разревелся, и на его рев из гостиной прибежали взрослые. Победа не принесла мне славы. Мальчику все сочувствовали, а на меня смотрели раздраженно и осуждающе. Даже Валя, встретившись со мной взглядом, пренебрежительно дернула плечом и пошла за апельсином для моего противника.

Незаметно выскользнул я из этого богатого и враждебного дома, выскользнул навсегда. Меня обуревали сложные и сильные чувства. Сводились они к одному:

я мечтал еще об одной революции, которая покончила бы с такими, как Гронские. Придумывалось хорошо и сладко: вот я въезжаю на белом коне в квартиру Гронских, бью зеркала, рушу обстановку и увожу на луке седла бесчувственное тело Вали, чтобы потом оживить его для новой, прекрасной жизни... С тех пор прошло шесть лет, и не понадобилось новой революции, чтобы лишить Гронских их прежнего величия. Я понял это, едва переступил порог. Они, правда, сохранили свое барахло, но замаскировали его, чтобы оно не бросалось в глаза: все кресла, стулья, диваны были затянуты полотняными, некогда белыми, а сейчас грязноватыми чехлами. И картины — их стало куда меньше — тоже зачехлены, и люстра с хрустальными висюльками скрыла жаркое сверкание в пыльном мешке, и даже Валя, открывшая мне дверь, со своими туго и гладко зачесанными назад, к пучку, черными волосами, в узком темном платье и серых нарукавниках, вся какая-то сжавшаяся в самой себе, показалась мне зачехленной. А вот старик Гронский, выглянувший в переднюю, и впрямь был облачен в полотняный чехол поверх бумажных брюк и рубашки «смерть прачкам»; да и Валина мать, принесшая из кухни запах прогорклого масла, была зачехлена понизу — так выглядел на ней полотняный фартук, скрывший ее большой живот и толстые ноги.

— Кто там пришел? — спросила она сильным, новым голосом, в котором звучала раздраженная тревога.

— По-моему, сын доктора Ракитина, — небрежно ответила Валя, хотя она отлично узнала меня.

Она сильно изменилась с той далекой поры, но не в хорошую сторону: прекрасная девочка стала строго и грустно красивой девушкой. И хотя жажда мести не угасла в моей душе, я поправил ее мягко:

— Не сын, а внук.

— Что ему нужно?

Валя чуть приметно усмехнулась.

— Чего тебе нужно?

— Мы собираем деньги на торпедный катер.

— Мы? — Валя высокомерно вскинула бровь. — Ты что — Николай II?

В этом зачехленном обиталище я чувствовал себя

посланцем светлого, широкого моря, за моей спиной было море и небо, дирижабли и торпедные катера, Красная Армия и все, чем жили настоящие люди моей страны. Мне легко давалось спокойствие.

— Мы — это московские пионеры, — сказал я.

Короткая улыбка, скорее гримаска, тронула Валины губы.

— Я думала, ты найдешь себе занятие получше, чем побираться по квартирам.

— Мы не побираемся, — сказал я, бессознательно угадав, что сильнее всего Валию задевает словечко «мы». — Мы помогаем строить наш Красный Флот!

Не знаю, произвела ли на Валию впечатление эта звонкая фраза, но старик Гронский ощутил некоторую тревогу.

— Дай-ка список! — сказал он. — Это что — приказ, указ, наказ?

— Никакой не приказ, кто хочет, тот и подписывается.

Старик Гронский прочел список и убедился, что тут дело добровольное.

— Раз это не приказ, наказ, указ, — сказал он, возвращая мне подписной лист, — то потрудись закрыть дверь с той стороны.

Странно, почему-то я был уверен, что он непременно подпишется, хотя бы из осторожности. Но его отказ меня не обескуражил. Напротив, было даже приятно, что все так четко определилось и нечистые руки Гронского не коснулись нашего дела. В глазах Вали светилося торжество: ей казалось, что ее отец унизил меня.

И вдруг я рассмеялся от того, что, вопреки жалкому Валиному торжеству, я все-таки взял реванш. И Вали поняла это, — резко наклонив голову, чуть наискось к плечу, она спрятала лицо и быстро прошла в комнату...

Я иду дальше, от двери к двери, с лестницы на лестницу, с этажа на этаж, из подъезда в подъезд. Я вдавливаю круглые кнопки электрических звонков, дергаю за веревочные хвосты старинные колокольчики, отрывающиеся тонким, жалобным треньком, стучусь костяшками пальцев, ребром ладони, кулаками, носком и пяткой ботинка в молчаливые то деревянные, то оби-

тые клеенкой по войлоку, а то и жестью двери. Чаще мне открывают, иногда нет. Чаще мой подписной лист пополняется, иногда нет. Я начинаю замечать, что у двери тоже свое лицо. Есть двери добрые, они непременно широко распахнутся перед тобой в удачу; есть двери злые — лишь просветят узкой щелью и тут же захлопнутся; есть мертвые двери, раньше, чем толкнешься в них, уже знаешь — они не откроются. Иногда попадают двери безликие: ни звонка, ни колокольчика, ни списка жильцов, ни медной дощечки, ни почтового ящика, никакой царапины, никакой надписи на гладких досках, ни захоженного половичка перед ними, ни железной сетки, ни просто следов...

Вот за такой дверью я наткнулся на самого странного человека из всех населяющих наш большой дом.

В синеву бледный, с рыжими перьями волос, торчащими вокруг гладкой костяной плечи, с морковными глазами, он поразил, ошеломил меня до испуга. Едва я пробормотал положенную фразу о сборе средств на торпедный катер, как он затрясся от хохота и резким, птичьим голосом закричал:

— Что?.. Торпедный катер?.. Катись на легком катере к чертовой матери!

Но тут же, вопреки своим словам, схватил меня за плечи и втащил в прихожую.

— Зачем тебе катер, мальчик? — кричал он. — Что ты с ним будешь делать? Кататься на Чистых прудах?

Я пробормотал, что катер нужен не мне, а нашему Военно-Морскому Флоту.

Он всплеснул руками.

— Такой маленький, а уже милитарист!

Я решил по созвучию слов, что милитарист нечто вроде милиционера. «Наверное, какой-нибудь кустарь или бывший нэпман, — подумал я. — Это они боятся милиционеров».

— Милиция тут ни при чем, — с достоинством сказал я. — Хотите подписывайтесь, хотите нет.

— Ты плохо агитируешь, мальчик! — вскричал человек. — Ты должен убедить меня, зачаровать, как василиск! Ты знаешь, кто я такой?

«Псих!» — чуть не слетело у меня с языка, но вместо этого я только мотнул головой.

— Я — обыватель, — грустно сказал человек и сел на окованный жестью сундук, занимавший чуть не половину прихожей. — А ты понимаешь, что такое расшевелить обывателя, пробудить его для общественной жизни? — Он пристально посмотрел на меня своими морковными глазами. — Ну, а что такое обыватель, это хоть ты знаешь?

— Гад нашей жизни! — твердо ответил я.

— Неплохо! — сказал человек. — За это я дам тебе копейку... Не тебе, не тебе... — замахал он руками, — а на твой дурацкий катер!

Он скрылся в комнате и тут же вернулся, зажимая что-то в кулаке.

— Держи! — Он театральным жестом разжал кулак: на ладони лежал новенький рубль. — Бумажная копейка! — засмеялся он радостным, детским смехом.

Окончательно сбитый с толку, я крупно вывел на подписном листе «1 рубль» и сказал:

— Распишитесь.

— Я верю, верю, мальчик, что ты не истратишь мой рубль на мороженое! — закричал человек.

— Распишитесь, пожалуйста, иначе я не могу принять деньги.

Человек взял карандаш и размашисто расписался. Я посмотрел на его подпись и густо покраснел. Едва ли хоть одно имя появлялось в ту пору так часто на афишах, как имя рыжего, вихрастого человека. И ведь я знал, что знаменитый музыкант живет в нашем доме, но принимал за него совсем другого — почтенного, дородного старца с нежной сединой длинных, легких волос, ниспадающих из-под старомодной фетровой шляпы на бархатный воротник пальто. Кто же тогда тот старый шарлатан, с благостным достоинством принимавший восторженные взгляды нашей дворовой вольницы? Или рыжий дурачит меня?

— А у вас есть скрипка? — брякнул я.

— Виолончель, мальчик, виолончель! — строго поправил человек. — А теперь, когда мое инкогнито раскрыто, оставь меня, воинственное дитя. Я создан не для битв. То, что в мир приносит флейта, то уносит барабан...

Сейчас, когда я знал, кто он, его болтовня уже не раздражала меня, так же как и внезапные жесты и

весь причудливый облик. Бессознательно я понимал ту вольную игру свободных душевных сил, что присуща щедро одаренным артистическим натурам.

Рубль музыканта оказался моей последней удачей в этот вечер. Подписной лист выглядел жалко. Что оставалось делать? У меня было девять рублей, скопленных на покупку трех томов «Виконта де Бражелона» в издании Академии. Я превратил рубль виолончелиста в десять, в конце концов, я и так знал «Бражелона» почти наизусть.

Но в школе меня ждал удар, перед которым померкли мои собственные неудачи. Ладейников собрал всего два рубля, и то рубль он получил от матери в награду за сочинение, написанное Лидой Ваккар. Пока мы возились с Ладейниковым, готовя его к контрольной, двое ребят из звена Карнеева обошли дом политкаторжан и собрали обильную жатву. Самое возмутительное было то, что они даже не жили в этом доме. Я хотел крупно поговорить с Карнеевым — его звено собрало снова около пятидесяти рублей, почти догнало нас, — но тут внезапно забрезжил луч надежды.

В нашем классе учился Юра Петров, загадочный парень. Высокий, тонкий, с хрупкими костями, которые он постоянно ломал, то прыгая с лыжного трамплина, то на катке, то занимаясь фигурной ездой на велосипеде, Петров представлял загадку и для учителей, и для нас, товарищей. Он лучше всех играл в баскетбол и в волейбол, лучше всех бегал на коньках и на лыжах, был настоящим виртуозом велосипедного спорта, но он не входил ни в одну команду. На все наши уговоры он отвечал примерно так: «Не могу, ребята. Перед соревнованием я обязательно чего-нибудь сломаю и подведу команду». — «А ты не ломай, поберегись». — «Это мое дело, — отвечал он надменно, — хочу ломаю, хочу нет». Учился он то прекрасно, то из рук вон плохо. От собраний старался отлынивать, но, когда это не удавалось, всегда брал слово и закатывал такие речи, что казалось, нет более заинтересованного в школьной жизни человека, чем Юрка Петров. Однажды нашему звену поручили сколотить тридцать почтовых ящиков для рационализаторских предложений рабочих и служащих Московского почтамта и написать тридцать призывов. Юрка Петров взялся нам помогать

и обнаружил такую ручную умелость, что мы все ящики уступили ему, а сами занялись плакатами. Тогда я сказал: «Юрка, почему ты не вступишь в пионерский отряд?» — «Э, нет, — ответил он, — позволь мне умереть беспартийным». И вот этот Юрка неожиданно попросил у меня подписной лист. Почему-то я сразу поверил, что Юрка — наше спасение, но будет ли это честно в отношении Карнеева?

— Да пусть собирает, — пожал плечами Карнеев, когда я рассказал ему о предложении Петрова.

— Ну, а как же соревнование? Петров не пионер.

Карнеев улыбнулся, мне показалось, немного свысока.

— Какая разница, если деньги идут на общее дело?

— А зачем вы у нас дома перебиваете? — вспылал я.

— Что, это ваши собственные дома, что ли? — спокойно ответил Карнеев.

— Не валяй дурака! У вас никто не живет в доме политкаторжан, чего вы туда сунулись?

— Мы спорим, как два золотоискателя! — засмеялся Карнеев.

— Ладно, — сказал я примирительно. — В общем, ты прав, дело действительно общее...

Юрка Петров оправдал самые смелые мои надежды: он собрал рекордную сумму — шестьдесят рублей. Около Лялина переулка недавно открылся маленький нелегальный рынок. Юрка Петров решил обложить данью торговков ранними овощами, варенцом и салом. Он показывал торговкам лист с печатью и коротко брссал: «А ну, тетка, доставай кошель!» И тетки, видимо полагая, что этим они откупаются от преследования милиции, раскошеливались.

Вся эта история отдавала чем-то незаконным. Но Юрка Петров со смехом доказывал, что торпедный катер в равной мере будет защищать и трудовой народ, и этих спекулирующих теток. «Да, но ты обманул их». — «Ничего подобного! Я же не говорил им, что это торговый сбор, а на листе прямо сказано, куда пойдут деньги». Все же подписной лист я у него отобрал. Тем более, что Карнеев хоть и посмеялся над Юркиной проделкой, но сказал: «Чистое дело надо делать чисто».

Наше звено лихорадило, случайные всплески удачи не способны были противостоять ровному напору карнеевского звена.

После занятий мы по привычке шли на Чистые пруды обменяться мнениями и составить план очередной кампании. Май в этом году лихорадило, как наше звено. То он синел просторным, чистым небом, гнал из прибитых дорожек бульвара полевые запахи пробуждающейся земли и золотил воды пруда, то насыпал низкие серые облака, сочившиеся колкой изморозью, и морщил свинцовую воду жесткими складками. И мы, то скинув пальто и курточки, то пряча назябшие уши в поднятые воротники, топтались по дорожкам бульвара, тщетно пытаясь проникнуть в тайну карнеевского успеха.

— Они не в одиночку ходят, — говорил Ворочин, — а всегда группами. Поэтому они никого не боятся. А я вот сунулся один в чужой двор — и сразу по шее заработал.

— Они стихи читают, — добавила Лида Ваккар.

— Какие стихи?

— Да Карнеев написал про торпедный катер. Как он бороздит море на страже наших границ.

— Тоже мне Художественный театр! — усмехнулся Ладейников.

— Ну, и что же? — заметил спокойный, основательный Грызлов. — И взрослые агитбригады так делают.

— Чёго же вы раньше молчали? — сказал я. — Лида, может, ты напишешь стихи?

— Я прозаик, — сухо ответила Лида.

— А разве прозаики не пишут стихов? Возьми Горького, Алексея Толстого...

— Ну, а я вроде Чехова — только прозу.

— Да, — сказал я горько. — Карнеева нам сроду не победить, мы — не те люди!

Я думал подзадорить ребят, но скорее поверг их в уныние.

— Там одна Нинка Варакина чего стоит! — мечтательно проговорил Ладейников.

— А чего она?..

— Да выгаращит свои синие глазищи, — ревниво сказала круглолицая толстушка Кошка, — и все сразу раскисают.

— У нее глаза не синие, а карие, — поправил Грызлов.

Я оглядел женский состав своего звена: хорошие девочки, но вряд ли кто раскиснет от их глаз. Надо же, чтоб так не повезло: ни поэтов, ни красавиц!

— А я петь могу, — вдруг сказал Ладейников, — и на баяне играю.

— Чего ты еще умеешь? — спросил я насмешливо, потому что все еще не мог простить ему дома политкоржан.

— Ты погоди! — перебила меня Кошка. — А если он будет петь песню про торпедный катер?

— Откуда мы ее возьмем?

— Мотив любой годится, хоть «Юного барабанщика», а слова написать можно.

— Но у нас же никто не умеет писать стихи.

— Хорошие — да, а плохие даже я напишу. Для песни любые слова сойдут.

— И мы будем петь, как слепцы под окнами?

— А вон идет Шаповалов, давайте его спросим. Витя! — тоненько закричала Кошка.

Шаповалов, шедший по боковой дорожке и, видимо, не замечавший нас, вздрогнул, сдержал шаг, но не оглянулся.

— Виктор! — басисто, в голос, крикнули Ладейников, Грызлов, Панков и Шугаев.

Шаповалов остановился, чуть закинул голову, будто стараясь угадать, откуда летит зов, затем повернулся и пошел к нам, зажимая рукой воротник куртки.

Я уже говорил о необыкновенной способности нашего вожатого вспыхивать и краснеть лицом. Но таким пламенеющим я еще никогда его не видел.

— Каюсь, ребята, — сказал он, подходя, — накрыли на месте преступления. — Он приоткрыл ворот куртки: на его длинной, стройной шее не было пионерского галстука.

С рядовых пионеров за такое дело строго спрашивалось, но промашка любимого вожатого показалась нам трогательной. Сам же Виктор не мог оправиться от смущения и все время, пока мы наперебой рассказывали ему о наших планах, горел факелом. Наши соображения казались ему «мировыми».

Впервые на моих глазах Шаповалов со всем соглашался, не вносил ни поправок, ни предложений. Он так мучился тем, что нарушил пионерский этикет, что ему не терпелось уйти.

— Можно подумать, он не галстук забыл надеть, а штаны, — заметил Ладейников, когда Виктор, благословив все наши начинания, поспешно удалился.

— Хамило же ты, Ладья! — возмутилась Кошка. — Вите дорога пионерская честь!

— Пионерская! — передразнил Ладейников. — Помешались все вы на Витьке...

Школьная молва трубила о неминуемой победе Карнеева, но мы не вешали носа. Ладейников уже разучил мотив «Юного барабанщика», Кошка обещала на уроке физики дописать последний куплет песни. Мы наметили маршрут и решили отправиться в путь сразу после окончания занятий.

А в раздевалке ко мне подошел Сергиенко, второгодник из звена Карнеева, и сказал:

— Брось, кум, тратить силы, ступай на дно.

— Ты о чем?

— Разве не знаешь? — говорит мне Сергиенко, а у самого губы белые и подрагивают. — Витька Шаповалов проел наши денежки.

Нередко бывает, что при известии о каком-либо несчастном случае, аварии или катастрофе люди задают бессмысленные вопросы, вроде: «В котором часу?» или «На какой улице?»

— До копейки? — бессмысленно спросил я.

Сергиенко оторопело поглядел на меня и отошел. И тут я увидел, что вокруг все наши: и Карнеев, и Ворочилин, и Глуз, и Лида Ваккар, и Кошка, и Ладейников, и Грызлов, и Панков, и Шугаев, и Нинка Варакина, и глаза у нее красные, будто она плакала, и другие ребята...

Растрату обнаружил председатель нашей базы Мажура, неожиданно вернувшийся с воинского сбора. Мажура запер дверь пионерской комнаты и набил Витьке морду. Что было с Шаповаловым дальше, не знаю: мы с ним больше не встречались...

За мою жизнь мне пришлось видеть немало человеческих падений. С высот величия и власти низверга-

лись в позор и бесславиe люди покрупнее нашего пионервожатого. Помню, с какой мукой я и мои сверстники выдирали из сердца Кнута Гамсуна, когда певец Глак'a и Виктории стал махровым фашистом. И все же никогда не переживал я такой боли... Витька был нашим героем, его похвала или осуждение значили для нас все, мы хотели походить на него, мы даже не ревновали к нему наших девчонок, поголовно в него влюбленных, настолько неоспоримым было его превосходство. Но я думал не только о нем, — я думал, как серьезно и доверчиво вручали нам люди свои деньги, а мы, пусть невольно, обманули их; я думал о бледных, строгих и добрых лицах наборщиков и о Борькином пяточке, единственном его достоянии. К чему были все наши волнения, радости и печали, победный восторг и горечь поражения?

...Всем нам было в разные стороны, но, не сговариваясь, мы двинулись к Чистым прудам. И чего нас сюда понесло? Было ветрено, знойко, а возле серой, угрюмой воды еще холодней и неприятней. Кто-то вспомнил, что на этом вот самом месте мы окликнули Витьку Шаповалова.

— Как он тогда вертелся, гад! — заметил Ладейников. — Чуюла кошка, чье мясо съела.

— Мы-то думали, он из-за галстука, — невольно усмехнулась Лида.

— А я, кстати, почувствовал, что от него винищем несет, только сам себе не поверил.

— Хватит, раскаркались! — с обидой и злостью крикнула Нина Варакина.

Разговор умолк.

— И чего же мы будем делать? — нарушил наконец молчание унылый голос Ворочилина.

— Как чего? — Карнеев поднял поголубевшее от холода худенькое лицо. — Достанем новые подписные листы и опять соберем деньги.

Мне никогда не забыть, как спокойно, уверенно и прекрасно прозвучали эти простые слова.

— Ну да... конечно... — удивленно пробормотал Ворочилин. — А чего же еще?

Все рассмеялись. Мы думали, что смеемся над наивной растерянностью Ворочилина, а мы смеялись от радостного, гордого чувства...

И тут появилась длинная шарнирная фигура Юрки Петрова.

— Гражданская панихида. по товарищу Шаповалову окончена?

— Знаешь, Петров, катись ты со своими шуточками куда подальше! — сказала Лида Ваккар.

— Дальше некуда! — беззаботно ответил Петров. — Я думал, думал. и решил прикатиться к вам. Только вот, как быть с присягой? Неловко старому, больному человеку говорить: «Я, юный пионер, даю торжественное обещание...»

Шампиньоны

Все свое детство я собирал утиль: металлолом, пустые бутылки и, с особым усердием, бумагу. В стране был бумажный голод, и мы, школьники, испытывали это на себе. Каждый тетрадный лист нам полагалось использовать с предельной плотностью. Бывало, учителя снижали отметку на контрольной за слишком размашистый почерк. Каким же радостным событием было развернуть новенькую тетрадь или припахивающий клеем альбом для рисования! Изредка тетрадные листы были плотными, глянцевыми, белыми с голубым отсветом от линеек, чаще — газетно-тонкими, серыми, с крупными волокнами, а то и с плоскими кусочками древесины. Я любил выковыривать из бумаги эти бедные останки погубленных деревьев. Мои тетрадные листы напоминали сито.

Когда наша новая вожатая Лина Кузьмина объявила «бумажный аврал», для нас это было желанным делом.

— Собирать будем на почтамте? — деловито спросил Карнеев.

— На почтамте само собой, — ответила Лина. — Но каждый должен посмотреть и у себя дома, нет ли старых газет, обоев, всякой, как говорит моя бабушка, лохматуры!

Как важно бывает одно вовремя сказанное слово! После Шаповалова у нас сменилось четверо вожатых, и ни одному не удалось поднять дух отряда до прежнего накала, ни с одним не возникло настоящей душевной близости. Каждый новый вожатый, памятуя о по-

зорном падении Шаповалова, невольно с первых же шагов старался показать, что он человек совсем иного склада, чем наш бывший, поверженный в грязь кумир. Шаповалов был горяч, речист, честолюбив, взрывчат, позерски живописен, притом доступен и прост. После него к нам приходили какие-то надутые и замороженные молчаливики. Мишурному блеску Шаповалова они противопоставляли сдержанность, доходящую до сухости, речистости — немоту, панибратству — недоступность. Возможно, задержись кто-либо из этих вожатых подольше, и лед был бы сломан. Но председателю базы Мажуре не терпелось поднять активность некогда лучшего отряда в школе, и вожатые менялись у нас что ни месяц.

Вот потому незамысловатая шутка Лины Кузьминой вызвала у всех радостную, дружную улыбку. На нас сразу повеяло чем-то простым, добрым, открытым, мы признали в Лине своего человека. А Лина и правда была хоть куда: крепкая, мускулистая, с решительными, стальными глазами, и если проглянуть кукушечью пестроту ее веснушчатого лица, то очень красивая: нос с легкой горбинкой, нежный и строгий овал, легкий пушок над чуть вздернутой верхней губой.

И я с былым победным задором крикнул:

— Второе звено, за мной!

Мы пошли на Чистые пруды. Морозы в этом году нагрянули сразу после ноябрьских праздников. На многих деревьях еще сохранились медные листья; тревожимые ветром, они жестко терлись друг о дружку. Снега не было, лишь в желобках твердо скованных песчаных дорожек, у подбоя бурого с зелеными прожилками газона белела сухая крупка. Мы шли, давя каблуками хрусткий ледок, затянувший лужи. Широко и светло блеснул всем своим чистым зеркалом замерзший пруд. По краю, оскальзываясь сбитыми сапогами, словно пробуксовывая, шел сторож со скребком и зачищал неровности.

— Скоро каток откроется! — мечтательно сказала Нина Варакина.

В этом году классы были перетасованы, мы оказались с Ниной в одном классе и в одном звене. И еще несколько ребят из звена Карнеева попало к нам. Но

в глубине души они остались верны старым знаменам. Это стало ясно, едва начался разговор.

— Кровь из носа, мы должны побить Карнеева! — сказал я.

— Держи карман шире! — как на пружинке подскочил маленький альбиносик, Костя Чернов.

— Конечно, побьем! — уверенно сказала Лида Ваккар.

— Всегда мы вас били и сейчас побьем! — Чернов яростно вытаращил свои кроличьи глазки.

— Притормози, Костя, — остановил его я. — Ты, кажется, забыл, в чем ты звене.

— Как, в чем?.. А, ну да... — Чернов не то чтобы смутился, а как-то опечалился.

И я опечалился. Трудно рассчитывать на успех, если и другие ребята, перешедшие к нам из звена Карнеева, разделяют чувства Чернова. Я взглянул на Нину Баракину.

— А тебе не все равно, Чернов, где работать? — лениво проговорила Нина.

— Кабы было все равно, то лазили б в окно... — пропищала Тюрина, «девочка в тигровой шкуре» — она носила шубку из шкуры тигра, убитого ее отцом на Амуре.

Мимо нас, подавая ногой консервную банку, грохотавшую на твердо замороженной земле, как танк, прошли Калабухов, курносый предводитель чистопрудных Лялик и его адъютант Гулька. Калабухов бросил на меня злобный взгляд — я сидел на скамейке рядом с Ниной, — но воздержался от враждебных действий.

Уже смеркалось, когда, составив план действий, мы двинулись по домам. В лиловатом воздухе, какой бывает в Москве погожим морозным днем поздней осени, мягко таяли деревья, и свет рано зажегшихся фонарей казался серебряным. Мы шли с Ниной по главной аллее в сторону Телеграфного переулка.

— Меня все-таки очень беспокоит Чернов и компания, — говорил я. — Мы должны обязательно победить, а то все развалится. Ребятам надоело, что мы какие-то вторенькие...

— А разве можно приделать человеку чужие руки? — неожиданно спросила Нина.

— Какие руки?

— Ну, помнишь, Конрад Вейдт...

— А, «Руки Орлаха»! Да чепуха все это!

— Какие у него глаза! — сказала Нина. — Я ни у кого не видела таких глаз. Запавшие, огромные...

— Послушай, — прервал я, — может, мы зря включили Чернова, Тюрину и Сергиенко в одну бригаду?

— Ох! — сказала Нина. — Настали веселые времена. Кроме утиля, ты уже ни о чем не можешь говорить!

Это была правда: когда меня что-нибудь захватывало, я, будто лошадь в шорах, уже ничего не видел по сторонам. И тут я понял вдруг, за что еще так люблю пионерскую работу, в особенности авральные дела. В эту пору я немного отдыхал от той постоянной, изнурительной заботы, какой была для меня Нина. Ведь вот я даже не сразу понял, что взамен Витьки Шоповалова у меня появился новый соперник — Конрад Вейдт. Все девчонки влюблялись в киноартистов, но отвлеченная любовь не мешала их романам с одноклассниками. А Нина отдавала им свое сердце безраздельно, будто герой мог сойти с экрана и принять ее дар.

Мы замолчали. По освещенной фонарями земле наперерез мне текла четкая и стройная Нинина тень. И вот по этой тени я впервые увидел, как сильно изменилась она за годы нашей дружбы. Прежде ее коротенькая, круглая тень катилась колом, потом она стала все утончаться, и вот сейчас, повзрослев раньше своей хозяйки, стала тенью маленькой женщины. И я пожалел, что не могу сейчас же ринуться в бумажный водоворот...

Мы перешли линию трамвая. В устье Телеграфного переуллка маячили знакомые фигуры: Калабухов, Лялик, Гулька. Они поджидали нас, вернее, меня. Тут не отделаешься маленькой дракой. До чего же не вовремя! Я не смогу явиться завтра на почтамт с разбитым лицом.

— У тебя есть медяки? — спросил я Нину.

— Тебе нельзя сейчас драться, — быстро сказала она, — ступай к Хоркам.

На углу Телеграфного и Чистых прудов в полуподвальном этаже жили два брата с нелепой фамилией

Хорок. Старший из них, Миша, учился с нами в одном классе.

— А зачем я к ним пойду? — проговорил я нерешительно.

— У них мать в театре работает, пусть Мишка пригласит старые афиши.

— Ну, что же! — Я улыбнулся. — Благородный повод, чтобы не дать набить себе морду. До завтра! — Я помахал Калабухову рукой и сбежал вниз по крутым ступенькам.

От своей матери, цыганской певицы, братья Хорок унаследовали южную смуглоту лиц, глаза, как влажные маслины, жесткую кудрявость иссиня-черных волос. Старший, Миша, был тучный подросток, с томной округлостью движений, сонно приоткрытым ртом, лентой и меланхолик. Мне думается, в какой-то мере его меланхолия была порождена однообразной и утомляющей необходимостью сто раз на дню объяснять разным людям, почему он «Хорок», а не «Хорек», коль уж носит такую фамилию.

Младший, Толя, такой же смуглый, кудрявый и черноглазый, во всем остальном был вовсе не похож на брата: худенький, с подвижными, тонкими мускулами лица, с быстрыми, всегда занятыми руками, полный неиссякаемого любопытства к окружающему. Старший с неохотой влачил по жизни свое заленившееся тело, младший, весь напоенный внутренним движением, был прикован к постели детским параличом.

Когда я вошел, Толя, высоко подпертый подушками, мастерил что-то из кусочков картона.

— Здорово, Ракитин! — закричал он радостно.

Миша валялся на тахте; он только закатил глаза, показав голубые белки, и вздохнул.

— Что скажешь о новой вожатой? — жадно спросил Толя.

— Поживем — увидим, — ответил я удивленно, хотя уже мог бы привыкнуть к тому, что Толе ведомы все наши школьные дела. — А как продвигается дрессировка Мурзика?

— Неважно. По-моему, Мурзик считает меня никудышным дрессировщиком. — Толя вдруг сделал большие глаза и приложил палец к губам.

Со стороны тахты слышалось сонное бормотание:

Грустно алый закат смотрел в лицо...
Грустно алый закат смотрел в лицо...

Я обомлел: Хорок-старший сочинял стихи! Вот уж не думал, что он способен на такой лирический подвиг!
— Грустно алый закат... — томно простонал Миша и замолк, по-судачьи приоткрыв рот.

— Плохое твое дело, Ракитин, — сказал Толя. — Знаешь, кому посвящены стихи?

— Заткнись! — вяло донеслось с тахты.

— Вон как! — догадался я. — Бедный Конрад Вейдт.

— А что? — заинтересованно спросил Толя. — У Нины новый герой?

— Да... В «Маяке» подряд шли «Человек, который смеется» и «Руки Орлаха»... Братцы, вот какое дело. Ваша мать работает в театре, там до черта старых афиш и вообще всякой лохматуры, — я невольно повторил выражение Лины.

— Опять утиль? — с унылым отчаянием произнес Миша.

— Да, опять! Кстати, почему ты не был на сборе? Миша не ответил.

— Зубная боль в сердце, — засмеялся Толя. — Грустно алый закат смотрел в лицо.

— Хотя бы один мешок, — сказал я Мише заискивающе.

— Мешок? — повторил Миша, приподнявшись на локте. — Чтоб я потащил мешок?

— Мешка мало! — решительно сказал Толя, и глаза его загорелись. Он притащит два мешка!

— Сумасшедший! — пробормотал Миша.

— Мое условие: стихи против двух мешков.

— Стихи? — недоверчиво, с любопытством повторил Миша. — Какие стихи?

— Твои собственные, я только их dokonчу. Идет?

— Идет!

— Пиши! — Толя на миг задумался, сморщил свой маленький, смуглый лоб, затем быстро прочел:

Грустно алый закат смотрел в лицо.

Я сидел у окна и ел яйцо.

Вдруг подходит она, на ней нет лица.

Стало жаль ее, не доел яйца...

Я расхохотался, но Хорок-старший даже не улыбнулся. Он взял карандаш и стал записывать стихи. Я с

чувством пожал сухую, горячую Толину руку. Почин был сделан...

На другое утро, до занятий, наша тройка — Нина Варакина, Павлик Аршанский и я отправились на почтамт. В семь часов утра на дворе еще была ночь, устало горели фонари; визгливо скрипнув примороженными петлями, глухо хлопали двери парадных за спешащими на работу людьми. Наш тихий Телеграфный переулок даже в праздники не бывал таким людным. Обгоняя друг друга, шли на работу печатники, наборщики, брошюровщики, офсетчики, переплетчики, населяющие наш большой дом. Той же дорогой, что и мы, шли в утреннюю смену телеграфисты, почтари, продавцы газет и журналов из соседнего дома. Шли рабочие-металлисты из дома напротив, бежали к спасательному кольцу «А» электрики с МОГЭСа, рабочие фабрики «Красный Октябрь», завода «Серп и молот», тяжело шагали в своих робах метростроевцы...

— Помнишь? — сказал Павлик.

Конечно, я помнил. Таким же вот ночным, осенним утром мы шли с ним четыре года назад на почтамт, чтобы взять последнюю преграду, отделяющую нас от красных галстуков. Какими мы были маленькими, робкими, как боялись, что нас не пропустят в священные недра почтамта! А сейчас мы ветераны, пионеры последнего года, нас ждет новая высота — комсомол, и даже поверить трудно, что мы уже такие взрослые...

Мы суем в крошечное окошко пропускной наши ученические билеты. Рослый человек в шинели пожарника и командирской фуражке придирчиво проверяет наши пропуска.

— Мы у вас уже были, — говорит Павлик.

— Что-то не помню, — подозрительно оглядывает нас вахтер.

— Ну как же, четыре года назад!

— Вон куда хватил! — смеется вахтер и отдает нам пропуска.

— А тут до нас ребята не проходили? — спрашиваю я.

— Не видал...

Чудесно! На этот раз Карнеев не успел перебежать нам дорогу.

По крутой лестнице мы поднялись наверх. Миновали площадку и будто из тоннеля вырвались в огромный, светлый простор. Слева, за барьером, в гигантском провале, пустынный по раннему часу зал, где происходят все почтовые операции, над ним возносится стеклянный купол, как на вокзале, справа, в бесконечно повторяющихся светлых помещениях обрабатывается, сортируется, распределяется, пакуется вся корреспонденция, посылки, газеты, журналы, рассылаемые по подписке, брошюры и книги для киосков и ручной продажи. Без усталости шуршат на быстрых роликах резиновые ленты конвейеров, на них плывут разноцветные толстые конверты, пакеты, залитые темной сургучной кровью, татуированные штампами и печатями, кипы газет, посылки в фанерных ящиках, иногда голых, иногда в серой холстине, перевязанные бечевой. Ленты передают кладь друг дружке, а затем сбрасывают в темный зев приемника, который мягко обрушит их на конвейер этажом ниже. Бесшумно проносятся электрокары со штабелями газет, попискивают вертким передним колесом ручные тележки.

Волнующее чувство дороги, пространства, расстояний охватило меня. Подобное чувство я всегда испытывал на вокзале. Да почта и был вокзалом, не только потому, что его перекрывал вокзальный купол и вся его громада напоена движением. Как и вокзал, почта так же творил разлуки и свидания, расставания и встречи, уносил в широкий мир человеческие радости, надежды, печали; как и вокзал, он был пронизан неведомыми далями, манящим зовом дорог.

Я заметил, что Нина, будто замороженная, смотрит на плывущий по конвейеру голубой конверт. Там, где под лентой крутился ролик, конверт чуть приподнимался, перекачивался через горбинку и вновь бережно укладывался плашмя; казалось, он наделен самостоятельной устремленностью, словно знает, как важно скорее и в сохранности донести свое содержимое до адресата.

— Ты в первый раз здесь? — спросил я Нину.

— Да. Мне так нравится! Можно, я буду каждый день собирать тут бумагу?

— На здоровье!

— А почему ты не пишешь мне писем? Они бы

тоже плавали на этих лентах, и никто бы не мог догадаться, что там написано.

— Что ж мне писать, ты и так все знаешь.

— Может, в письмах будет интереснее?

— Я попробую...

— Иду сдавать, — услышался голос Павлика.

Пока мы разговаривали, он не терял времени даром и уже собрал полный мешок. Мы тоже взялись за дело. Почтамт был золотым дном. Нам попадались целые кипы газет, испорченных бечевой при транспортировке, огромные куски рваной оберточной бумаги, испачканные и, видимо, потому списанные в брак брошюры, обрывки картона, негодные конверты, не говоря уже о всякой лохматуре.

Один за другим мы рысью проносили набитые бумагоутилем мешки через двор почтамта на приемочный пункт, расположенный на углу двора под навесом. Старик приемщик шмякал на весы мешок и, кряхтя от усердия, выписывал корявыми пальцами квитанцию. В помещении было очень тепло, даже жарко, а во дворе, так забитом машинами, что казалось, им сроду не разъехаться, пронзительно холодно. И этот сбивающий дыхание, сухой, морозный холод был удивительно приятен, он подстегивал нас, хотелось скорей набить мешок и окунуться в студеную свежесть двора. Жаль только, что бумага так мало весит, мы перетаскали чертову уйму мешков, а общий вес не достиг и тридцати килограммов.

Но, узнав в школе, сколько собрали другие ребята, мы поняли, что трудились не зря. Все звено Карнеева не собрало и одного пуда!

Удачный рывок на какое-то время вывел нас в герои, только для нас сверкали стальные Ленины глаза. А дальше все удручающе напоминало историю с торпедным катером. Звено Карнеева медленно и неуклонно стало нас нагонять. Я ничего не понимал. Наши бригады добросовестно ходили на почтамт, собирали бумагу по квартирам своих домов, Хорок притащил два мешка со старыми афишами и лоскутьями какой-то толстой разноцветной бумаги, а просвет все сокращался. Тщетно витийствовал я на сборах звена, призывал, умолял, явил ребят, тщетно рисовал картину страшного позора, который нас ждет, если мы опять

окажемся побежденными. Наши звенья так основательно выскребли почтамы, что ежедневная «добыча» в его цехах не превышала четырех-пяти килограммов. Свои дома ребята тоже облазали сверху донизу, и теперь им доставались жалкие поскребыши. Можно было подумать, что Карнеев и его ребята творят бумагу из воздуха.

Как и прежде, бессильный найти новые пути, я обратился к собственным ресурсам. В течение нескольких вечеров мы с Павликом перебирали библиотеку моего покойного деда. Я беспощадно зачислял в утиль ценные книги и альбомы по медицине, комплекты медицинских журналов, французские романы в желтых обложках, разрозненные тома Британской энциклопедии, труды древних философов, дореволюционные иллюстрированные издания. Да, беспощадно, но не безжалостно. С малых лет я был приучен любить и уважать книгу. У меня мучительно сжималось сердце, когда мы отправляли в грандиозный мешок из-под картофеля толстый том в чудесном переплете, с атласной бумагой и яркими рисунками под тонкой папиросной бумагой, или журнал с фотографиями старинных русских усадеб, парков, фонтанов, садовых клумб. Но передо мной всплывало худенькое насмешливое лицо Карнеева, и жалость отходила. Павлику это давалось едва ли не труднее, чем мне. Почти про каждую книгу он убежденно говорил:

— Ну, эту мы, конечно, оставим...

Я брал у него из рук пухлый том — иногда это оказывался справочник по детским болезням, иногда роман Поля де Кока на французском, иногда анатомический атлас, а то и сборник речей Цицерона или творение древнегреческого философа, судя по скульптурному портрету автора: гологрудого старца с вьющейся бородой и будто закатившимися под лоб пустыми глазами.

Фальшиво-беспечным тоном я говорил «дребедень!» или «устарело!» и швырял книгу в мешок.

Мы с трудом оттащили на приемный пункт два огромных, туго набитых мешка. А потом на сборе звена я говорил, размахивая квитанциями:

— Почему мы с Павликом смогли за день сдать

тридцать килограммов, а другие не могут? Сейчас бы поднажать всем дружно, и победа в кармане!

— «Поднажать», «поднажать», только и слышишь! — с непонятной горечью сказал Чернов. — А чего нажимать-то, когда бумаги нету? Нету — и все!

— Просто ты работать не хочешь! — резко возразил я. — Небось у Карнеева так бы не рассуждал.

— Факт, нет! — Чернов вызывающе вскинул свою кроличью мордочку. — Карнеев нас сроду не уговаривал и не подстегивал. Просто мы собирались и думали, как бы получше, поинтереснее сделать...

— Петух думал, думал да издох! Надо работать, а не трепаться. Мы обогнали Карнеева и не уступим ему!

И все-таки перед последним днем соревнования звено Карнеева снова вышло вперед. И я знал, что Карнееву не пришлось опустошать для этого дедушкину библиотеку, что его ребята не надрывались, как наши, выискивая в своих домах и дворах каждую завалывшуюся бумажонку, что и на почтамт они ходили реже нашего, что ради сбора бумагоутиля они не забросили всю остальную работу. А все-таки они были впереди, пусть не намного, но впереди. На них работали «дворовые дружины» — изобретение Юрки Петрова. В каждом чистопрудном дворе они сколотили отряды из малышей-дошкольников, которые и занимались сбором бумажного мусора в своем доме. За это «карнеевцы» водили ребятшек по воскресеньям в зоопарк или на детские утренники в кино «Маяк», кроме того, Юрка Петров обещал им создать школу фигурного катания на коньках.

На совете отряда я обжаловал незаконное использование детского труда, но Лина Кузьмина сказала, что это просто замечательно: ребятшки сызмальства втягиваются в общественную жизнь, и Карнеев с Петровым черт знает какие молодцы!

В последний день наша тройка снова отправилась на почтамт. Если у меня еще оставалась маленькая надежда на успех, то она рассеялась, как дым, едва мы вступили в цехи. Наверное, сходное чувство испытывает старатель, когда обнаруживает, что золотоносная жила выработана до конца. Изредка попадаются чешуйки золота, но уже ясно: больше здесь делать нече-

го. Мы уныло бродили с этажа на этаж, подбирая лоскутки бумаги, даже заглядывали в урны, но мешки оставались тощими, легкими. Смешно было думать, что мы соберем те двенадцать килограммов, которые отделяли нас от Карнеева.

«Проиграли! — стучало у меня в мозгу. — Опять проиграли!..» До боли отчетливо я представил себе торжество Карнеева, уныние наших ребят и ту безнадежную, серую будничность, какая приходит за поражением. Нелегко мне будет теперь расшевелить звено, да и каким авторитетом может пользоваться вожак, идущий от поражения к поражению? Ох, как важно было выиграть! Важно не только для меня, но и для всего звена, и чтобы навсегда заткнулся Чернов, подрывающий доверие ребят ко мне!

Вокруг меня громоздились горы бумаг; бумага плыла на резиновых лентах, бумагу развозили на электрокарах и ручных тележках, бумага водопадом низвергалась из широких зевов штолен, соединяющих этажи; бумага пахла, шуршала, шелестела... Я смотрел, как размашисто, грубо хватают работницы кипы газет, чтобы перенести на другое место. Будь бумага из стекла, она разлетелась бы вдребезги, и все осколки достались бы мне. А вот развалили целый штабель брошюр, будто дом рухнул. А бумаге хоть бы что! Какой дьявольской прочностью обладают эти тонкие, легче воздуха, листки!

Я стоял в полутемном углу цеха, загроможденном связками брошюр. «Как разводить шампиньоны», — рассеянно ухватил глаз название верхней брошюры. И все другие пачки вокруг меня заключали руководство по разведению шампиньонов. На что тратится бумага! Бумага, которая так нужна нам для сдачи в утиль! Бумага, которая могла бы стать тетрадками в клетку по арифметике и в линейку по русскому языку! Я приподнял одну связку, натренированное плечо определило его вес в четверть пуда. Передо мной было никак не меньше тонны прекрасной бумаги. Ну кто разводит шампиньоны? Я четырнадцать лет прожил на свете и не встречал человека, разводящего шампиньоны. А шампиньоны я видел в Саратове, они росли прямо на мостовой, среди булыжников, перед нашим домом. Никто их там не разводил, они росли сами по себе, в

сухой земле, круглые, пыльные, похожие на картофельные клубни. Целыми семьями погибали они под колесами телег, под копытами лошадей и волов, превращаясь в розоватую кашицу.

Я не колебался больше. Четыре пачки, одна за другой, легли на дно моего мешка. Я замаскировал их сверху всяким бумажным мусором и побежал на приемный пункт.

Я не испытывал ни страха перед разоблачением, ни угрызений совести, только огромную, победную радость от того, что мне так сказочно повезло. И эта радость вспыхнула еще ярче, когда я выбежал во двор. За часы, что мы торчали на почтамте, выпал снег, первый снег этой ранней зимы. Белый, нежный, пушистый, девственно чистый, он покрыл двор, брезентовые крыши и капоты грузовиков, угольно-черные ветви засохшей липы, сиротливо торчащей посреди двора, навес над приемным пунктом. Он принес с собой ту особую прозрачную тишину, какую слышишь лишь при первом снеге, вмиг приглушающем все звуки, шаги, шум колес. С радостной улыбкой вбежал я под навес и уронил тяжелый мешок на весы.

— Простудишься, труженик! — добродушно сказал старик приемщик, накладывая на отвес круглые, плоские медные гирьки.

— Да ничего!.. — беспечно ответил я.

И так же беспечно и радостно смотрел я, как он опорожнял мешок над большим деревянным ящиком, как тяжело вывалились оттуда кипы брошюр и смешались с бумажным мусором. Меня ничуть не тревожило, что приемщик может заметить эти брошюры. И старик не заметил. Он поправил очки с подвязанными ниткой дужками и сел выписывать квитанцию.

Бережно сложив и спрятав в нагрудный карман квитанцию, удостоверяющую, что мною сдано восемнадцать килограммов бумагоутиля, я вышел из-под навеса. Навстречу мне через двор плелись со своими тощими мешками Нина и Павлик.

— Ты уже? — удивился Павлик.

— Ага! — Я небрежно махнул рукой.

Видимо, их мешки были так легки, что я даже не услышал того привычного лязгающего звука, какой издают весы, когда на платформу опускается груз.

— У нас одна квитанция, — смущенно сказал Павлик, выходя с Ниной из-под навеса, — на пять килограммов.

— Значит, всего двадцать три...

Павлик, всегда сдержанный, скупой в проявлении чувств, содрал с головы ушанку, кинул в снег, придавил ногой, затем, не отряхнув, нахлобучил на затылок и двумя руками пожал мне руку.

— Ты великий человек! — сказала Нина. — Завтра мы пойдем на каток.

Это была высокая честь. На каток Нину обычно сопровождали старшекласники.

В проходной мы столкнулись с Карнеевым и еще двумя ребятами из его звена.

— Зря идете, братцы, — сказал им Павлик. — Там пусто.

— Неужто нам ничего не оставили? — улыбнулся Карнеев.

Меня всегда раздражала его улыбка, какая-то слишком легкая, случайная и оттого словно бы пренебрежительная.

«А вдруг он догадается сделать то же, что и я?» — мелькнула испуганная мысль. Но тут же я понял, что Карнееву и в голову не придет подобное, хотя бы он сто раз проиграл соревнование. И мне стало душно, словно лежащая в кармане квитанция придавила мне грудь всей обозначенной в ней тяжестью...

— А где разводят шампиньоны? — спросил я Павлика, когда мы уже приближались к дому.

— Понятия не имею, — удивленно ответил Павлик. — Я думал, грибы нельзя разводить.

— Кроме шампиньонов, — вдруг сказала Нина. — Их разводят во Франции, я читала.

— А у нас разводят?

— Наверное... Они вкусные!

— Да уж и вкусные! — сказал я с болью. — Что я, шампиньонов не видал?

— Видать — видал, а есть — не едал! — пробормотал Павлик.

Нина засмеялась.

— Самые вкусные грибы на свете. Моя бабушка жарит их в сметане — пальчики оближешь!

— Ну и черт с ними! — сказал я.

Лина Кузьмина говорила долго. Отряд вышел на первое место в базе, и Лина, самая молодая вожатая, внутренне ликовала. Маскируя свое ликующее чувство, она с нарочитым спокойствием и ненужной обстоятельностью рассуждала об итогах соревнования. Особенно много внимания уделила она «замечательной инициативе первого звена», привлекшего к сбору бумаги малышей. Можно было подумать, что Петров с Карнеевым открыли новый материк. Она даже обмолвилась, что это самый ценный результат соревнования. Можно было подумать, что победили не мы, а первое звено. И странно — меня это почти не трогало. Хотелось лишь одного, чтобы все скорее кончилось.

Не такой рисовалась мне победа. Я думал, это будет самый счастливый день в моей жизни, а мне было томительно и пусто. Я глядел на знамя, распластанное по стене, на золотой горн. Обычно один их вид подымал мою душу, а сейчас и знамя и горн казались чужими, холодными.

Но вот каким-то будничным голосом Лина сказала: — Все же победу в соревновании одержало второе звено.

Громко и дружно вспыхнули аплодисменты, словно легкая волна пробежала по кумачовому полотнищу знамени.

— Мне хотелось отметить лучших, — продолжала Лина, — но Ракитин говорит, что лучшие — это все звено!

— Неправда! — вскочил Чернов. — Мы плохо работали. Почти всю бумагу собрал сам Ракитин!

— Не преувеличивай, Чернов, — пробормотал я, скромно потупясь. И тут же до меня дошел другой, ядовитый смысл им сказанного. — Неправда! — без передышки, но уже в ином тоне крикнул я. — Все собирали, и ты собирал!

— Да что мы собрали! — махнул рукой Чернов и сел.

Наше звено возмущенно загалдело. Прав Чернов или нет, сейчас это никого не интересовало, ребят обозлило, что он наводит тень на нашу победу.

— Тише, товарищи! — Лина стукнула ладонью по столу. — Если звеньевой показывает пример в работе, в этом нет ничего плохого...

Дверь приоткрылась, и в щель просунулась повязанная платком голова коридорной нянечки.

— Кузьмина, тебя к директору требуют!

— У меня сейчас сбор! — блеснула стальными глазами Лина.

— Да я ему говорила, а он велел срочно...

— Подождите, ребята, — сказала Лина и вышла из комнаты.

Когда Лина вернулась, глаза ее казались не стальными, а свинцовыми.

Она села за свой столик, сжала виски длинными пальцами, затем тряхнула головой и тихо сказала:

— Большая неприятность, ребята. С почтамта поступило заявление: кто-то из пионеров сдал в утиль связки с брошюрами.

Вспыхнул короткий смешок и, будто удушенный, смолк.

— А зачем? — удивленно проговорил кто-то.

— Небось для веса, — пояснил Ладейников.

— Чепуха! — громко и брезгливо сказал Карнеев. — Никто из наших не мог этого сделать!

— Помолчи, Карнеев! Директор хотел прийти сюда, но я сказала, что мы сами разберемся. Кто был сегодня на почтамте?

— Я, Цыганов и Васильева, а из второго звена Ракитин, Варакина и Аршанский, — с вызовом ответил Карнеев.

«И чего он лезет? — тоскливо подумал я. — Хочет показать, что он ни при чем? Да на него и так никто не подумает...»

— Ну вот, — сказала Лина, — я обращаюсь к названным товарищам: кто из вас это сделал?

— Я! — прозвенел за моей спиной такой знакомый и любимый голос, что я мгновенно узнал бы его из тысячи голосов.

— Ты, Варакина? — недоверчиво произнесла Лина. — Зачем?

— Надоела возня с мусором, — свободно ответила Нина. — А Ракитину подавай мировой рекорд. Ну я и сунула эти брошюры. Подумаешь, ценность: «Как разводить опенки в сухой местности!»

— А ты понимаешь, Варакина, что ответишь за

это пионерским галстуком? — как-то без особого гнева сказала Лина.

Короткое молчание, и затем:

— Да!

Я молчал не потому, что хотел схватиться за спасательный круг, брошенный мне Ниной. Я молчал от счастливой растерянности, от огромного, до боли сладкого чувства, залившего мне душу. Ради меня Нина взяла на себя стыдный и жалкий проступок, не испугалась ни позора, ни кары!

— Варакина тут ни при чем, — сказал я, вставая. — Это сделал я.

— Ладно прикрывать-то! — крикнул Ладейников.

— Не валяй дурака! — жестко сказал Карнеев.

Но по тому, как металлически холодно вспыхнули глаза Лины, я понял, что она мне поверила.

— Чем ты докажешь?

— Брошюры назывались: «Как разводить шампиньоны», четыре связки...

Стало очень тихо, лишь за моей спиной любимый голос прошептал:

— Ну и дурак!

— Может, ты потрудишься объяснить, зачем ты это сделал? — со сдержанной яростью проговорила Лина.

Я ничего не ответил Лине, да и не сумел бы я сейчас объяснить, что заставило меня сунуть в мешок брошюры. Я думал в это время: настанет ли день, когда я буду вспоминать об этом, как о давно минувшем и мне безразличном?

— Ясно зачем, — раздался насмешливый голос Юрки Петрова. — Чтобы победить в соревновании!

— Честно — кишка тонка, так давай на обмане! — крикнул Чернов.

— Это подло! — с отвращением сказал Карнеев.

И только его слова попали мне в сердце.

Чем злее и беспощаднее меня осуждали, тем сильнее крепла во мне уверенность, что все кончится благополучно. Мы столько лет дружили, неужели ребята не понимают, что не просто из тщеславия и самолюбия совершил я свой дурацкий поступок. И когда секретарь отряда, новенькая в нашей школе, Женя Румянцева сказала, что я не достоин носить галстук и меня надо

гнать из отряда, я усмехнулся, настолько мне это показалось диким.

— Согласна с предложением Румянцевой, — поднялась из-за стола Лина.

Тогда я тоже встал и, ни на кого не глядя, пошел к двери.

— Ракитин, ты куда? — крикнула Лина.

Я не ответил, и дверь пионерской комнаты захлопнулась за мной.

— Нешто уже кончилось? — спросила меня заспанная уборщица, выдавая мне пальто.

— Нет еще.

— А ты чего раньше времени улег? — проворчала старуха.

Я молча выдрал из рукава шапку, нахлобучил на голову и, не попадая в рукава пальто, выскочил из раздевалки.

На чугунных перилах школьного крыльца лежал пушистый молодой снег. Я сгреб его ладонью и отправил в рот. Снег мгновенно стаял в холодную, с металлическим привкусом, каплю воды. Я с усилием проглотил эту каплю. Затем я побежал на угол Лялина переулка и купил у лотошника две папиросы «Люкс». Моя мать внушила мне священный ужас к курению. Я всерьез думал, что погибну, стоит мне только закурить. Но я выкурил подряд две толстые, крепкие папиросы и ничего не почувствовал, наверное оттого, что не затягивался.

Неужели из-за одной ошибки можно зачеркнуть всю жизнь человека? Еще в первом классе я заболел мечтой о пионерском галстуке. В нашей школе не было звездочки октябрят, и я с огромным трудом пристроился к октябрятам базы ВСНХ. Сборы там происходили вечером, и путешествие от Армянского переулка до площади Ногина требовало мужества. Я не мог попросить у мамы на трамвай, она никогда бы не пустила меня одного в такую даль, да еще вечером. Но однажды у меня оказался в кармане гривенник, и после сбора, в одиннадцатом часу вечера, я вскочил на 21-й номер трамвая. Я обнаружил, что еду не в ту сторону, когда под колесами проухал незнакомый мост, маслянисто отблеснула река и в черноту неба уперлись гигантские черные заводские трубы. В отчаянии я соско-

чил на полном ходу на булыжную, сразу ускользнувшую из-под ног мостовую, которую я обрел, лишь больно растянувшись на ней всем телом. А потом меня, словно эстафету, передавали друг другу редкие ночные прохожие, пока я, растерзанный, окровавленный и навек потрясенный ночной враждебной громадностью города, не оказался в тихом устье Армянского переулка. Почти год ходил я на площадь Ногина, работал там рубанком и стамеской, ножницами и клеем, и за этот год выяснилось, что мои родители не имеют никакого отношения к ВСНХ, и меня выгнали.

Мой сосед по квартире и старый друг Колька Поляков записал меня в звездочку при своей школе. К торжественному дню присяги я красиво оформил ленинский уголок будущего отряда, но к присяге допущен не был, поскольку выяснилось, что я учусь в другой школе... Да, я в полном смысле слова выстрадал красный галстук и ни за что его не отдам. Вся история моей пионерской жизни прошла у меня перед глазами, пока я слонялся вокруг школы, курия папиросы. И чем больше я думал, тем сильнее убеждался, что я хороший человек и нельзя так поступать со мной. Ведь я хотел, чтобы ребята поверили в себя, гордились своим звеном, злее работали. А тут еще Чернов постоянно совал мне палки в колеса, да и Тюрина... Может, это Карнеев их подучил? Как это он крикнул сегодня: «Подлость!» Тоже мне чистоплюй! Сам настраивает против меня ребят и еще орет!.. Все распиравшие меня чувства слились в одно, огромное, как жизнь, в ненависть к Карнееву. Теперь я знал, что мне делать. Это не спасет, не выручит меня, но я должен это сделать, чтобы жить дальше.

Я быстро вернулся к школе и стал в тени подворотни на другой стороне. Ждать мне пришлось недолго. Вот запахнулась дверь, и, кутаясь в свою тигровую шубку, с крыльца сбежала Тюрина. Я глядел на нее и чувствовал, что с наслаждением продырявил бы еще раз эту полосатую шкурку со всей ее начинкой.

Гурьбой вышли Ладейников, Грызлов, Панков, Сергиенко и сразу погнали по мостовой консервную банку.

Появились Нина Варакина и Павлик. Они о чем-то говорили, озираясь, будто отыскивая кого-то. Я глубже запрятался в подворотню. Но вот Нина почти бегом

устремилась к Чистым прудам, туда же медленно, по минутно оглядываясь, побрел и Павлик. Потом выпала большая толпа ребят и растеклась по переулкам. Наконец показался в своей короткой курточке и кепке с пуговкой Карнеев. Мне повезло: он был один. Задумчиво насвистывая и заложив руки в косо прорезанные карманы, он постоял на крыльце, поднял воротничок и быстро сбежал по ступенькам.

Я нагнал его под высоким старинным фонарем.

— Ну-ка, стой!

Карнеев остановился, знакомо изогнув тонкие брови.

— Я давно хотел тебе сказать... Ты... ты сволочь... Я тебя вызываю!

Он как-то странно посмотрел на меня. В его долгом взгляде не было ни растерянности, ни удивления, лишь заинтересованность, будто он хотел решить для себя какую-то загадку.

— Ты с ума сошел! — проговорил он наконец.

— Не увиливай! Я тебя вызываю!.. Что, побежишь жаловаться, любимчик?

Губы Карнеева дернулись, но не сложились в улыбку.

— Тебе хочется сорвать злобу? Не понимаю только, почему ты выбрал меня?

— Ладно трепаться, еще как понимаешь! Кто подначивал ребят против меня? Сволочь!

— Хватит! — с силой сказал Карнеев. — Сумасшедший ты или просто дурак, мне это надоело. Говори, куда идти.

Мы быстро зашагали к Чистым прудам. Там в левом углу, в стороне Покровских ворот, возле заколоченного железного писсуара, находилось наше ристалище. Мы давно выбрали это место, там никто не мог нам мешать — едва ли есть на свете что-либо менее притягательное для людей, чем заколоченная уборная.

Карнеев все время меня обгонял. Можно было подумать, что ему не терпится в драку. Но скорее всего он просто волновался. Уж кто-кто, а Карнеев не был драчуном. Ростом чуть повыше меня, но щуплый, худенький, он в неписаном школьном реестре занимал по силе одно из последних мест; слабее его были только Чернов да, пожалуй, Мигля Хорок. Я же в шестых классах уступал лишь волжанину Агафонову, но тот

мог осилить и восьмиклассника. Карнеев никогда не дрался, его и не задевали. Тронуть Карнеева — значило иметь дело со всем первым звеном, а там были серьезные люди.

Около бульвара я заметил Павлика и окликнул его. Это было очень кстати: не полагалось драться без свидетелей.

— Ты не возражаешь против Аршанского?

— Конечно, нет! — улыбнулся Карнеев.

Что ни говори, он прекрасно владел собой. И это его мужество, и его слабость, так ощутимая во всей его поджарой фигурке, поколебали мою решимость, мне вдруг расхотелось с ним драться. Я уже не верил, что он подзуживал ребят, впервые за весь этот тягостный вечер я стал сам себе противен.

Павлик, с присущей ему сдержанностью, ни о чем не спросил. Он видел, куда мы направлялись, и молча пошел рядом. У меня мелькнула надежда, что Карнеев, не привыкший к нашим рыцарским церемониям, скажет Павлику что-нибудь шутливое, я подхвачу, и все уладится. Но Карнеев и не думал шутить. Его вынудили принять участие в том, что было противно его натуре, и сейчас он с обычной добросовестностью хотел довести дело до конца. Будь во мне больше истинной смелости, я бы попросил у него прощения, но на это меня не хватило.

Мы подошли к железному ящику уборной. От нее на землю падала густая темная тень, за пределами тени промороженная земля в тончайшей наледи казалась стеклянной.

— Перчатки снять? — спросил Карнеев.

— Как хотите, — ответил Павлик.

— Можно в перчатках, — сказал я.

— Ну, начинай.

— Нет, ты начинай.

— Ты меня вызвал, ты и начинай.

Я ткнул его кулаком в плечо, и Карнеев бросился на меня. Если бы он не был так безрассуден и отважен, все бы обошлось, я совсем не хотел его бить. Но драка имеет свои законы. Обороняясь от сыпавшихся на меня градом несильных ударов, я совсем не нарочно попал ему в нос. Карнеев упал, но тут же вскочил, по лицу его текла кровь.

Павлик протянул ему носовой платок.

— Ничего, ничего! — Карнеев попытался улыбнуться.

— Высморкайся, — сказал Павлик, — а то дышать не сможешь.

Карнеев высморкался и вернул платок. Потом он довольно ловко ударил меня в челюсть. Я отступил, он прыгнул вперед и заколотил меня по голове. И тут мне показалось, что он совсем не плохо дерется, и я ударил его по-настоящему, и еще раз. Он снова упал, встал, плюнул кровью и опять пошел на меня. Я ударил его в скулу, он опять упал.

— Хватит! — сказал Павлик, подавая ему руку.

Карнеев поднялся, под глазом у него натекал синяк, по подбородку бежала темная струйка.

— Ничего не хватит! — сказал он с искусственной, жалкой усмешкой.

Я не мог смотреть на его худенькое, разбитое лицо. В горле у меня стоял комок, я чувствовал — еще секунда, и я разревусь. Я умоляюще взглянул на Павлика.

— Хватит! — повторил Павлик.

— Это нечестно! — возмутился Карнеев.

— Ладно, продолжайте.

Теперь я уже злился на Карнеева, злился, что он принуждает меня к драке, принуждает бить его, бить и жалеть, и мучиться собственной низостью. И только для того чтобы это скорее кончилось, я перестал себя сдерживать. Кепка слетела с его головы, затем он как-то умудрился потерять перчатку и, падая в очередной раз, ободрал руку о мерзлую землю. Наверное, это было очень больно, он несколько секунд сидел на земле, зажимая кисть коленями, а когда встал, лицо его было совсем белым.

— Кажется, я вышел из строя, — через силу спокойно проговорил он.

— Что, доволен? — спросил я от злобы не на него, а на себя.

Набрав в горсть снега, Павлик протянул его Карнееву. Карнеев умылся снегом, стянул с лица пропитавшиеся кровью комочки, вынул чистый носовой платок и утерся.

— Доволен, — сказал он, — я ведь никогда не дрался.

— Ты молодец, — сказал Павлик.

— Чепуха! Будь здоров, Аршанский! — Карнеев сделал приветственный жест рукой, и щуплая фигурка его скрылась в тени деревьев.

— Ты бы еще целоваться с ним полез, — упрекнул я Павлика.

Мой друг не ответил.

— А я рад, что набил ему морду! — сказал я. — Иногда это полезно.

Павлик молчал. Такая была у него манера: если он был в чем-либо не согласен со мной или что-то осуждал во мне, он замолкал, и не было возможности его разговорить.

— Слушай, Великий немой, одно ты можешь сказать мне: чем кончился сбор?

— Лина хотела проголосовать твое исключение, — холодно ответил Павлик, — а Карнеев сказал, что это надо сперва обсудить на совете отряда, так и решили.

— Что же ты раньше молчал?

— А ты спрашивал?

— Теперь он меня угробит!

— Кто?

— Карнеев, кто же еще!

Тут Павлик снова замолчал, и больше мне не удалось вытянуть из него ни слова.

У Меншиковой башни нам встретилась Нина Варакина. Я остановился с ней, а Павлик, не задерживаясь, прошел дальше.

— Ты куда пропал? — спросила Нина.

— Так... ходил... Слушай, как тебе пришло в голову сказать на себя?

Нина засмеялась.

— Я сразу догадалась, что это ты... Мне что — ну, выгонят, потом назад примут, а для тебя — конец света.

— Ну, спасибо.

— Да ладно! А знаешь, мне, по правде говоря, нравится, что ты эти брошюры жажнул! Ей-богу! Не всякий бы решился. А я люблю, кто рискует. Победа или смерть! — Она опять засмеялась.

Не знаю, говорила она от души или из желания подбодрить меня, но слова ее не доставили мне радости. Мне совсем не хотелось, чтобы она восхищалась тем,

что не было во мне моим, это не приближало, а отдаляло ее от меня.

— Только не ханжи, — будто угадав мои мысли, сказала Нина. — На каток идем?

Я забыл, что сегодня открытие сезона.

— Конечно, пойдем! — сказал я, немного помедлив.

Чтобы не сталкиваться в раздевалке с нашими ребятами, я надел коньки дома и зашагал по хрустким от песка, обледенелым тротуарам к Чистым прудам. Когда я увидел гирлянды лампочек над ледяным полем, услышал музыку, звонко-хрипло рвущуюся из репродукторов, все тягостные переживания оставили меня, тело наполнилось упругой, радостной силой, будто перед ощущением полета.

Я перелез через низкую ограду, проваливаясь по пояс, одолел крутой снежный вал, опоясавший каток, и с отвычки чуть не шлепнулся навзничь, когда лезвия коньков коснулись гладкого, зеленоватого льда. Разогнавшись на мысках своих хоккейных коньков, я в резком темпе пробежал метров пятьдесят, четко прошел поворот и понял, что не забыл старую науку. Я круто, на одной ноге затормозил и только успел распрямиться, как кто-то налетел на меня сзади и обнял за плечи.

— А я уж думала, ты не придешь! — сказала Нина. — Решил сэкономить рубль?

— Да нет... Неохота с нашими встречаться. Ну что, рванем?

— А ты не разучился?

— Увидишь.

Мы взялись наперекрест за руки и побежали в сторону теплушки. Наши коньки согласно резали лед. Бежать было легко и приятно, четкий ритм дарил ощущением единства, какой-то понимающей близости. Но это было только разминкой, пробой сил, так не разовьешь большой скорости. И перед поворотом Нина крикнула сквозь громкую музыку:

— Выходи вперед!

Вот теперь начался настоящий бег. Пригнувшись и закинув левую руку за спину, я пошел неразмашистым, сильным, рубленным шагом. Нина шла за мной, шаг в шаг, держась за мою руку. Если идущий позади слабее тебя, все удовольствие пропадает — тащишь его, как

на буксире. Нина бегала не хуже меня, поскольку же мне приходилось одолевать сопротивление воздуха, ей было легче наращивать скорость. Она была не столько ведомой, сколько толкачом, я все время чувствовал нажим ее руки, и это заставляло меня бежать быстрее и быстрее. Поврозь нам не удалось бы развить такой скорости.

Круг за кругом отмахивали мы по большой дорожке катка, и другие конькобежцы почтительно расступались, освобождая нам путь. Каток был освещен неравномерно: близ теплушки залит огнями, а противоположная сторона тонула во мраке, чуть просквоженном тощим светом лампочек. И мы все время проносились из света в темь, изо дня в ночь. На освещенном круге у теплушки толпились наши: Юрка Петров показывал свои фокусы. Мелькнула Тюрина, даже на катке она не расставалась с тигровой шубкой, Ладейников об руку с Лидой Ваккар, маленький Чернов на длиннющих «норвегах». Потом я заметил и Карнеева с черной повязкой на глазу — пришел демонстрировать свои раны. Интересно, сказал ли он ребятам, кто ему подбил глаз?

Когда мы снова вынеслись на темную половину катка, я вдруг перестал ощущать нажим Нининой руки и затормозил.

— Устала! — Нина обмахивала варежкой разгоряченное лицо. — Пошли к нашим.

— Не пойду.

— Пошли! Юрка показывает «пистолет» с поворотом.

— Ну, и ладно... Слушай, кто это разукрасил Карнеева?

— Не знаю. Хочешь спрошу?

И, не дождавшись ответа, Нина покатила к теплушке.

Все было правильно. Не стоило обижаться на Нину. В конце концов, я не был ни Шаповаловым, ни Конрадом Вейдтом. И Юрка Петров показывал «пистолет» с поворотом, а это никому из нас не давалось... Я смотрел, как Нина легко бежит по льду в своем красном свитере и красной шапочке, и вдруг безотчетно, спиной почувствовал опасность. Оглянувшись, я увидел, что ко мне приближаются Калабухов, Лялик и Гулька. Все

трое были без коньков, их ноги разъезжались, и мне ничего не стоило сбегать к теплушке за подмогой. Но я понял, что не могу этого сделать. Мои товарищи рядом, но я не смею крикнуть им: «На помощь!»

Калабухов придерживался странного правила: если Нины не было рядом со мной, он никогда не начинал драки. Так и сейчас, он хмуро глянул на меня и сказал:

— Мотай отсюда!

В руке он держал тонкий железный прут и этим прутом совсем не больно ударил меня по бедру. Можно было не обратить внимания на жест Калабухова и тихо убраться с катка. Я сам спровоцировал драку, вернее сказать, избиение. Это была какая-то странная месть самому себе. Я выхватил у Калабухова прут и отшвырнул далеко в сугроб. Они взялись за меня все сразу. Коньки не давали мне никакого преимущества, напротив: я только успел ударить Лялика коньком по голени, как тут же был сбит с ног. Я уже не сопротивлялся, только прикрывал лицо и живот.

Было очень скверно возвращаться домой на коньках. Ноги стали ватными, я все время спотыкался и раз упал, больно ударившись локтями. Я уже хотел снять коньки, идти прямо в носках, но не мог развязать смерзшиеся шнурки. А потом я стал видеть чудовищно распухший нос, он розоватым бугром выпирал на моем лице, натянув кожу щек.

— Что с тобой? — в ужасе воскликнула мама, когда я, стуча коньками, вошел в комнату.

— Упал на лицо.

— Что-то ты слишком часто падаешь на лицо. Возьми свинцовую примочку.

Я стоял у окна, промокал нос свинцовой примочкой и опять думал: будет ли такой день, когда я стану вспоминать о нынешней своей беде, как о чем-то давно прошедшем и неважном?

Мягко растекался зеленоватый лунный свет по заснеженным крышам, в вышине чернели купола старинной церкви, построенной при Иване Грозном, в окнах домов уютно желтели и розовели абажуры. И завтра будут так же лунно зеленеть снег и чернеть купола и алеть, желтеть абажуры, и ничего не изменится в окру-

жающем мире, только мне придется начинать жизнь сначала.

Я где-то читал, что мужчина должен уметь проигрывать, что сила человека проверяется поражением. Я виноват, и знаю, что виноват, мне нечего рассчитывать на снисхождение. Мужественно и покорно приму я любую кару...

На другой день я не пошел в школу. Я почувствовал, что не смогу появиться на совете отряда. От вчерашнего моего смирения не осталось следа. Все мое существо восставало против того жестокого приговора, который — я почти не сомневался в этом — мне вынесут.

Вместо школы я отправился в кругосветное путешествие по кольцу «А». Незаконность этого маленького путешествия придавала особую остроту и странность всем моим впечатлениям. Казалось, в городской жизни таится какой-то второй, тайный смысл. Не зря так нахлестывали лошадей извозчики, каменно восседавшие в своих толстых шубах на высоких облучках саней: они-то знали то радостно-скрытое, что гнало их седоков в снежные дали улиц. Не зря так отчаянно сигналили машины, яростно прорывая уличную толчею в погоне за неведомым призом. Не зря штурмовали площадки трамваев и дверцы тупорылых автобусов толпы людей — им тоже надо было поспеть на какой-то их праздник. Мне казалось, город наполнен счастливыми людьми, счастливыми машинами, счастливыми лошадьми. А потом я вспомнил, что завтра выходной и все вокруг торопится на отдых...

Маленький чистый глазок, отвоеванный мной у затянутого морозом стекла, все время подергивался стрельчатым узором, я отогревал его дыханием и опять видел людей, машины, лошадей с инеем на храпе, но почему-то не узнавал улиц и очень удивился, увидев вдруг стенд кинотеатра «Центральный». А потом, думая, что мы на Гоголевском бульваре, я вдруг обнаружил под самым окошком каменный парапет Москворецкой набережной и проглянул заснеженную белую реку, а потом, не узнав Яузские ворота, я решил, что заехал в какой-то другой, незнакомый провинциальный город, сплошь двухэтажный, с золотыми кренделями над дверьми булочных. А вот уже и Чистые пруды

ды. Мы сделали полный круг, и надо сходиться: кондукторша давно косится на меня.

Потом я долго слонялся по двору и понял, что прогульщики самые несчастные люди на свете. До чего же томительно, скучно и пусто болтаться без дела, кажется, что само время остановилось.

Во двор то и дело въезжали широкие приземистые сани, груженные бочками с вином. Сизоликие, огромные возчики, в брезентовых плащах поверх тулупов на пахучей овчине, без усталости ругали все на свете: мороз, своих заиндедевших, красноглазых битюгов, друг друга и самих себя. Бочки сползали по каткам в темные недра подвалов, возчики, матерясь, разворачивали сани, визжали полозья, скрипели в вязках оглобли; воробьи слетались на дымящиеся желтые кучи навоза. Когда последние сани съехали со двора и захлопнулись обитые жестью створки подвальных воротец, я понял, что могу вернуться домой: был третий час.

Тут началось самое мучительное. Каждые десять — пятнадцать минут я звонил Павлику и выслушивал все более сухой ответ его матери, что Павлик еще не пришел из школы. Я знал, что совет отряда не может кончиться так скоро, что Павлик прямо из школы зайдет ко мне, и все-таки звонил. Стемнело, но я не стал зажигать огня. Оттого, что в комнате было темно, особенно ярко сиял снег за окнами.

— Ты чего сидишь в темноте? — спросил Павлик, входя и щелкая выключателем.

Я зажмурился от яркого света и, зевая и протирая глаза, пробормотал:

— Ну, чего там у вас?

— Где? — тоже зевая (он не терпел ломанья), спросил Павлик.

— На совете отряда, идиот!

— Вот так-то лучше! Все в порядке, галстук тебе оставили.

— Не валяй дурака! — закричал я, и рука моя произвольно сжала концы галстука.

— Ну, ну, спокойно.

— Прости, пожалуйста... Не сердись. И расскажи, как все было.

— Поначалу паршиво. Лина требовала: исключить. Румянцева ее поддерживала. Мажура сидел темнее

тучи, и все были уверены, что он тоже за исключение... Ну, а потом Карнеев толкнул речь...

— Что же он говорил?

— Не стоит передавать — зазнаешься. В общем, он сказал, что пошел бы с тобой в разведку. Тут Мажура засмеялся: «Молодец, хорошо друга защищаешь!» — «А он вовсе мне не друг, товарищ — да, а дружбы у нас нет». — «Почему?» Карнеев покраснел: «И скажу! Сам Ракитин, может, лучше всех в отряде работает, а наладить работу звена не умеет. Ему и обидно...»

— Слушай! — вскричал я. — А ведь он совершенно прав, я действительно никудышный звеньевой!

— Наконец-то понял...

Теперь я понимал. Понимал не только это, но и многое другое, и прежде всего, какая сила в прощении. Все во мне будто осветилось ярким и ровным светом, не осталось ни одного темного угла, где бы могло притаиться что-то мелкое, самолюбивое, жалостливое к себе.

Я подошел к окну, увидел снег, крыши, купола, пятна абажуров и вспомнил, как смотрел на них вчера. Все вышло совсем не так, как мне думалось. Нежданно быстро минула беда, но что-то не минуло, и это останется во мне навсегда, не бедой, не горечью, а новой важной частицей меня самого.

Женя Румянцева

Вот и кончился последний урок последнего дня нашей школьной жизни. Впереди еще долгие и трудные экзамены, но уроков у нас никогда не будет. Будут лекции, семинары, коллоквиумы — все такие взрослые слова! — будут вузовские аудитории и лаборатории, но не будет ни классов, ни парт. Десять школьных лет завершились по знакомой хриповатой трели звонка, что возникает внизу, в недрах учительской, и, наливаясь звуком, подымается с некоторым опозданием к нам на шестой этаж, где расположены десятые классы.

Все мы, растроганные, взволнованные, радостные и о чем-то жалеющие, растерянные и смущенные своим мгновенным превращением из школяров во взрослых людей, которым даже можно жениться, слонялись по классам и коридору, словно страшись выйти из школьных стен в мир, ставший бесконечным. И было такое чувство, будто что-то не договорено, не дожито, не исчерпано за прошедшие десять лет, будто этот день застал нас врасплох.

В распахнутые окна изливалась густая небесная синь, грубыми от страсти голосами ворковали голуби на подоконниках, крепко пахло распутившимися девьями и политым асфальтом.

В класс заглянула Женя Румянцева.

— Сережа, можно тебя на минутку!

Я вышел в коридор. В этот необычный день и Женя показалась мне не совсем обычной. Одета она была, как всегда, несуразно: короткое, выше колен, платье, из которого она выросла еще в прошлом году, шерстя-

ная кофточка, не сходявшаяся на груди, а под ней белая с просинью от бесконечных стирок шелковая блузка, тупоносые детские туфли без каблуков. Казалось, Женя носит вещи младшей сестры. Огромные пепельные волосы Жени были кое-как собраны заколками, шпильками, гребенками вокруг маленького лица и все-таки закрывали ей лоб и щеки, а одна прядь все время попадала на ее короткий нос, и она раздраженно отмахивала ее прочь. Новым в ней был ровный, тонкий румянец, окрасивший ее лицо, да живой, близкий блеск больших серых глаз, то серьезно-деловитых, то рассеянно-невидящих.

— Сережа, я хотела тебе сказать: давай встретимся через десять лет.

Шутливость совсем не была свойственна Жене, и я спросил серьезно:

— Зачем?

— Мне интересно, каким ты станешь. — Женя отбросила назойливую прядь. — Ты ведь очень нравился мне все эти годы.

Я думал, что Жене Румянцевой неведомы ни эти слова, ни эти чувства. Вся ее жизнь протекала в двух сферах: в напряженной комсомольской работе — она была нашим комсоргом — и в мечтаниях о звездных мирах. Я никогда не слышал, чтобы в свободное от деловых забот время Женя говорила о чем-нибудь другом, кроме звезд, планет, орбит, протуберанцев, космических полетов. Немногие из нас твердо определили свой дальнейший жизненный путь, а Женя с шестого класса знала, что будет астрономом и никем другим.

Между нами никогда не было дружеской близости, учились мы в параллельных классах и сталкивались лишь по комсомольской работе. Несколько лет назад меня за один проступок чуть не выгнали из пионерского отряда. Ребята встали за меня горой, и я сохранил красный галстук. Лишь одна Женя, новенькая в нашей школе, до конца настаивала на моем исключении. Это наложило отпечаток на все мое отношение к ней. Позднее я понял, что Женина беспощадность шла от повышенной требовательности к себе и людям, а вовсе не от злого сердца. Человек до дна прозрачный, стойкий и верный, она хотела, чтобы и все вокруг были такими. Я не был «рыцарем без страха и упрека»,

и сейчас неожиданное ее признание удивило и смутило меня. В поисках разгадки я мысленно пробежал прошлое, но ничего не нашел в нем, кроме одной встречи на Чистых прудах...

Однажды мы собрались в выходной день на Химкинское водохранилище покататься на лодках. Сбор назначили на Чистых прудах, у большой беседки. Но с утра заморосил дождь, и на сборный пункт пришли только мы с Павликом, Нина Варакина и Женя Румянцева. Нина пришла потому, что в выходной день не могла усидеть дома, я пришел из-за Нины, Павлик — из-за меня, а почему пришла Женя, было нам непонятно.

Женя никогда не появлялась на скромных наших пирушках, не ходила с нами в кино, в Парк культуры, в «Эрмитаж». Никто не подозревал Женю в ханжестве, просто у нее не хватало времени: она занималась в астрономическом кружке при МГУ и еще что-то делала в планетарии. Мы уважали эту Женину устремленность и не хотели ей мешать.

И вот мы сошлись в большом сквозном павильоне, под этим гигантским деревянным зонтиком посреди бульвара. Дождь то крупно и шумно остегивал землю, то утончался в почти невидимые и неслышные нити, но не переставал ни на минуту. Серые обложные тучи, без единого просвета, уходили за крыши домов. Нечего было и думать о Химках. Но Женя настойчиво уговаривала нас ехать. Впервые позволила она себе маленькое отступление от обычного строгого распорядка, и надо же, чтобы так не повезло! На пуговице плюшевой жакетки висел у нее сверточек с бутербродами. Было что-то очень трогательное в этом сверточке. Жене, видимо, и в голову не приходило, что можно позавтракать в закусочной, в кафе или даже в ресторане, как мы это делали во время наших походов. Из жалости к этому сверточку я предложил:

— Давайте покатаемся на пруду, — я показал на старую, рассохшуюся плоскодонку, торчащую носом из-под свай теплушки, — и будем воображать, что мы в Химках.

— Или в Средиземном море, — вставил Павлик.

— Или в Индийском океане, — восторженно подхватила Женя, — или у берегов Гренландии!

— А мы не потонем? — спросила Нина. — Это было бы обидно: я приглашена на премьеру в МХАТ.

Весел не было. Мы подобрали на берегу две дощечки, вычерпали из лодки воду и отправились в кругосветное плавание. Едва ли кому-нибудь из нас, кроме Жени, это доставляло удовольствие. Пока мы с Павликом вяло шлепали дощечками по воде, Женя придумывала трассу нашего путешествия. Вот мы проходим Босфор, через Суэцкий канал попадаем в Красное море, оттуда в Аравийское, оплываем Большие Зондские острова, Филиппины и входим в Тихий океан.

Запоздалая ребячливость Жени была мила и трогательна, но было в ней вместе и что-то жалкое.

— Смотрите! — говорила Женя, указывая туда, где за глянцевыми от дождя ветвями деревьев уныло темнели мокрые колонны кинотеатра «Колизей». — Вон пальмы, лианы, слоны, нас отнесло к берегам Индии!

Мы переглядывались. Как это бывает в семнадцать лет, мы защищали свою внутреннюю жизнь, еще хрупкую, легко ранимую, броней нарочитой насмешливости, легкого цинизма, и нам непонятно было, как можно так наивно обнаруживать себя.

— Мы приближаемся к страшным Соломоновым островам! — зловещим голосом объявила Женя.

— Правильно! — подтвердил Павлик, самый добрый из нас. — А вон и туземцы-людоеды. — Он указал на группу чистопрудных ребят, остановившихся прикурить у ограды водоема.

— Пушки на борт! — скомандовала Женя. — Приготовить ядра!

— Женя, очнись, это же колониализм, — сказал я.

— Верно! — улыбнулась Женя, обрадованная, что ее выдумки нашли у нас отклик, и в простоте не замечая иронии. — Мы должны прийти к ним как добрые друзья, мы принесем им орудия труда, инструменты, лекарства...

— А вместо библии — учебник Абрамовича и Головенченко, — добавил Павлик.

Наше скучное плавание сквозь дождь продолжалось. Женя неумоимо командовала: «Право руля!», «Лево руля!», «Поднять паруса!», «Убрать паруса!», отыскивала путь по звездам — наш компас разбился во время бури. Это дало ей возможность угостить нас

лекцией по астрономии, из которой я запомнил лишь, что за экватором звездное небо как бы перевернуто. Потом мы потерпели бедствие, и Женя раздала нам «последние галеты» — свои намокшие бутерброды. Мы понуро жевали их, а Женя говорила о том, как ей нравится жизнь Робинзона.

Я промок, устал, занозил руку — это сделало меня безжалостным, и я сказал, что не знаю более обывательской книги, чем «Робинзон Крузо».

— Вся книга наполнена мелочной заботой о жратве, одежде и утвари. Бесконечные прейскуранты харчей и барахла... Гимн торжествующему быту!..

— А я не знаю ничего более волнующего, чем эти, как ты их назвал, прейскуранты! — говорила Женя со слезами на глазах. — И сколько в книге простора, стихий, мечты...

Наш спор прекратила Нина Варакина, она вдруг закричала:

— Ура! Впереди берег!

— Где? Где? — всполошилась Женя.

— Да вон, у теплушки, — будничным голосом сказала Нина. — Все, приехали! Мальчики, я замерзла, без рюмки коньяка не обойтись.

— Пойдем на Покровку, в летнее кафе, — предложил я.

Женя оторопело поглядела на нас, щеки ее порозовели.

— А что? — мужественно сказала она. — Кутить так кутить!

Мы загнали лодку под сваи, выбрались на берег и тут сразу столкнулись со старым моим знакомцем и недругом Ляликом. За последние годы хулиганствующий подросток побывал в тюрьме и в исправительно-трудовой колонии. Он очень окреп, раздался в плечах, глядел исподлобья и строил из себя матерого бандита. Поравнявшись с нами, Лялик одним плечом толкнул меня, другим Павлика и грязно выругался. Сейчас, в ореоле своей уголовной славы, он знал, что ничем не рискует. Страх нам внушал не он сам, а его репутация. Он подавлял нас мрачным величием своей судьбы, мы чувствовали себя рядом с ним жалкими чистоплюями, маменькиными сынками, куда нам было тягаться с этим отчаянным человеком!

— Не смей ругаться, хулиган! — крикнула Женя, она не знала, кто такой Лялик.

Лялик молча повернулся и пошел на нас. Но Женя перехватила его на полдороге. Она нахлобучила ему на нос его старую кепку со сломанным козырьком и сильно толкнула в грудь. Лялик отлетел к огороженному проволокой газону и через проволоку кувыркнулся в траву.

И тут выяснилось, что Лялик просто мальчишка, такой же, как мы с Павликом, и всему его злощастному виду грош цена.

— Ты чего толкаешься? — пробормотал он жалобно, пытаясь стянуть кепку, налезшую ему на глаза.

А потом мы сидели в летнем кафе, под мокрым полосатым тентом, пили черный кофе с коньяком и закусывали мороженым. Женя, морщась, выцедила одну маленькую рюмку, заколки и шпильки как-то разом выпали из ее огромных густых волос, она раскраснелась и стала громко обзывать себя «кутилой» и «пропащей душой». Нам было немного стыдно за нее, мы боялись, что подавальщица не даст нам больше коньяка, потому что Женя никогда еще не напоминала так девочку-переростка, как в этом кафе, со своими растрепанными волосами, в платье, все время задиравшемся на ее круглых коленях. И еще Женя говорила, что ей хотелось бы погибнуть в первом космическом полете, потому что космосом нельзя овладеть без жертв, и лучше погибнуть ей, чем другим, более достойным. Мы знали, что она говорит искренне, не подозревая о своем душевном превосходстве, и это унижало нас. Мы не были такими даже под воздействием коньяка, нам нужен был хоть какой-то шанс уцелеть...

Больше Женя не бывала с нами. Мы не раз приглашали ее на наши сборища, но она отказывалась за недосугом. Может, у нее и действительно не хватало времени, ей столько нужно было успеть. А что, если в тот единственный раз она пришла из-за меня и из-за меня отступилась, сказав себе с гордой честностью: не вышло...

— Почему же ты раньше молчала, Женя? — спросил я.

— К чему было говорить? Тебе так нравилась Нина!

С ощущением какой-то досадной и грустной утраты я сказал:

— Где же и когда мы встретимся?

— Через десять лет, двадцать девятого мая, в восемь часов вечера, в среднем пролете между колонн Большого театра.

— А если там нечетное число колонн?

— Там восемь колонн, Сережа... К тому времени я буду знаменитым астрономом, — добавила она важно, мечтательно и убежденно. — Если я очень изменюсь, ты узнаешь меня по портретам.

— Что же, к тому времени и я буду знаменитым... — сказал я и осекся. Я совсем не представлял себе, в какой области суждено мне прославиться, и еще не решил даже, на какой факультет подавать заявление. — Во всяком случае, я приеду на собственной машине...

Это было глупо, но я не нашелся, что сказать.

— Вот и хорошо, — засмеялась Женя, — ты покатаешь меня по городу.

Минули годы, Женя училась в Ленинграде, я ничего не слышал о ней. Зимой 1941 года, жадно лова известия о судьбе моих друзей, я узнал, что Женя в первый же день войны бросила институт и пошла в летную школу. Летом 1944 года, находясь в госпитале, я услышал по радио указ о присвоении майору авиации Румянцевой звания Героя Советского Союза. Когда я вернулся с войны, то узнал, что звание Героя было присвоено Жене посмертно.

Жизнь шла дальше, порой я вдруг вспоминал о нашем уговоре, а за несколько дней до срока почувствовал такое острое, щемящее беспокойство, будто все прошедшие годы только и готовился к этой встрече.

Я не стал знаменитым, как обещал Жене, но в одном не обманул ее: у меня был старенький «Опель», купленный за бесценок на свалке трофейных машин. Я надел новый костюм, оседлал своего бензинового конька и поехал к Большому театру. Если бы я встретил там Женю, я бы сказал ей, что после всех шатаний нашел все же свой путь: у меня вышла книга рассказов, сейчас я пишу другую. Это не те книги, которые мне хотелось бы написать, но я верю, что еще напишу их.

Я поставил машину возле сквера, купил у цветочницы ландыши и пошел к среднему пролету между колонн Большого театра. Их и в самом деле было восемь. Я постоял там немного, затем отдал ландыши какой-то худенькой, сероглазой девушке в спортивных тапочках и поехал домой...

Мне хотелось на миг остановить время, оглянуться на себя, на прожитые годы, вспомнить девочку в коротком платье и узкой кофточке, тяжелую, неповоротливую плоскодонку, дождик, усеявший желтоватую поверхность пруда колючими отростками, взволнованный крик: «Нас отнесло к Индии!», вспомнить слепоту своей юношеской души, так легко прошедшей мимо того, что могло бы стать судьбой.

Через двадцать лет

Однажды, в начале осени, раздался телефонный звонок — меня просили приехать на литературный вечер в одну из московских школ.

— Где это? — спросил я.

— Да совсем рядом с вашей бывшей школой.

— Откуда вы знаете, где находилась моя школа?

— Одну секунду...

Послышался какой-то шорох, легкий треск в мембране, я думал, трубку передают в другие руки, оказывается, это сработала машина времени: в миг перенесенный на двадцать лет назад, я рухнул в знакомый голос.

— Здравствуй, Сережа. Тебя еще можно так звать?

— Здравствуй, Нина.

— Ты приедешь к нам?

— К вам?

— Я преподаю здесь физкультуру.

— Конечно, приеду.

— Это бывший Машков переулок, на Чистых прудах.

— Знаю.

— Ну мы тебя ждем. Спасибо, что согласился.

— Да чепуха...

— Будь здоров.

— До свидания.

И когда уже по ту сторону щелкнул рычажок трубки, я вдруг сказал быстро, испуганным голосом:

— Ну а как ты?!

Мы не виделись с Ниной двадцать лет, со дня окончания школы. Еще до этого мы перестали быть соседями: отец получил квартиру возле Дворца Советов. Готовясь к экзаменам в медицинский институт, я услышал, что Нина вышла замуж за нашего соученика Юрку Петрова, не за Лемешева, не за Бабочкина, не за Конрада Вейдта, а просто за Юрку Петрова, длинновязого чудака с хрупкими костями, которые он постоянно ломал на велосипедном треке, на лыжном трамплине или на Чистопрудном катке. Мне это казалось чудовищной издевкой, тем более что прежде она не испытывала к нему ни малейшей склонности.

После войны мои связи с товарищами по школе совсем оборвались. Самые близкие друзья, такие, как Павлик Аршанский, Борис Ладейников, погибли на фронте, не вернулась и Женя Румянцева; Карнеев навсегда уехал из Москвы — он получил кафедру в Иркутском университете; остальных тоже раскидало по городам и весям. Сохранилась наша старая школа, она служила бы неким собирательным центром, но школьное помещение давно было отдано Академии педагогических наук.

Однажды я встретил на улице маленького, белобрысого Чернова, ставшего, к моему глубокому удивлению, дрессировщиком морских львов. Чернов рассказал, что однажды он пытался собрать у себя школьных товарищей, но сразу столкнулся с неодолимым препятствием: наши подруги, скрывшись под фамилиями мужей, стали недосыгаемы.

Короткий телефонный разговор с Ниной странно растревожил меня. Прошедшие двадцать лет вместили столько крутой и сложной жизни, что без следа стерли память о моей первой и единственной школьной любви, вернее, не память, а то глубокое, непроходящее огорчение, каким была для меня эта первая, совсем не задавшаяся любовь. Впрочем, волнение мое скоро улеглось — двадцать лет, что ни говори, слишком большой срок и для памятливого сердца.

Я немного опоздал на выступление. Нина ждала меня возле школы. Я узнал ее издали — она очень мало изменилась.

— Вот что значит, любовь прошла, — сказала Нина, пожимая мне руку своей маленькой, крепкой рукой. — Раньше ты никогда не опаздывал. Идем скорее, ребята заждались.

Я не могу равнодушно слышать два запаха: школьной дезинфекции с примесью мела и начищенных солдатских сапог, то и другое пробуждает слишком много воспоминаний. Когда мне приходится выступать в школах или в воинских частях, я в первые минуты не могу сосредоточиться. На этот раз моя рассеянность усугублялась тем, что справа от меня, прислонясь к стене и чуть закинув голову, стояла Нина Варакина. Как она моложава, какая у нее стройная, сильная фигура! Глядя на нее, так и чувствуешь свежий воздух физкультурного зала, упругие тела спортивных снарядов, глянцевитую просинь лыжной колени и то неизменное состояние мышечной бодрости, что совсем незнакомо людям сидячей жизни. Да, она почти не изменилась и все же стала совсем другой. В ней ничего не осталось от прежней девичьей расплывчатости, полная, зрелая завершенность. От нее и вообще веяло покоем обретенной формы, и я подумал, что нам легко, просто и покойно будет говорить о прошлом.

Занятый этими мыслями, я рассеянно следил за тем, как по знаку учительницы литературы к столу выходят один за другим ученики и, смущаясь, глотая слова, бубнят содержание каких-то моих рассказов. А потом я вспомнил, как дьявольски пронизательны дети, и решил не смотреть в Нинину сторону. Совершенно ни к чему давать пищу этим маленьким наблюдателям. Я стал одобрительно кивать головой, улыбаться — словом, всячески показывал свою заинтересованность в происходящем.

Но что-то со мной творилось сегодня, от этой детской аудитории шли странные, тревожные токи. На третьей скамейке с краю сидел полный, кудрявый, смуглый мальчик и, томно приоткрыв рот, глядел на меня жгучими, с поволокой, глазами южной красавицы. Ни дать ни взять мой школьный друг Миша Хорок! А слева от него тянулась к потолку всем своим длинным, узким телом, длинной худой шеей и вздернутым носом вылитая Лидка Ваккар, наша лучшая школьная гимнастка и буколическая писательница. И уже, будто

наваждение, стало мне казаться, что я вижу Борьку Ладейникова, Павлика, Тюрину и вообще весь свой старый класс. Потом я увидел на задней скамейке большого мальчика, почти юношу, и тут все зашло во мне такой непонятной, щемящей нежностью, что даже в горле защипало. Странно, все в этом редкостно красивом подростке было мне до боли знакомо: и эти ланьи глаза, продолговатые, влажные, с ресницами, касавшимися щек, когда он моргал, и смело-плавный абрис лица, и прекрасный четкий рот, и ямочка на нежном подбородке. Но я не находил в нем сходства ни с одним из моих бывших друзей. Карнеев, Панков, Грызлов, Ворочилин мелькнули передо мной, никак не связавшись с этим мальчиком. Растроганно следил я за тем, как он улыбается, проводит рукой по светлым, волнистым волосам, что-то шепчет соседу, прикрыв рот ладонью и кося на меня своим продолговатым, влажным глазом.

Но вот задвигались скамейки, освобожденно зазвенели голоса, и большой мальчик крикнул:

— Мама, я домой! Дашь мне ключи?

— Лови! — откликнулась Нина и кинула ему связку ключей, которую он поймал ловким жестом баскетболиста.

— Так это твой сын? — сказал я Нине, когда мы вышли на улицу.

— Да, мой младший, Борька. Странно, что ты его не узнал, все говорят, мы очень похожи.

— У него Юркин цвет волос, это меня и сбило. Какой он большой, на голову выше других ребят.

— Он второгодник. Весь прошлый год тяжело болел. Мне это стоило десяти лет жизни!

— Но ты прекрасно выглядишь!

— Преподавательница физкультуры обязана хорошо выглядеть.

Впереди показались желтые деревья Чистых прудов, свежо и сильно запахло палой листвой.

— А девочка, похожая на Буратино, это не Лидина дочь? — спросил я.

— Ну да, Машенька Ваккар.

— А черноглазый, смуглый мальчик, вылитый Миша Хорок?..

— А он и есть Миша Хорок.

— Мишин сын?

— Нет, Толин. Ты разве не знаешь? Миша погиб на фронте.

— Неужели его взяли в армию? Он был такой толстый, слабый, все время спал.

— Он проснулся, когда потребовалось. Миша погиб под Берлином, в самом конце... А Толя стал на костыли, кончил институт, женился, родил сына и назвал его Мишей в память о погибшем брате.

— Миша Хорок! Кроткое, безобидное существо! А Павлика ты помнишь?

— Аршанского? Конечно, помню!

— Самый чистый и прекрасный человек на свете! Он и Женя Румянцева лучшие люди, каких я только знал.

— Что же, выходит, те, кого нет, лучше тех, кто остался?

Умение без оглядки идти вперед — завидное свойство, но мне хотелось бы от Нины больше преданности прошлому.

— А ты этого не считаешь? — спросил я.

— Те, кого нет, лучше, потому что их нет. А мы лучше, потому что мы есть. Разве мы тоже не умирали, да и не один раз?

— Ну, это другое!

— Конечно, один раз умереть легче.

Под ногами шуршали опавшие листья: желтые, багряные, золотисто-коричневые, бурые, зеленые с красными прожилками. Тихонько постукивая, зубчатым колесом катится навстречу нам большой кленовый лист. Трава газона еще зелена и ярка, но будто омертвела, клейко схваченная заморозками. Двадцать лет назад на нашем бульваре так же шуршали листья и цепенела изумрудная трава, так же расточала свой печальный аромат осень, и никуда от этого не денешься! Мы выбрали низенькую скамейку под кустом венгерской сирени, ее листья, опаленные утренниками, были лиловы и шершавы. Усевшись на скамейку с вогнутым сиденьем и далеко откинутой спинкой, я будто погрузился в глубокое кресло. Недоставало лишь этой расслабляющей позы, чтобы окончательно капитулировать

перед прошлым. А я не хотел обесценивать, предавать двадцать нелегких лет, и все пережитое, и женщин, которых я любил искренне и трудно. Но я ничего не мог поделаться с собой.

— Как же так получилось, ведь Петров тебе никогда не нравился?

— Нет, — ответила Нина спокойно и готовно, она словно ждала, что я об этом заговорю.

— А ты ему нравилась?

— Оказывается, да... Вот как это было. Ты, наверное, помнишь, что Юрка Петров круглый сирота, его воспитывала бабушка. Едва мы кончили школу, как бабушка умерла. А тут и я осталась совсем одна. В тридцать седьмом году посадили отца, а месяцев через восемь взяли мать... Можешь не делать скорбных глаз, дело прошлое. Отец посмертно реабилитирован, мать вернулась, получает пенсию и ходит на лекции в Политехнический музей. Ну, а тогда я оказалась в пустоте. Вы все куда-то разбрелись, и тут появился Юрка Петров... Мы решили жить вместе, все-таки легче...

— Ты любишь его?

Нина засмеялась.

— Разве об этом спрашивают после двадцати лет? У нас двое парней, одного ты видел, а другой просто богатырь, на голову выше Юрки, вот такие плечи! Перешел на четвертый курс Энергетического и, по-моему, собирается сделать меня бабушкой.

— А Юрка сильно изменился?

— Как тебе сказать? Он совсем лысый...

— Спорт бросил?

— Ему запретили, недостаток фосфора в костях, помнишь, как он все время ломался? У него теперь другое увлечение: аквариум с золотыми рыбками. Недавно он добился полного кислородного обмена в воде, то-то было радости! — Нина осторожно поглядела на меня. — Ты не думай, он очень хороший инженер, награжден двумя орденами.

— Да я ничего, просто не верится: Юрка Петров, спортсмен, выдумщик, — и вдруг лысина, аквариум с золотыми рыбками...

— Ну, выдумка, положим, осталась. Только все,

что он выдумывает, строго засекречено. Он, правда, замечательный инженер, может, единственный в своем роде... Почему я словно оправдываюсь перед тобой? Боже мой, Сережа, неужели я опять тебе нравлюсь?

Нина как бы наново, внимательно и долго, посмотрела на меня.

— Я бы могла тебя поцеловать, — задумчиво сказала она, — но это будет подло.

— По отношению к Юрке Петрову!

— При чем тут Юрка? — Она удивленно вскинула брови. — Подло по отношению к тебе. Целоваться с бабушкой. Да это убьет в тебе память о прошлом...

Память о прошлом! Ничто не стало для меня прошлым, и не по-новому влекло меня к Нине. Чистопрудная аллея, по которой мы ходили с ней в детстве, не оборвалась двадцать лет назад, она, неведомо для меня самого, простерлась через всю мою жизнь. А двадцать лет коротки, как вздох. Но я не сказал об этом, я сказал о другом:

— Ты так говоришь о прошлом, словно оно было у нас с тобой...

— Мы не целовались в подворотне и не обнимались в подъезде, все эти маленькие секреты открыл тебе кто-то другой. Но разве я была тебе плохим другом в трудные минуты?

— В трудные минуты ты была прекрасным другом.

— Я вообще была прекрасна только в трудные минуты. А в остальное время — скверная девчонка. Мне все время хотелось нравиться, крутиться среди разных людей, просто так, чтобы растормошить какого-нибудь лентяя! Мне иногда кажется, будто я предчувствовала, что моему крутежу короткий срок, и уписывала за обе щеки. А ты, с твоей привязанностью, просто меня пугал. Быть с тобой — значило быть всегда хорошей, я знала, что это мне не по силам, а обманывать тебя не хотелось.

— И на том спасибо.

— Нет, серьезно, — сказала Нина. — Ты был слишком целей, слишком прям для меня. Правда, ты раз украл брошюры — и это было прекрасно. Если б ты побольше бесчинствовал!

— Как мы слепы друг к другу! Цельный, прямой человек сменил три института, ни одного не кончил и с отчаяния занялся тем, о чем никогда не думал.

— Напрасно не думал, — заметила Нина. — Помнишь, я еще когда сказала: пиши прозу.

— Ну да, потому что я не смог написать тебе стихов... Женя Румянцева понимала меня лучше, она через десятилетие протянула мне руку.

— Что это значит?

— Она угадала мою смуту, растерянность перед будущим и назначила мне встречу через десять лет. Думала, мне понадобится помощь.

— Ну, рядом с Женей все казались ущербными. Она была образцом!

— Человеком она была! — сказал я с раздражением. — Лучшим из всех нас человеком!

— Есть люди не хуже, — спокойно сказала Нина. — Хотя бы Юрка Петров... Знаешь, сколько он из-за меня натерпелся? Пока мы учились в институте, он ломал свои косточки уже не на стадионе, а на Казанском вокзале, таская мешки. А потом годы не мог устроиться по специальности, его не брали из-за жены. Чем только он не занимался! Даже чинил электричество в церквах... Знаешь, а тебе очень к лицу седина!

Я понял тайну Нининого обаяния: она была естественна, как сама земля. По аллее, приближаясь к нам, задумчиво брел статный человек в светлом плаще. Его крупное, смугловатое, еще молодое лицо, израненное глубокими морщинами, было важным, сосредоточенным и печальным. Поравнявшись с нами, человек склонил крупную голову и медленным усилием перекроил морщины на своем лице в улыбку. Я ответил на его приветствие.

— Кто это? — заинтересованно шепнула Нина.

— Неужели не узнаешь?

— Господи, мой любимый артист!

Как хорошо знал я эту проникновенную интонацию, эту таинственную бархатистость глаз! Так в разные годы нашей дружбы отзывалась Нина всей глубиной своего существа на имена Конрада Вейдта, Бабочкина, Лемешева и никогда не отзывалась на мое имя.

Я окликнул своего знакомого и представил его Нине. Втроем мы двинулись по боковой аллее в сторону пруда, скоро они оказались впереди, рядом, о чем-то оживленно беседуя, я на полшага сзади.

Потом я немного поотстал. Нина не оглянулась, я мог бы и вовсе исчезнуть, она бы не заметила. За весь этот напоенный воспоминаниями день не ощущал я с такой ясностью, что прошлое вернулось. Спасибо тебе, друг, ничуть не подозревая о том, ты вызвал самый сильный, мучительный и радостный образ моей юности...



ЗЕЛЕНАЯ ПТИЦА
С
КРАСНОЙ ГОЛОВОЙ



Зеленая птица с красной головой

Молочница не пришла — опять, верно, нелады с мужем. Но Павлов не мог допустить, чтобы близнецы остались без молока, он взял бидон и отправился за шесть километров в Курыново. Конечно, он снова опоздает на работу в санаторий, для которого строили столовую, но это ничего не значило перед простой необходимостью, чтобы близнецы и сегодня пили молоко.

Еще недавно Павлов умел жить так, чтобы одни обязанности не были в ущерб другим, чтобы любовь к семье не мешала работе, а увлеченность работой — он работал тогда на строительстве гигантской гостиницы в Зарядье — не вредила семье. После юности, растерзанной войной, потерей близких, жестокой болезнью и нуждой, Павлов стремился к размеренному, стройному бытию. Но все полетело к черту в тот день, когда, выслушав и выстукав близнецов, дотошно высмотрев темные пленки рентгеновских снимков, врач сказал: «У них слабые легкие, им лучше жить за городом». Душа Павлова рухнула под нестерпимым чувством вины. Вот когда отозвалось то, что впервые обнаружило себя поздней осенью сорок второго года в болотах Волховского фронта. Умываясь под висячим ручейником возле блиндажа, младший лейтенант Павлов отхаркнул на белый иней, присоливший и жестко связавший болотные травы, густой комок крови. «Цинга», — сказал он себе, хорошо зная, что это не цинга, иначе откуда постоянная слабость в теле, холодный пот и жар по ночам? Но цинга объясняла алое пятнышко на инее, цинга была вполне правдоподобна, ею

болели многие. Волховский фронт, хотя и связанный напрямую с Москвой тремя железными дорогами — через Вишеру, Неболчи и Тихвин, — снабжался плохо, словно ему полагалось хоть в малой мере делить судьбу блокадного Ленинграда, который он никак не мог освободить. «Цинга», — уговаривал Павлов себя все последующие дни, недели, месяцы до наступления, которого, подобно всем волховчанам, ждал, как верующие ждут второго пришествия. Все знали, что оно будет, это наступление, и что на этот раз оно не кончится неудачей и кольцо вокруг Ленинграда будет наконец-то прорвано. Ради этого младший лейтенант Павлов скрывал от себя и от других болезнь, пожирившую его легкие. Он был преступно недальновиден: думал, что распоряжается лишь собственным телом, здоровьем, судьбой. В Ленинграде погибли от голода его мать и сестра — вся маленькая семья, — и не было для него иного смысла существования, кроме участия в прорыве блокады. Он дождался своего часа: увидел, как под Мгой бойцы-волховчане ринулись навстречу ленинградцам, и тут его задел осколок снаряда, и потянулись годы госпитальной полужизни-полусмерти, и мучительно долгое выздоровление, и выход в новую жизнь через два года после окончания войны. А затем — трудная учеба в институте, нужда, вспышка болезни, подавленность от неверия в свою физическую прочность. Но и это минуло, и в приближении к сорока годам Павлов поверил, что может жить, как все: иметь жену, детей...

Женился он неожиданно быстро и вовсе не потому, что любил эту последнюю свою подругу больше, чем других. Все решил жест. Утром, перед расставанием, она подняла к голове руки, чтобы собрать в пучок рассыпавшиеся волосы. Ее поза поразила Павлова сходством с чем-то, таящим в себе радость. Странную радость, в которой он поначалу не мог разобраться. Думая об этом, без устали вызывая в воображении образ крупной женщины с чуть наклоненной спокойной головой и вознесенными кверху круглыми, сильными руками, любясь этим застывшим движением, исполненным терпеливой мощи, женственности и надежности, он догадался, что подруга походила в эти минуты на кариатиду. А радость его была провидением того, что

на ее плечи без боязни можно возложить бремя семейной жизни и собственной слабости. Оказалось, что и Кариатиде во всем безграничном многообразии мира нужен почему-то долговязый инженер-строитель с одним легким и худыми, всосанными щеками, будто опаленными морозом.

В трудную минуту жизни Павлов убедился, что не совершил ошибки в то, уже далекое, утро, когда по одному движению круглых, сильных рук, медленно всплывшим к тяжелым волосам, угадал спасительную мощь будущей своей спутницы на радость и горе. Жена все приняла на себя. С непостижимой быстротой и неприметной затратой сил отыскала она в тридцати километрах от Москвы поселок с краю молодого сосняка, над чистой, светлой речкой, где по божеской цене продавался щитовой домик. Возле поселка находился санаторий, там шло строительство и была нужда в главном инженере; под боком располагалась отличная школа-десятилетка, где как раз нужен был преподаватель английского языка, а жена Павлова занималась техническими переводами с английского.

Близнецы восприняли переход к новому бытию без удивления и огорчения. Они уверенно и бодро вписались в загородную жизнь, словно давно уже исподволь к ней готовились. Павлова, его жену, их родителей и дедов вскормил город, но давние предки Павлова были доброй крестьянской, «пскопской» закваски, и казалось, сродство славных кривичей с миром чистой природы через поколения в полной сохранности передавалось двум маленьким горожанам, не испытавшим и минутной растерянности в мире деревьев, трав, птиц, широких далей и большого неба. Они быстро освоили и малый сад при доме, и всю окрестность.

Ребята чувствовали себя отлично, они раз и навсегда покрылись красивым, не сходящим и зимой загаром, будто поменяли кожу, мускульно окрепли, а в походе их появилась какая-то зверьева грация. И Павлов вновь стал испытывать ту робкую растроганность, которая людям, уstraшенным жизнью, заменяет чувство счастья.

Сейчас Павлов шел за молоком, размахивая бидоном, а вокруг него был жестяной, хрусткий от утренника, синий и солнечный день позднего октября, и его

длинная, худая тень покорно бежала сбоку, чуть отста-
вая, по кювету в заиндевельных бурых лопухах, по шта-
кетнику заборов, по стволам берез, и Павлов подмиг-
нул своей тени, которая хоть и выглядела жалкова-
то, но, что ни говори, принадлежала удачнику и лов-
качу.

Он вышел из поселка на обширную луговину, сбе-
гающую к реке. Луговину пересекал большак, и не-
сколько пешеходных тропок, колеи и выбоины шагов
мохнатились по ребрам инеем. Слева, за каменной
оградой санатория, проглядывало недостроенное зда-
ние столовой, справа, куда и направил свои шаги Пав-
лов, простирался сосняк. Он начинался молодой рощи-
цей искусственной посадки, а дальше синевато взды-
мались в небо мачтовые сосны старого бора. Рощица
просматривалась из конца в конец по прямым, как
струна, коридорам. Особенно красиво было тут в закат-
ный час, тогда в конце каждого коридора загоралось
по грозно-багровому костру. Широкая просека подво-
дила к высоковольтной линии, откуда шел прямой
путь на Курыново.

Едва Павлов шагнул в рощицу, как им привычно
овладело странно-тревожное чувство. Именно в этой
рощице, по уверению близнецов, обитала удивительная
зеленая птица с красной головой. Павлов считал эту
птицу назойливым порождением нездоровой детской
фантазии, и мысль о ней всякий раз вызывала в нем
беспокойство, как если бы в этой выдумке зрела, коре-
нилась некая гниль, способная подточить самую осно-
ву теперешнего благополучия семьи.

Все началось, как и обычно начинаются человече-
ские невзгоды, с чего-то совсем незначительного, что
пропускаешь мимо себя, а потом с досадой, сожален-
ием и болью думаешь: почему был я так беспечен,
почему не разгадал врага в его первом смутном обли-
че? Павлов не мог простить себе, что поначалу не при-
дал значения болтовне детей о большой зеленой птице,
якобы виденной ими в сосняке. Ну видели — что с того?
Но однажды он прислушался к их разговору.

— Как ты думаешь, она больше галки? — спросил
младший из близнецов.

Он был моложе всего на шесть минут, но трогатель-
но хранил верность образу младшего брата.

— Ясно, больше, — уверенно сказал старший. — Она с ворону, только чуть худее.

— А голова у нее красная-красная, так и горит! — пылко вскричал младший. — Это самая красивая птица на свете!

— Да уж красивше не бывает, — подтвердил старший.

Павлов усмехнулся. Такой птицы не водилось в здешних местах. Он хорошо знал всех пернатых обитателей Подмосковья: галки, вороны, сороки, воробьи, скворцы, синицы, чижи, щеглы, поползни, дятлы, кукушки, да их разве увидишь! Ну, еще витютни, коростели, клесты, сойки, свиристели, разные луговые птицы, зимой — снегири, чечетки. Ребята что-то путают, или то просто игра света от сочетания солнечных лучей с лесной зеленью...

— А ты заметил синее у нее на груди? — спросил младший.

— Нет у ней ни пятнышка синего, — твердо сказал старший. — Она вся зеленая, до последнего перышка, и с красной головой!

Павлов решил, что они придумали птицу, и подивился, почему это дети никогда не довольствуются реальностью. Казалось бы, мир так нов для них, так полон неразгаданных тайн, а они еще спешат населить его всякой небывальщиной: домовыми, лешими, русалками, упырями, оборотнями, ведьмами, карликами, великанами, большими зелеными птицами с красной головой. Еще недавно, когда они только переехали сюда, детей приводили в трепет и восторг скромные, невыдуманнные летуны здешних мест: их маленький сад навещали многие пернатые обитатели лесов и полей. Дети часами могли следить за дятлом, который с таким неистовством долбил клювом сосну, что казалось, вот-вот отвалится его остренькая головка. Не менее дивились они и поползню, суетливо сновавшему челноком по стволу и сучьям рослой ели.

Павлов прикрепил в развилке веток боярышника фанерную дощечку, и дети, насыпав на нее зерна, стали кормить птиц. Вскоре они до тонкости узнали птичьи вкусы: так, синицы не любят пшена, которое охотно склеивают воробьи и поползни, но очень любят подсолнухи; если кинуть на дощечку мясные обрезки,

то красивые пугливые сойки изменяют обычной своей осторожности. Близнецы заразили отца интересом к птичьим делам. Павлову нравилось смотреть, как дерзко и отважно маленькие воробьи отгоняют от корма розовых надутых снегирей. Воробьи, как настоящие парии, были с окружающим миром в жестко-враждебных отношениях. Они знали, что им не приходится ждать милости от людей, что не для них выставлена кормушка, и брали свое с бою. Налетая на фанерку стайей, они расталкивали птичью мелюзгу, в коротких ожесточенных схватках прогоняли снегирей и расклевывали корм прежде, чем кто-либо успевал им помешать.

Но почему же так быстро исчерпан для ребят окружающий их мир? Почему надумали они населить его зелеными птицами с красными головами? Павлов думал об этом с той же серьезностью, с какой относился ко всему, что касалось детей, но ответа не нашел. Порой его поражало и огорчало, что он так плохо разбирается в детях. Был же у него опыт собственного детства, был же он сам ребенком! Иногда он сомневался в этом. Его детство не знало досуга: хлопотливая пора вечных забот и непрерывной суетни. Никогда не был он так загружен и обременен делами, как в годы детства. Отец присутствовал в его жизни лишь порыжелой фотографией группы красноармейцев в остроконечных шлемах с крупными звездами. «Вот он, третий во втором ряду», — говорила ему мать, потом он и сам говорил это другим, всегда удивляясь, почему из большой группы одноликих молодых бойцов именно третьего во втором ряду должен он считать отцом. Третий во втором ряду оставил ему нелегкое наследство, добрую, бестолковую вдову, женщину, лишенную профессии, и дочь, маленькое существо, постоянно страдающее желудком. Вдова третьего во втором ряду приходилась Павлову матерью, дочь — сестрой, обе требовали постоянной заботы. В свободное от учебы и пионерской работы время Павлов таскал пустые бутылки с винного склада и сдавал их в другом конце города. Это обеспечивало небольшой, но верный заработок. Он рано заделался сперва вожатым, а потом воспитателем в летних пионерских лагерях. Фантазия Павлова имела сугубо практическое направление, он никогда не вооб-

ражал себя победителем драконов и великанов, а был озабочен другим: где бы подработать, занять денег, разжиться дровишками, керосином, свести концы с концами. Об этом и думал, засыпая, маленький Павлов, и сны были у него деловые, практические и потому не доставляли настоящего отдыха.

Когда же Павлов опомнился от войны, болезни, мучительно трудной защиты диплома, молодость миновала, не оставив по себе ни радостных воспоминаний, ни сожалений, и Павлов начал жить заново взрослым человеком, у которого словно и не было детства, отрочества, юности. Его новое существование с женой и детьми было настолько для него драгоценно, что призраки былого не допускались сюда. Но теперь Павлов жалел о том, что так резко оборвалась в нем связь с собственным детством, быть может, он лучше понимал бы своих детей...

Павлов почти забыл о подслушанном разговоре, когда зеленая птица снова обнаружила свое призрачное существование. На этот раз ребята открыто, при взрослых, заговорили о ней друг с другом во время обеда.

— Я видел ее сегодня утром, — говорил старший. — Она пролетела над моей головой и села на сосну.

— На лисичкину? — спросил младший.

— Нет, на горелую. И до того здорово ее видно было! Я целый час на нее глядел.

Младший согнул указательный палец.

— Ну, не час, — у старшего заалели скулы, — а долго, долго! Я ее всю рассмотрел. Глаз у нее, как новая копейка, желтый и блестит, а клюв лиловый. Она меня тоже видела, а не улетела.

— Может, она вовсе людей не боится.

— Боится, — вздохнул старший. — Я сам подумал: вдруг она приученная, и тихонечко пошел к ней. Она глядела, глядела, а потом взмахнула крыльями и сразу пропала.

— А ты близко подошел?

— Сиди она пониже, я мог бы дотронуться до нее.

— Довольно болтать, ешьте! — непривычно резко сказала мать, и Павлов понял, что она тоже не в первый раз слышит о зеленой птице с красной головой

и эта назойливая выдумка раздражает ее, как заботит и огорчает его, Павлова.

Дальше пошло хуже и хуже: ребята совсем помешались на зеленой птице. С утра до вечера носились они со своей выдумкой, гордились ею, будто и в самом деле открыли в природе неизвестное доселе прекрасное существо. В их разговорах не чувствовалось желания заинтриговать родителей, вызвать их на какую-то игру. Они не заботились, слушают их или нет. Они говорили единственно друг для друга, просто и серьезно, и Павлова удручала серьезность этого взаимного розыгрыша с открытыми картами. Ему виделось в этом что-то опасное, болезненное.

Постепенно зеленая птица подчинила себе всю жизнь близнецов. Едва вернувшись из школы, они мчались в сосняк и пропадали там допоздна. Птица, как понял Павлов, отличалась непостоянством привычек: то заставляла близнецов долго ждать себя и показывалась мельком, то надолго дарила им свое общество, неспешно перелетая с ветки на ветку. Появлялась она всегда со стороны поля и затем кружилась в пространстве между горелой сосной и той, под которой ребята видели однажды лисицу, отчего и называли ее «лисицкиной». Сосны эти стояли по краям плешины, отмеченной рыжей муравьиной кучей и кустом рябины. Сюда будто бы и прилетала необыкновенная птица, зеленая с красной головой. Она была доверчивой и доброй птицей, в ней чувствовался прекрасный характер: широкий, беспечный, дерзкий. Она никого не боялась: ни ворон, ни сорок, ни лисиц. Такая соблазнительная в ярком своем наряде, она отважно подпускала людей на вытянутую руку. Но для Павлова это была ужасная птица: порождение болезненной мечты, крылатое воплощение его безвинной вины перед детьми.

Здоровый практицизм, идущий, как считал Павлов, от матери, побудил ребят придать этой возне с призраком нечто вещественное. Они решили подкармливать птицу. Осень, сухая, бездождная, вступала в свою последнюю пору. Давно сошли все ягоды, кроме рябины, истончившиеся золотые листья ждали лишь порыва ветра, чтобы покинуть деревья. Утренники обожгли землю, всякие мелкие существа забились в кору деревьев и прель листвы, природа оскудела съестным. У зеленой

птицы не было сильного клюва, чтобы, подобно дятлу, выколачивать пропитание из древесных стволов, не было у нее и всеядности воробья, что довольствуется джарами проселочной дороги, вороватости сорок, хищности сов, силы и наглости ворон, не умела она, подобно другим пернатым старожилам здешних мест, отыскать и в бескормице червяка, семечко, съезжившуюся ягоду рябины, не была она и попрошайкой, вроде синицы, вечно кланчащей корм у жителей поселка. Она была гордой птицей, к тому же, видимо, чужеземкой. Ребята стали кормить ее, не жалея ни труда, ни терпения. Прежде надо было дознаться, какому корму отдает предпочтение зеленая птица. В лес поочередно таскали гречу, пшено, подсолнухи, хлебные крошки, горох, овсяную крупу. Вскоре выяснилось, что зеленый призрак более всего любит семечки. На беду тонкими ценителями семечек были и сороки, и воробьи, и синицы. Близнецы установили дежурство, чтобы отгонять мародеров. Это было не так-то просто! Криком, свистом, дикими прыжками пытались они отгонять прочь расхитителей, а неслышно подлетающая зеленая птица принимала это неистовство на свой счет и обходила место кормежки стороной.

Привычно размеренная, многообразная жизнь близнецов теперь рухнула вконец. У них уже не хватало времени ни на чтение, ни на шахматы, ни на возню со старым радиоприемником. Школа, уроки, зеленая птица — к этому свелась их жизнь, причем школа и уроки принадлежали кругу мучительных обязанностей, а душевному выбору — зеленая птица с красной головой. Павлов готов был восторгаться рыцарственным служением близнецов своей мечте, будь эта мечта достижимой. Но вся их самоотверженность тратилась на пустоту, выдумку, бред...

— Вы бы хоть показали отцу вашу птицу, — сказала однажды мать из глубины невозмутимого спокойствия, но Павлов обостренным чутьем угадал ее озабоченность.

— Пожалуйста, — просто отозвался старший из братьев.

В это мгновение Павлов почти поверил в реальное существование зеленой птицы с красной головой. Но когда они гуськом брели по лесной тропинке, когда

занимали наблюдательный пост под соснами, он уже твердо знал, что ничего не будет. И все же пролет каждой сороки, гортанные вскрики сойки, оповещавшей лес о чужаках, трепыхание лазоревок в голых кустах, шорох палой листвы, потревоженной ветром, сухо звенящий пролет дроздов к запозднившейся рябине — все это заставляло его вздрагивать от нетерпения и надежды.

Так бесцельно прождали они несколько часов. Близнецы были озадачены, огорчены, но ничуть не смущены. Обычно деликатные и чуткие, они заигрались до грубости в свою неприятную игру.

— Ну что же, вы добились своего, — жестко сказал Павлов, — заставили и меня поверить в эту птицу. Но теперь хватит, шутка перешла в ложь, бесцельную и глупую.

— Ты дурак! — побледнев, сказал старший из близнецов.

— Ты дурак, папа, — повторил младший и заплакал.

Еще и сейчас, вспоминая об этом, Павлов чувствовал боль. Эта боль усугублялась тем, что он шел по той же тропке, на которой потерял души своих детей. Вот та самая полянка, вот горелая сосна, вот муравейник, вот другая сосна, вот рябина. Иней поплыл на ярком солнце, все стало блестящим и влажным — иглы сосен, подножия стволов, зеленая неживая трава. На ветке, раздув перья, сидела свиристель, круглый серобурый шарик, увенчанный хохолком...

Павлов достал молоко в Курынове и пошел назад. Миновав высоковольтную линию, уже в виду сосняка, он почувствовал, что ему мучительно идти прежней дорогой, и направился в обход березовым перелеском. Влажная кора берез почему-то припахивала свежестранным бельем, ни один лист не кружился в тихом воздухе, и все же роща была толсто устлана желтой листвой. Возле трухлявого пня что-то ярко зеленело. Павлов подошел и носком ботинка пошевелил мягкую грудку перьев, пронзительно зеленых и таких легких, что от его прикосновения несколько перышек взлетело на воздух. В этой неправдоподобно яркой грудке каплями крови атели чуть удлиненные, узкие перышки. Хищник, настигший зеленую птицу с красной голо-

вой, не оставил от нее ни косточки, ни лоскутка плоти, лишь весь ее непригодный в пищу наряд содрал он с нее и сложил возле пня, а быть может, это ветром смело к пню набросанные на лиственную прель перья...

И радостью и страданием наполнилось сердце Павлова. Впервые поверил он сейчас, что близнецы здоровые ребята, они без труда осияют малую непрочность в грудной клетке и вырастут крепкими, надежными и добрыми людьми. Но почему ни сам он, ни жена не смогли подняться до простой веры в чудо, открывшееся их детям? Почему мать просто устранилась, а он, из бедной неспособности проникнуться их верой, измучил себя и обидел детей?

Близнецы в поисках птицы могли забрести и в эту часть леса. Павлов отыскал заостренный сук, выкопал неглубокую ямку в закисшей поверхности, а внутри твердой от заморозков земле и захоронил перья, набросав поверх прелые листья. Одно красное перышко Павлов взял с собой: он уже научил близнецов грубости недоверия и потому нуждался в вещественном доказательстве.

— Я видел вашу птицу, — сказал он ребятам, придя домой. — Она летела на юг и обронила перышко. Вот оно.

Старший из близнецов осторожно взял перышко, провел им по щеке и передал брату, тот повторил его жест.

— А долетит она? — задумчиво спросил младший.

— Она летела высоко, сильно, плавно, она обязательно долетит.

Браконьер

Петрищев проспал выход на рыбалку. В последние годы это случилось не редко, стоило ему хорошенько выпить. Так оно вышло и на этот раз. С Нерли, проездом в Москву, заглянули знакомые охотники. За добрым разговором и не заметили, как усидели четверть хлебного самогона. Охотники отправились на сеновал, он, вместо того чтобы забраться на печь, пошел к жене в чистую горницу. Нюшка золотая, хоть бы раз не приняла его за четверть века, совместно прожитого! Он, пьяный, грузный — девяносто килограммов чистого веса, — навалился на ее небольшое, подбористое, мягкое, горячее тело, а она не стрясла его прочь, не выскользнула, привычно открылась ему, оставаясь в тихом, глубоком сне. А сейчас, проснувшись от странного, беспокойного чувства, Петрищев обнаружил, что не израсходовал себя. И, зная, что это не ко времени, что ночь уже перевалила через гребень и давно пора выходить, он прижался к жене, обнял ее голову вместе с подушкой и, чувствуя всю ее безмерную родность, неиссякаемую милость, заплакал над ней из своего кривого глаза мелкими, как бисер, слезами.

Потом, гордясь своей легкостью, сладкой опустошенностью, он неуклюже топтался по горнице, отыскивая водолазный костюм, подаренный ему морским капитаном, старым их постояльцем, натягивал на себя этот костюм, приятно гладкий, скользкий, бледно-зеленоватой расцветки, тепло закутывал ноги в байковые портянки, вколачивал ступни в резиновые, выстланные сеном сапоги. На прорезиненный костюм он напялил

ватник и, попив из ведра заломившей зубы водицы, вышел в сени.

Здесь у него все было приготовлено загодя: фара с аккумулятором, сеть, две остроги: частая — на плотву, с редким зубом — на щуку, карманный электрический фонарик и ключи от бани, где хранился лодочный мотор. Ключи эти висели на гвозде под выключателем. Нашаривая их на стене в жучьих проедах, Петрищев, все еще не до конца владеющий слабым от водки и любви телом, сшиб с костыля пустую канистру. Она звучно ахнула своей пустой емкостью. И тут же, совсем рядом, послышался глубокий, печальный вздох и тяжелый переступ по хлюпкой грязи — это пробудилась в стойле Белянка, а из черноты сеновала выкатилась колобком по лестнице темная кургузая фигура.

— Чур, я с тобой! Чур, я с тобой! — затараторил Яша, московский охотник.

Петрищев терпеть не мог, если кто из гостей увязывался за ним в ночную пору. Помощи все равно не жди, только путаются под ногами. Сам виноват, надо было тишком уходить, не будить людей!

— Ладно... — проворчал он. — Только учти, охрана ноне зверует. Засыпешься — выручать не стану. Каждый сам за себя.

— А я не острожить, только поглядеть, — поспешно заверил Яша.

Они вышли на улицу. Ночь была черной, звездной, безлунной, но Петрищев чувствовал непрочность этой черноты, готовой вот-вот поддаться рассвету. Запозднил он, в рот ему дышло! Чего доброго, останется на праздники без горячего. Петрищев всегда обеспечивал себе первомайскую выпивку осторожным боем, а празднование Великого Октября — утиной охотой. В остальные дни он пил, только если поднесут, или с премиальных, или со случайных, непредвиденных доходов, но никогда не затрагивал ни зарплаты, ни основного капитала, хранившегося у Нюшки на трехпроцентном вкладе. Исключение составлял Новый год. Тогда они резали кабанчика, и выпивку ему ставила Нюшка от продажи сала и кровяных колбас. Живя так, Петрищев чувствовал себя крепко и спокойно. Хуже нет, если глава семьи пропивает деньги из зарплаты, тут

уж вся жизнь будет, как на трясине: то ли выстоишь, то ли потонешь в смрадной жиже.

Петрищев работал бригадиром грузчиков на текстильной фабрике в Лихославле. Он был на сдельщине и в хороший месяц брал до девяноста, ста рублей, но и в плохие не опускался ниже семидесяти. Жить можно, когда у тебя корова, боровок на откорме, куры, гуси, своя картошка да рыба даровая чуть не круглый год, опять же от московских рыбаков и охотников тоже кое-что перепадает за постой...

Они спустились огородами к баньке, стоявшей на самом обрыве берега. Под банькой угадывалось уплотнением тьмы длинное тело лодки. Петрищев нащупал кольцо на носу, подтянул лодку, сложил туда снаряжение, поймал на затопленном дне старую консервную банку и сунул ее Яше.

— Почерпай маленько.

Шагнув к баньке, он нащупал ржавый замок, без труда его отомкнул и, сильно нагнувшись под приолокой, ступил в предбанник. Здесь еще не выветрился теплый дух с мыльным привкусом — Нюшка топила нынче баню. Не могла, зараза, дожидаться завтрашнего дня, тогда бы вместе попарились, потеряли бы друг дружке спины. Кой толк ему сегодня было мыться, раз впереди еще рабочий день? Все равно увалешься, как свинья, текстильные грузы маркие. После работы он попарится вволю, чтоб тело просквозилось, отмякло и дышало на праздники всеми порами.

Петрищев забрал стоявший в углу тяжелый мотор «Москвич» и вышел наружу. Прижимая мотор к груди, он свободной рукой запер неподатливый замок. Яша исполнительно карябал жестянкой дно и сливал воду за борт.

— Дурило! — ласково упрекнул его Петрищев. — Так ты до утра провозишься.

Он повесил мотор на корму, взял у Яши банку и в десяток сильных и быстрых черпков осушил лодку. Затем принес схороненное под плетнем кормовое весло и, орудуя им, как шестом, вытолкнул лодку на стрежень неширокой речки. Лодку тут же подхватило течением и понесло к железнодорожному мосту. Бегунка была единственной речкой, вытекавшей из Кащеева озера, а не впадавшей в него. Петрищев рванул шнур,

и новенький мотор, радостно всхрипнув, примчиво завелся. Петрищев опустил винт в воду, лодка, будто ее взнуздали, стала против течения, высоко задрав нос, а потом легко, быстро побежала вперед по тяжелой, маслянисто разбегающейся под ее напором воде.

— Закуривай, — сказал Петрищев Яше и потянулся к нему большой, клещеватой рукой за хорошей московской папиросой.

Вынимая из коробки папиросу, Петрищев заметил, что Яшу трясет от холода. В который раз подивился он непригодности московских людей. Ничего-то они не умеют: ни воду вычерпать, ни лодкой править, ни места добычливого отыскать, им всегда то холодно, то жарко, то мокро, то ветрено, прямо беда!.. Петрищев был однажды в Москве, и город с его многолюдством, опасным движением, одуряющим шумом произвел на него давяще-сильное впечатление. С почтительным страхом глядел он на его обитателей, так ловко и отважно действующих в дьявольской кутерьме и неразберихе. Он исполнился высокого уважения к москвичам и не мог взять в толк, почему в простой сельской жизни они так мало сведущи и умелы. Что стоило Яше поверх ватного костюма надеть пальто или хотя бы плащ-палатку? Вышел угретый сном на улицу — тепло показалось, и уж не может смекнуть, что на реке промозжит до костей. А ведь не первый год сюда ездит!

Мотор работал на малых оборотах, но и приглушенный перестук цилиндров казался оглушительно громким в сонной тишине реки. Эта тишина творилась замершими берегами, где и малым шелухом не трогались ни лист, ни былинка, мостом, вобравшим под себя самую густую черноту, рекой с быстрым и неслышным течением, онемевшими заводями: не плеснет плотва, не ударит из глубины щука, не вспорхнет в лозняке камышевка. Все спало сейчас: люди в настывающих к утру избах, птицы на деревьях, рыба в воде. Утром река до самого озерного истока взорвется звенящим стрекотом плотвиной терки. Толстенные икрючки будут яростно тереться о водоросли, тресту, песок и берега, чтобы освободиться от переполняющей их бледно-розовой жизни. Взмутив воду вокруг себя белесым облачком, они скользнут прочь, враз обхудевшие, почти плос-

кие, и к облачку рванутся молочники. А сейчас и самцы и самки спят, недвижно повиснув в воде, и не чувствуют, как подбираются к ним в сияющем круге будто переломленные водой. зубья остроги. Тишина, мир и покой, царящие сейчас над водной гладью, обманчивы. Невслышно рассекают воду высокие носы кормовок, горящее смолье бросает рваный красный свет на поверхность воды, прожигая ее до самого дна, а на других лодках автомобильные фары создают в толще воды золотые круглые колодцы. В пожарную алость, в золото колодцев бесшумно погружается острога, подводится к спящей рыбе и с щучьей точностью вонзает хищные зубы в незащитное тело. Рыбу стряхивают в лодку, где она в предсмертных содроганиях истекает икрой, а острога вновь погружается в воду. Никакой удочкой за всю утреннюю зарю не наловишь столько, сколько за один час набьешь острогой. Беда лишь в том, что острожить рыбу запрещено.

Один заезжий ученый человек объяснял Петрищеву, что ловля удочками полезна для кашеевского водоема. Не вылавливай плотву, она расплодится так, что не хватит кислорода в воде, и вся рыба задохнется. Но осторожный бой вреден. Многие подранки уходят, болеют и, если не становятся добычей выдры, подыхают, гниют, заражая все вокруг себя, губя икру и молодь. Нынешняя убыль плотвы и щук в Кашеевском озере объясняется прежде всего осторожным боем и вообще хищническими способами ловли.

Рыбы, конечно, стало меньше, особенно если сравнить с довоенными годами, тогда плотву по весне руками ловили старухи да пацанье, взрослые мужики этим делом брезговали. Но, как говорится, на наш век хватит. Опять же и в щуке недостатка нет. Может, таких крокодилов, как прежде, на пуд с лишним, нынче не возьмешь, да ведь старая щука невкусная, травянистая, а хороших молодых щучек да щурят и сейчас за мое поживаешь. Зато почти исчезла рыба, на которую вольные рыбаки не посягали, только артельщики: корюшка, налим. То ли слишком рьяно ее отлавливали, то ли мор нашел, кто знает! Петрищев мало заботился этими вопросами, он вообще не любил рыбачить. Ему куда приятнее было в свободный час послушать радио или патефон, посмотреть картинки в «Огоньке».

Он занимался рыбалкой не для отдыха — для дела. А предался он этим мыслям просто от тревоги, что опоздал, что не один уже, верно, рыжий факел, не одна фара обрыскали озерное дно близ устья Бегунки; рыба забрана или распугана, и ему останутся поскребыши. Хорош он будет!

Петрищев быстро подсчитал: килограмм плотвы идет за семьдесят копеек, ему требуются три сосуда на каждый из трех дней праздника, еще сосуд клади в расчет Ньюшки и сосуд на случай гостя, — значит, он обязан взять двадцать пять килограммов рыбы.

Петрищев уверенно вел лодку сквозь кромешную тьму по крутым излучинам Бегунки. Тьма усиливалась нависшими над водой ивами, отсекавшими даже тот слабый свет, какой источало небо. Яша тоже закурил, и красная точка его папиросы казалась Петрищеву далеким светофором торфяной узкоколейки, связывающей поселок Наречье с Лихославлем. Вскоре впереди смутно вычернилась избушка лесничего. Они приближались к устью. Петрищев выключил мотор и, когда иссякла сила разгона, налег на кормовое весло. Они неслышно миновали лесникову усадьбу, где нередко обогревалась озерная охрана, скользнули в один из рукавов изрезанного отмелями широкого устья и вскоре вышли в озеро. Петрищев скулами почувствовал, что воздух здесь холоднее, чем на реке, — сиверко потягивает, — и усмехнулся над незадачливым Яшей. Его-то самого никакой стужью, никаким ветром не могло пробрать сквозь герметический водолазный костюм.

Справа от устья, невидная в темноте, простиралась далеко по береговой окружности густая треста. Между ней и берегом была полоса неглубокой чистой воды, где сподручнее всего острожить спящую плотву. Но Петрищев чутьем угадывал, что тут уже прошел не один знаток острожного боя. И хоть в тресте острожить несподручно, он все-таки погнался лодку туда.

Когда послышалось шуршание травы, Петрищев поднял отвороты резиновых сапог, затянул их ремешками на ляжках и вышел из лодки. Дно здесь было куда более вязким, нежели вблизи берега, ил присасывал сапоги. Значит, при каждом шаге вода будет взмучиваться, ухудшая видимость. Петрищев снова, в который раз, укорил себя за опоздание. Потеснив с носа

Яшу, он перетащил туда аккумулятор, установил его на узенькой скамейке, присоединил фару к клеммам и повесил на крючке, чтобы она светила вниз. Опять же, двигайся он вдоль и близ берега, охрана наверняка приняла бы его за мотоциклиста, а здесь, в отдалении от берега, никого в ошибку не введешь. Вокруг не было заметно ни одного огонька, видимо, «острожники» прошли за поросший соснами мыс, врезавшийся в озеро острым клином.

Фара уложила на воду не слишком обширный, но яркий круг. Над ним зареял голубоватый кур. Петрищев достал со дна челнока острогу и прошел вперед.

— Будешь лодку толкать, — сказал он Яше.

— Аг-га!.. — замерзшим голосом отозвался тот.

Яша неуклюже вылез, сильно накренив лодку, и взялся рукой за борт. Петрищев погрузил взгляд в просквоженную ярким светом воду. Дно почти не проглядывалось за густой растительностью, но между стеблями резун-травы, камышинками и остроцом темнели плотвиные спинки. А вот мелькнул и серебристый бочок вспугнутой плотицы. Рыба, конечно, была, только брать ее здесь не с руки. Петрищев опустил в воду острожку челюсть, сразу же будто задравшую кверху зубья, и, привычно делая поправку на преломление, клюнул спинку плотицы. Он потянул острогу из воды, но рыба запуталась в тресте и соскочила. Он видел, как, слабо вильнув хвостом, она ушла на дно, в плетение водорослей. Конечно, она там быстро сохнет, только Петрищеву с того мало радости. Вот почему погано острожить в тресте: и целить неудобно, а пуще того — брать. Тут и впрямь много рыбы зря испортишь. А главное, время даром теряется. Петрищев ткнул острогой в довольно крупную плотву и с досады промахнулся, зарыл зубья в ил. Обругав себя, Петрищев поболтал острогой в воде, чтобы смыть грязь, а затем точным движением наколол подъязка. Снял его, приятно тяжеленького, льдисто холодного, и кинул в лодку. Он услышал, как подъязок шмякнулся на дно, а потом забился, заплескался в скопившейся там воде.

Яша подвинул лодку вперед, круглое пятно света сместилось и высветило новый участок озерного дна. Здесь в перепутанице трав была чистая проплешина,

и в ней, как на нитках, висели три крупные плотицы. Петрищев взял их одну за другой. Затем он обнаружил еще плотицу, но поторопился и только задел ее зубьями, рыба метнулась прочь, а кверху всплыло несколько чешуек. Когда осел баламут, Петрищев увидел, что плотица стала неподалеку от места своего ранения. Пустив острогу на всю длину, он сбоку наколот рыбу, да не соразмерил удара, голова напрочь отлетела. Таковую покупатель не возьмет, и Петрищев, содрав с зубьев искалеченное рыбе тельце, швырнул его прочь.

Он двинулся дальше и чуть не наступил на драгоценно сверкнувшее из песка донце водочной бутылки. Он поддел его острогой и вытащил наружу. Края у донца были острее зубьев остроги, только наступи — порвет резиновую подошву к чертовой матери! «Вот люди, — с горечью подумал Петрищев, — ведь нарочно, дьяволы, отбили да бросили! Ну что за охота гадить другим, когда даже не увидишь, как твоя подлость сработала?» Он размахнулся и швырнул донце на берег, всплеска не услышал, значит, долетело.

И тут Петрищеву смутно толкнулось в душу ощущение какого-то неблагополучия. Он не понимал, откуда пришло это тягостное чувство: то ли оттого, что у него все как-то не ладилось нынче, он опоздал и потому был вынужден ковыряться в тресте, часто промахивался, портил рыбу; то ли вредное донце виновато... Все окружающее стало подозрительным, ненадежным, казалось, на каждом шагу тебя подстерегает такое вот иззубренное донце.

Петрищев пытался стряхнуть с себя эти расслабляющие мысли, но они лепились к нему, как паутина к щетке. Хоть бы Яшка чего сказал, отвлек на веселое, несерьезное.

— Яшка — живой?

— Не совсем... — продрожало в тишине.

— Держись, казак, атаманом будешь!

Петрищев хрипло, толчками, засмеялся. Он слышал эту звонкую, едко-насмешливую фразу третьего дня в городе от шофера самосвала и все время мечтал применить ее к месту.

Они медленно продвигались в тресте, порой Петрищев стряхивал в лодку наколотую рыбу. Он перестал

тюкать рыб, забившихся в траву, они все равно соскальзывали с зубьев при попытке их вынуть. Прошло не меньше часа, а сколько он взял: килограмма четыре, пять? Если так дальше пойдет, он и на две бутылки не наскребет.

Холодный северо-восточный ветер дул с прежним тихим упорством. Он выбисерил слезы из его кривого глаза, и они неприятно холодными струйками текли по щеке. Петрищев утер щеку, достал из кармана чистую тряпочку, осторожно протер больной глаз и, когда отнял тряпочку от лица, увидел невесть откуда взявшуюся моторную лодку с электрическим фонарем на носу. Лодка шла с открытой воды к берегу.

Свой брат-острожник не зажжет даром фонаря, да и не станет отдаляться от берега — на глубине рыбы не возьмешь. Кроме того, то не фара горела, а специальный фонарь с рефлектором, кидавший впереди себя длинный прожекторный луч. Начальство из города? Едва ли, начальство приезжает обычно в самый канун праздников, а завтра рабочий день. Охрана? Черт ее знает, охрана любит подкрадываться исподволь, а не оповещать о себе иллюминацией. Да и нечего здесь делать охране: все браконьеры сейчас за мысом. Неужто из-за него одного мчитя сюда сторожевой катерок? Чудно! Но береженого бог бережет. Надо выключить фару, чаще всего в таких случаях охрана поворачивает назад. Петрищев сдернул провода с клемм, погас круг на воде, тьма сомкнулась вокруг лодки. Ярче разгорелся долгий луч приближающейся моторки. Если это городские начальники, лихорадочно соображал Петрищев, то им следует забрать много левее, к устью. На кой ляд им в тресту переть? Они ловят возле лесниковой усадьбы. Ясно, это охрана, и метит она прямо в него!

Он швырнул острогу в лодку и крикнул Яше:

— Давай к берегу!

Они быстро развернули тяжелую лодку. Если успеть выбросить рыбу и закинуть подальше на берег остроги, ни хрена с ним не сделаешь. Можно даже не выбрасывать рыбу, он так мало надобычил, что охрана не станет придирааться. К ответу тягают, если лодка набита рыбой. Тогда отбирают и улов и снасти, лодку цепляют на буксир и уводят в город. Походи-ка за ней,

поканючь!.. Иногда возвращают за так, за детские слезы, иногда приходится дать в лапу на маленькую, а коли угодишь в недобрый час, так могут и настоящий штраф содрать! Только этого не хватало! Петрищев даже вспотел в своем непроницаемом костюме. А на водку не заработать и со своими пречистыми расстаться — это, знаете ли, маком!.. Тогда он завалится острожить на всю ночь, чтоб уж и на водку и на штраф хватило. И какого лешего охрану пригнало сюда? Вот уж не заладилось, так не заладилось! Нечего сопли пускать, надо спасать лодку.

— Давай, Яшка, быстрее!

Луч фонаря уже дважды скользнул по их фигурам, — похоже, им двигала ищущая рука. Все же за трестой они не особо приметны, может, пронесет?

Они уже вышли из тресты, когда с берега неожиданно и страшно в лицо им хлестнул слепящий луч. Большой электрический фонарь, силой едва ли уступающий фаре, обдал их тугим, как струя из брандспойта, светом, заставившим попятиться, словно он и в самом деле обладал силой давления. Их отрезали от берега. Это была настоящая облава, и Петрищева охватил страх. Ему показалось, что и справа, и слева, и в прибрежных кустах, и в осиннике близ устья — всюду притаились озерные сторожа, собранные со всей округи с единственной целью поймать и заневолить его, Петрищева.

— Беги! — крикнул он Яше, и сам ринулся к берегу, прямо на луч фонаря.

Пробежав по воде несколько метров, он вдруг сообразил, что делает глупость, и резко метнулся прочь, сбросив с себя серебрящийся на резиновом комбинезоне свет.

• Надо достичь устья, там он запутает идущих берегом сторожей, а катеру не пробиться в обмелевших узких рукавах. Конечно, охране достанется лодка, но он скажет, что лодку у него угнали, докажи, что не так! Погано, если Яшку схватят, он не со зла, а сдуру может наболтать лишнего. И тут Петрищева настиг луч с озера. Он с размаху распластался на дне. Вода накрыла его, только рожу пришлось высунуть, чтобы не захлебнуться. Была б камышинка, он бы и голову схоронил. Трудно двигая шей, он оглянулся, нет ли

поблизости какого-нибудь трубчатого стебелька, но, кроме сухой, крошащейся от прикосновения, плоской лещуги, ничего под руку не попадалось. Ну ладно, голова у него не больно велика, авось не заметят. Он отфыркнул короткий смешок и вдруг обнаружил, что, подобно гигантской рыбине, лежит посреди яркого светового круга. Казалось, кто-то ростом до звезд занес над ним острогу, чтобы наколоть и стряхнуть, окровавленного, с перебитым позвоночником, на дно громадной лодки, где уже задыхаются в вонючей жиже другие жертвы. Впервые Петрищев ощутил сочувствие к рыбам, которых он безжалостно поражал острогой; он вдруг понял, что это такое, когда в живое тело входит острый металл и ты из тихого сна переносишься в явь мучительного умирания. Его передернуло под лягушечьей шкурой, он вскочил и ринулся к берегу.

Свет не отпускал его. Петрищев казался себе факелом, ослепительно полыхающим посреди ночи. Он оступился, упал, и, быть может, оттого, что движение это было произвольным, луч потерял его, соскользнул вправо, потом забегал по воде, задевая край берега с лозняком и молодой, изумрудной травой. Петрищев пополз по дну, надеясь добраться до песчаной косицы и за ветлами уйти в лес. С озера и с берега два ярких снопа света обрыскивали воду и сушу, порой скрещивались, пронзительно вспыхивая в перекрестье, и снова расходились; лучи то вытягивались, бледнея, то сокращались, наливаясь яркостью. Петрищев увидел, что охрана уже завладела лодкой, кто-то осматривает остроги, кто-то шурует на дне, и был среди охранников милиционер в форме, и он потянул с носа цепь, чтобы взять лодку на буксир.

«А ну как впрямь отберут лодку!» — взрыднулось в Петрищеве. Такую чудную лодку с новеньким мотором «Москвич»! Не может того быть, чтоб из-за паршивой плотвы трудящегося человека лишили имущества. Он потом и мозолями заработал себе на мотор. Он всех распатронит, горло перегрызет, если ему не вернут мотора. Пусть забирают сеть, остроги, фару с аккумулятором, даже лодку, хрен с ней, он другую сделает, дерева кругом хватает, но мотор ему обязаны вернуть. У него мелькнула мысль встать и отдаться под стражу, но что-то в повадке охранников, в их на-

стырности и коварстве страшило его, и он не мог заставить себя добровольно принять плен. Он продолжал ползти к берегу. Удрать выгоднее, тогда он ото всего отстрется и, глядишь, вернет и лодку, и всю снасть.

Он уже приближался к берегу, когда его опять нащупали с озера. «Да отвяжитесь, дьяволы! — жалко подумалось ему. — Въелись, как клещ в мошонку!..» Большой, грузный человек в неудобной тяжелой одежде вновь заметался, как обложенный загонщиками волк.

Он не знал, что газеты выступили по поводу истребления рыбы в Кашеевом озере и началась небывалая по решительности кампания в защиту озерной фауны. Не знал он также, что «факельщики», которых настигли за мысом, после жестокой драки сумели уйти, сломав нос одному из сторожей, а у милиционера выгнав кровь из уха. Охране достались лишь боевые трофеи: лодки, набитые рыбой, да остроги, а ей необходим был хоть один пленный, чтобы завести судебное дело и дать суровый урок окрестным хищникам. К этому примешивалась вполне понятная злость и жажда расплаты. Оттого и были они сейчас так неумолимо настойчивы.

Петрищев не знал всего этого и потому сохранял надежду на спасение. Он, случалось, и раньше засыпался, но всегда уходил от расплаты, авось уйдет и на этот раз. Он снова вырвался из губительного света, снова зарылся в мягкий ил и пополз по дну. Вскоре илистое дно сменилось твердым песком. Петрищев присел на корточки, вглядываясь в берег. Ночь была на исходе, уже отчетливо различимы стали и кусты, и деревья, и строение берега, где плоского, почти ровень с водой, а где и крутого. Он примеривался к броску. И справа и слева от него по воде, по камышам, по лещуге бегали ищущие лучи. Надо было торопиться. Петрищев заметил щель в лозняке, руслице весеннего ручья, и устремился туда. Он уже достиг берега, когда прямо из этой щели, дико и страшно, как в бреду, в лицо ему ударил свет карманного фонаря. Как оказался там преследователь, не было времени соображать. Петрищев метнулся в сторону и попал в луч фонаря движущейся берегом охраны. Он кинулся к воде, и в него уперся мощный сноп лодочной фары. В перехвате этих лучей Петрищев как-то очумел, забылся разумом. Им

овладел безумный страх, словно в предчувствии гибели. Он не сознавал, ни где он, ни с кем имеет дело. Сияющая смерть надвигалась со всех сторон, и он кинулся туда, где напор света был меньше, к ручьевому руслу.

Петрищев мчался прямо на сторожа, но тот не посторонился, и они больно столкнулись. Петрищев был крупнее, тяжелее, сторож отлетел назад. Все же он удержался на ногах и вновь заступил дорогу Петрищеву. Тогда, все так же плохо соображая, что делает, Петрищев ударил его кулаком в висок. Сторож охнул, присел, зажав голову руками. Петрищев ринулся мимо него, но сторож схватил его за ноги и опрокинул на землю. Петрищев высвободил ногу, лягнул врага в живот, хотел вскочить, но уже подоспели другие охранники. Они скопом навалились на Петрищева, стали ломать ему руки, и он, совсем обезумев, лупцевал их по чему попало, бил ногами, головой, пытался укусить.

Силы были неравны. Петрищеву изрядно намяли бока, разбили нос и связали руки за спиной. Он лежал, придавленный охранниками, его лицо вмялось в закисшую землю, и он ничего не видел, потому что наружу глядел его кривой глаз.

— Успокоился? — слышался чей-то голос.

— Успокоился, — прохрипел Петрищев.

Его сразу развязали, помогли встать на ноги. Он высморкал кровь и пальцами прочистил глазницу.

— Петрищев, кривой черт! — как-то обрадованно проговорил милиционер. — Ну, это матерый хищник!

— Документы есть? — спросил рослый человек в плаще, и Петрищев узнал районного прокурора.

Кроме прокурора, милиционера и двух озерных сторожей в облаве участвовали: директор банка, завуч вечерней школы, брандмейстер пожарной команды. Общественность, в рот ей дышло!

— Нету, — сказал Петрищев.

— Придется в город вести, — вздохнул прокурор.

— А чего мне там делать? — поспешно сказал Петрищев. — Я свою личность подтверждаю. Петрищев Павел Иванович, проживаю в поселке Нарочь, работаю в городе на текстильной фабрике.

Только что пережитый ужас исчез, теперь ему было лишь досадно и стыдно, что он, пожилой, знающий себе цену человек, бригадир грузчиков, удирал, как мальчишка, вступил в драку и был побит, брошен в грязь и связан.

— Подпиши, — сказал милиционер и протянул Петрищеву тетрадочный листок, исписанный косым, круглым почерком.

Петрищев, не читая, подписал. Ему хотелось лишь одного — чтоб его скорей отпустили.

— Снимай костюм, — сказал милиционер.

— Еще чего! — завел было Петрищев, но его тут же грубо схватили за руки, и, не желая снова пахать мордой грязь, он поспешно принялся стягивать водолазный костюм.

— Костюм тоже принадлежит к вашему браконьерскому снаряжению, — вежливо пояснил прокурор.

Горестно вздыхая, Петрищев разоблачился, и, хотя на нем осталась хорошая ватная одежда, его прямо-таки затрясло от холода.

— Пошли, — сказал прокурор.

Люди не спеша зашлепали по воде к моторке. Милиционер нес водолазный костюм, перекинув его через плечо, бледный свет зари растекался по зеленоватой резине, и Петрищеву казалось, будто с него живьем содрали кожу...

Пока он плелся болотистым левым берегом домой, с трудом выпрастывая ноги из торфяной топи, пока переходил по железнодорожному мосту реку — как на грех маневрировала торфяная «кукушка», — совсем рассвело, и Нюшка уже доила Белянку в хлеву.

Она все знала: Яша, этот московский слабак и шляпа, преспокойно ушел от охраны и принес домой горестную весть. Увидев мужа, Нюшка сделала попытку зареветь, но Петрищев прикрикнул зло: «Молчи, без тебя тошно!», и Нюшка, сразу согнав с лица плаксивую гримасу, деловито спросила:

— Мотор возвернут?

— Должны вернуть, — проворчал Петрищев, и тут громадность потери больно ударила его в грудь. Он сказал жалостно: — Надо же, лодка, остроги, фара, аккумуляторы, водолазный костюм — все пропало!

— Ничего, — хорошим, твердым и веселым голосом заговорила Нюшка. — Эка, подумаешь, беда! Живы будем, не помрем. Нешто ты впервой лодку теряешь? А вспомни позапрошлый год.

Позапрошлый год его затерло внезапно надвинувшимся от Лихославля льдом в той же заводи, где он сегодня попался. Ледовые торосы забили устье, пришлось бросить лодку. Мотор он, конечно, забрал с собой, но, когда через несколько дней пришел за лодкой, от нее остался лишь ржавый черпак. Льды раздавили лодку, а сторожа и другие местные люди растащили ее деревянный остов. В этой потере была повинна прежде всего стихия, и оттого Петрищев не ощущал нынешней злой досады. Сейчас он больше всего злился на себя, что так опростоволосился, не сумел уйти, и все же Нюшкины слова нашли путь к его сердцу.

— Вечером достану острогу и схожу пешкодралом.

Нюшка закрутила головой, выражая удивление перед его несокрушимостью.

— А ты думала!.. Не позволю, чтоб мне праздники изгадили!

Нюшка вышла из хлева, держа в напрягшейся руке ведро с молоком, желтоватым от жира.

— Костюм водолазный жалко, — капризно сказал Петрищев: ему показалось, что Нюшка чересчур легко приняла его неудачу. Мужество мужеством, но маленько посочувствовать тоже надо.

— Да будет тебе! — отмахнулась Нюшка. — Ты денег за него не платил. А может, они только пострадать тебя хотят, после отдадут?

— Кто их, дьяволов, разберет!

Помимо толстенной яичницы на сале Нюшка напекла к завтраку больших ватрушек с творогом. Петрищев любил творожные пироги, у него заметно поднялось настроение. Раздражало его лишь присутствие за столом Яшки, дуrom ушедшего от облавы, но и Яшка почти примирил его с собой, выставив бутылку кубанской. Петрищев перед работой не пил, но, в виде исключения, позволил себе стаканчик. От бессонницы и переживаний его малость повело, и он стал рассказывать московским гостям о ночном приключении. Как долго и ловко морочил он охрану, как вlepил одному, засветил другому, въехал третьему. Охотники смея-

лись, и Петрищев бисерил из своего кривого глаза, а затем вдруг помрачнел, вспомнив, что в результате всех победных действий остался без рыбы, без снасти и без лодки.

Петрищев круто оборвал разговор и, скинув резиновые сапоги, прошел в горницу, достал из раствора стеклянный глаз, вложил его в глазницу — глаз отличался от своего живого собрата, был синее, ярче, — натянул кирзовые сапоги, парусиновую спецовку и вышел. Он направился к мосту ловить «кукушку», идущую в город.

Вечером он отправился к соседям за острогой. Дома находился лишь младший представитель семьи, шестнадцатилетний Коляка. Несмотря на юный возраст, Коляка по праву считался отчаянным — на прошлой масленице он в драке разорвал рот путевому обходчику. Коляка стал ломаться, уверять, что острога ему самому необходима, но в конце концов согласился уступить ее на сегодняшнюю ночь за «маленькую». Петрищева прямо в пот кинуло от такого наглого требования, он еще и рыбы не наловил, а уж раскошеливайся!

— Ты что, совсем с шариков съехал? — тихо и грустно спросил он Коляку. — Не знаешь, какая беда меня постигла?

— А вы не кричите, — опасным голосом завел Коляка. — Нечего вам кричать!

Когда он начинал свое «не кричите», лучше сворачивать разговор. Он мог и в волосы вцепиться, и в глаза наплевать, и ножом пырнуть. Петрищев дрожащими руками достал из кармана мятый рубль, мелочь и шмякнул на стол.

— Подавись, змееныш!

— Не пойдет, — сказал Коляка, — мне чтоб с доставкой на дом!

Но тут уж Петрищев наградил его таким взглядом, что Коляка, при всей своей наглости, поджал хвост.

— Ладно... В сенях острога...

Тем временем Нюшка набила смолья в «козу» — железную клеть на деревянном шесте. Петрищев потребовал от Яшки, чтобы тот таскал за ним факел. По странному ходу мысли, ему стало казаться, будто Яшка

как-то причастен к его неудаче, и он считал, что тот должен искупить свою вину. На этот раз Петрищев не терял времени ни на выпивку, ни на любовь, — как только стемнело, сразу направился в путь.

На озере было пусто. Петрищев, не осведомленный о событиях прошлой ночи, решил, что остальные рыбаки обловились выше горла. Он остро им позавидовал, поскорее разжег смолье и, вручив Яшке факел, вошел в воду. На шее у него висел мешок, в который он намеревался складывать пойманную рыбу. Но не успел Петрищев приглядеться к озаренному рваным пламенем дну, как их окликнули с берега. Петрищев оглянулся и чуть не заплакал. На берегу стояли озерный сторож Михеич, вчерашний милиционер и еще какой-то рослый незнакомый дядя. Зашипев, погасло опрокинутое Яшей в озеро смолье. Будто черной тушью залило простор. Петрищев кинулся бежать, но наступил на мешок и упал в воду. Когда он поднялся, его уже цепко придерживали за локти.

— Ты что, совсем сдурел? — плачущим голосом сказал Михеич. — Мало тебе вчерашнего?

— Я аж глазам своим не поверил, — возбужденно говорил милиционер. — Неужто, думаю, опять этот крокодил? Вот народ — ни стыда ни совести!

Петрищев молчал. Кой толк было объяснять этим людям, что несправедливо с одного тела две шкуры драть. Он уже раз пострадал, так имейте совесть, отпустите с миром бедного человека! Ощущение было такое, будто его обыграли в пух и в прах краплеными картами, доказать ничего нельзя, но обида и злость прдирают до кишок.

— Подпиши, — по-давешнему сказал милиционер, и снова Петрищев, не читая, подписал протокол о своем задержании во время незаконной ловли рыбы.

— Смотри, Петрищев, допрыгаешься до тюрьги, — не зло, а скорей жалеючи сказал сторож, и вся компания пошла прочь, не поленившись предварительно сломать шест от «козы». Острогу забрал милиционер.

Петрищев с бешенством подумал, что Яшка опять сумел удрать.

Ночью Петрищеву казалось, что он тяжело заболевает. Его знобило, и все тулупы и одеяла, наваленные

на него Ньюшкой, не помогли ему согреться. Все же к утру он задремал, а когда проснулся в десятом часу, то чувствовал себя хоть и ослабевшим, но вполне здоровым. Он не стал распространяться о вчерашнем, только сказал жене:

— Чтоб этого еврейчика здесь духу не было... Да и остальным скажи, пусть отчаливают... Не желаю...

Но московские охотники и сами решили не беспокоить огорченного хозяина, они убрались подобру-поздорову раньше, чем Ньюшка успела их турнуть.

Золотая все-таки женщина Ньюшка! Когда Петрищев, шаркая ногами от слабости и душевного угнетения, прошел в кухню, на праздничном столе среди пирогов, ватрушек, всевозможных копчений и солений стояла поллитровка. Из своих хозяйственных денег расщедрилась Ньюшка. И хотя это такая малость — одна поллитровка на все долгие праздники, растроганный добротой жены Петрищев несколько окреп духом и решил бороться за себя.

Праздники прошли тускло. Заезжал, правда, Ньюшкин брат с домашним вином, но это не разогнало мрачности Петрищева. Он привык на праздники пить свое да и людей угощать, а не чужой милостью пробавляться. Он был рад, когда праздники кончились, схлынул поток приезжих, заполнивших все берега, каждый клочок твердой земли в заболоченных лесах, каждую избу и сарай. Один Петрищев не пускал на праздники постояльцев. В эти дни он жил только для себя и даже в несчастье не захотел менять установленного порядка.

А в первый же будний день после работы он заехал к Михеичу прощекотать старика насчет возвращения лодки и снасти.

— Ты и думать об этом забудь! — огорошил его Михеич. — Может, кабы другой раз не попался... А сейчас — все, жди повестку в суд.

— Какой еще суд? Ты сдурел, что ли, Михеич? Если за это судить, так весь район, чего ж меня-то одного?

— Весь район не попался, а ты попался. Тебя показательным судить будут, чтоб другим было неповадно.

— Помоги, Михеич, хоть мотор вернуть, — вздохнув, сказал Петрищев, — за мной не пропадет.

Но Михеич только руками замахал.

— Глупый ты, Петрищев, хуже дурки. Ступай себе с богом!

Михеич как в воду глядел: Петрищева вызвали в суд. Памятуя, что пожилой судья Степан Степанович был страстным рыболовом и тонким ценителем ухи, Петрищев прихватил для него свежей рыбы, в знак уважения. Но, приехав в суд, с огорчением обнаружил, что старый судья давно вышел на пенсию, а по их участку судит молодая женщина с красивым лицом и тонкими губами. Вот что значит опускать в урну бюллетень, не глянув, что там написано, — Петрищев сам голосовал за новую судью.

— Чего это селедкой запахло? — сказала судьяха, брезгливо скривив тонкие губы.

Петрищев стыдливо сунул под табурет авоську с рыбой. Дни стояли по-летнему жаркие, и, пока он добирался до города, рыба не то чтобы испортилась, но пустила крепкий душок. Конечно, такой мамзели-фриказели не предложишь на ушицу. Если уж человеку раз не повезло, так не повезет во всем.

Судьяха показала Петрищеву разные бумаги: акты о задержании и какие-то судебские заключения. На основании этих бумаг, сообщила судьяха, его будут судить за браконьерство. Петрищев выслушал ее спокойно, спорить не стал: разве баба понимает в рыбалке и местных промысловых обычаях? Он только предупредил, чтоб в дневное время суда не устраивали, он работает на сдельщине и не намерен терять деньги, он и так довольно пострадал.

— Пусть суд как хочет решает, а чтоб мотор мне вернуть! — строго сказал Петрищев, еще раз вспомнив, что эта молодая женщина обязана и ему своим высоким постом.

Судьяха как-то странно поглядела на Петрищева, ее тонкие губы словно бы чуть вспухли.

— Вам полагается защитник. Посоветуйтесь с ним, хорошенько посоветуйтесь, — сказала она почти ласково.

Защитник попался Петрищеву бестолковый. Даром,

что с лысиной и в очках, но без всякого понятия. Он ни черта не смыслил в рыбалке, острогу называл «трезубцем», хотя у нее восемь зубьев, лодку — «челноком», подъемник — «неводом». Он наговорил Петрищеву ворох страстей: ему чуть ли не тюрьма грозит за то, что он багрил рыбу. Петрищев усмехнулся, слушая адвокатскую чушь. Если за такое сажать, тогда полрайона в тюрьме окажется.

— При чем тут полрайона! — воскликнул адвокат. — Накрыли-то на месте преступления вас одного!

Этот довод не проник в сознание Петрищева. Почему отвечать должен он один, когда браконьерили все? Острогами пользовались и поселковые рыболовы, и городские, и даже приезжие из столицы. Неужели только из-за того, что он попался, а другим удалось бежать, наказание ляжет на него одного? Природное чувство справедливости бурно восставало в Петрищеве против подобного беззакония. Если уж отвечать, так всем, это будет по чести и совести. Но, похоже, никого больше привлекать не собирались, значит, отпустят и его, покуражатся и отпустят.

Адвокат тщетно пытался объяснить Петрищеву: взятому с поличным нарушителю не может служить оправданием, что другим преступникам удалось скрыться. Петрищев посмеивался про себя: адвокат был навязан ему от суда, значит, он тоже принадлежит вражескому стану и потому пытается его запугать. Но одно понял он крепко к концу их долгого, скучного собеседования: лодку, снасть, мотор и водолазный костюм ему не вернут. Мало того, думал он, холодея, тут попахивает крупным штрафом. Сколько же сдерут с него, душегубы, за два десятка плотичек? Небось не по рыночной цене, а вкатят рублей тридцать, мать честная! Такую пропасть деньжищ придется уплатить ко всем уже понесенным потерям за эту паршивую горстку! Ну нет, он в Москву поедет, он до главного прокурора дойдет!

Петрищев так расстроился, что совсем перестал слушать адвоката. Позже он вспомнил, что адвокат зачем-то расспрашивал, не зашибал ли покойный родитель, и про него самого: не был ли он контужен на войне, не страдает ли головокружениями или бессонницей? Это еще к чему?

И когда через некоторое время адвокат прислал ему открытку с приглашением явиться для новых разговоров, Петрищев не отозвался. Он поехал прямо в суд, состоявшийся, к удивлению, скоро — еще не вся грязнуха отнерестилась. Нюшка велела ему побриться, надеть белую рубашку в тонкую голубую полоску и новый синий, в лиловость, ватник. Крахмальный, жесткий воротничок рубашки Нюшка скрепила круглой медной запонкой, больно укусившей ему кожу на шее, когда запонка проходила в узенькую петельку. Необмявшийся ватник сидел колом, но Петрищев чувствовал себя нарядным и миловидным, на нем были новые суконные брюки, до блеска начищенные сапоги с хромовыми голенищами, в глазнице горел ярко-голубой глаз.

Нюшка, конечно, поехала вместе с ним. Они проголосовали на мосту торфяной «кукушке» с прицепным пассажирским вагончиком, машинист притормозил, и они забрались на высокую подножку. Петрищев чуть не угодил под колеса: новый ватник жал ему в проймах. Он указал Нюшке на этот недостаток и велел по возвращении распустить проймы. «Нашел, о чем заботиться, — ворчливо сказала Нюшка, — подумал бы лучше, чего суду будешь говорить». А чего об этом думать? Врать он не собирается, а суду и самому должно быть ясно, что нельзя засуживать одного человека за общую вину.

Петрищев подмигнул Нюшке своим блестящим глазом, но не согнал озабоченного выражения с ее лица и стал смотреть в окошко — на реку с ветряным, синестальным блеском по стрежню, на курчаво зазеленевшие ивы, свежую, сочную осоковатую траву, покрывшую берега Бегунки. День был солнечный, яркий, блистающий от ветра. Над приречной луговиной парил луговой лунь, как кипень белый, с темной каймой на широких крыльях; можногий канюк сидел на верхушке телеграфного столба, недвижимый, будто из камня, но вдруг наклонился и скользнул к земле, распахнув крылья; над водой носились чайки, сизокрылые, с черной головкой; садясь на воду, они вытягивали шейки и озирались с чирячьим любопытством. Во всем, что Петрищев наблюдал из окна поезда, было много вольной, свободной жизни, и ему впервые захотелось, что-

бы суд, которому он не слишком придавал значения, остался позади.

Многие знакомые Петрицева и по работе, и по рыбалке, и просто по соседскому жительству пришли на его процесс. Петрицев пригоголился, надо же оправдать оказанную ему честь — представлять кашеевских рыболовов перед лицом закона. Он вертелся, подмигивал женщинам, расточал щербатые улыбки, приветственно махал рукой, немножко позируя, играя в эдакого удальца, сорвиголову, пока Нюшка не ткнула его кулаком в бок.

— Чему ты радуешься, глупый?

А потом произошло маленькое событие, круто выбившее Петрицева из его бодрого настроения. Открыв заседание, судьях велела Петрицеву пересесть на скамью подсудимых. Петрицев усмешливо огляделся по сторонам, крикнул, но не двинулся с места. Судьях повторила свои слова.

— А мне и здесь хорошо! — крикнул он дерзко.

И сразу же, раздвигая толпу, к нему двинулись два милиционера. Конечно, он не стал ждать, когда милиционеры начнут хватать его за руки, и сам быстренько пересел на крашеную охрой, облупившуюся скамью, сбоку от судейского стола. И едва он опустился на эту скамью и ощутил свою обособленность от толпы, набившейся в судебную комнату, свою разлученность с Нюшкой, что-то сломалось у него внутри. Он перестал чувствовать себя пригожим и нарядным, застеснялся и своего нового яркого ватника, и белой рубашки с красивой горловой пуговицей, и того, что весь он на виду. А главное, он перестал верить в благополучный исход суда. Он уже был отчислен от своих земляков, еще ничего не доказано, а между ним и всеми другими людьми пролегло пространство пустоты. И пустота эта может свободно растянуться на километры, на десятки, сотни, тысячи километров. Петрицев вспотел. Он охотно снял бы ватник, но боялся, что это не положено.

Он пытался уверить себя, что страх его беспричинен. Ну поговорят, посрамят, ну накажут штрафом, эка беда! Живы будем, не помрем! Отработаем штраф, наживем новую лодку, мотор и снасть. Петрицева уди-

вило, как быстро смирился он со всеми своими потерями. Еще недавно он сожалел об отобранной рыбе, а теперь уже и на денежный штраф согласен, только бы вернуться к обычной жизни. Неужто и впрямь ему грозит что-то худшее? Принудработы за браконьерство и пятнадцать суток за мелкое хулиганство — как-никак, а он сопротивлялся охранникам! Пятнадцать суток! Петрищева передернуло. Пятнадцать суток без дома, без жены, без реки, без привычной работы! Да и стыдно на старости лет убирать дерьмо на глазах всего города. Он же бригадир, у него восемь Похвальных грамот висит на стенах.

Ему мучительно захотелось назад, к Нюшке. Вот она сидит совсем рядом, а не достать! Тянет голову кверху, чтобы не проронить ни одного судыхина слова, и глаза у нее большие и жалкие, а вокруг них лицо словно провалилось. Они прожили вместе без малого четверть века и, кроме года войны, видели друг дружку каждый день и каждую ночь, спали в одной постели. И он не хочет, не может пятнадцать дней и пятнадцать ночей обходиться без Нюшки. У него никогда никого не было, кроме нее, он даже помыслить не мог о других женщинах, хоть матерился в мужской компании не хуже приятелей, но стоило ему только представить себя с другой женщиной, как к горлу подкатывала рвота. Если б хоть он мог сидеть рядом с ней, держать ее за руку, слушать родной запах и готовить себя к возможной разлуке, все бы еще ничего. Но его оторвали от Нюшки слишком внезапно, он не был к этому подготовлен и потому одурел. Он словно погрузился в слуховой туман, самые простые слова не достигали его слуха. «Что?», «Чего?» — то и дело переспрашивал он судыху.

— Ишь придуряется! — послышался из зала чей-то восхищенный голос.

Но Петрищев и не думал придуряться. Он падал, падал в бездонную черноту и ничего не ощущал, кроме ужаса падения, в ушах его стояли свист и шорох и, нисколько не прибавляя к его страху, доносились до него перой вопросы судыхи и свидетелей: морщинистого майора-отставника и красивого, седеющего директора фабрики киноплёнки, речь прокурора, перечислявшего все его прошлые злодеяния и нынешние грехи и

потребовавшего трех лет лишения свободы, бессвязное выступление защитника, вспомнившего зачем-то его отца-алкоголика, Похвальные грамоты за работу, стеклянный глаз и даже то, что он окончил всего три класса школы — словом, осраившего его хуже некуда.

— Суд удаляется на совещание! — объявила судья.

Петрищев достал из кармана чистый носовой платок, утер лицо, шею и за ушами. Платок стал мокрым, хоть выжимай.

Народные заседатели следом за судьей прошли в совещательную комнату. Суд располагался в первом — вровень с землей — этаже старинного торгового здания. Запах дезинфекции не мог совсем приглушить прежний сладко-тошный аромат хранившихся здесь колониальных товаров. Совещательная комната глядела окнами на тихий задний дворик, и в распахнутые окна широко входил чистый запах весны. Это так обрадовало народного заседателя Кметя, что он сказал не совсем уместным, радостно-легкомысленным голосом:

— Ну и речугу толкнул защитник! Выходит, если у тебя отец алкоголик, а сам ты недоучка, но работага, то можешь браконьерить сколько душе угодно!

Судья никак не отозвалась. Она достала из сумочки сигарету, нетерпеливо, ломая спички, прикурила и жадно, так, что раздулись тонкие ноздри, затянулась. Кметь обиделся. Эта девчонка слишком много себе позволяет. Начать с того, что она пришла в суд с опозданием на полчаса и даже не сочла нужным как-то объяснить свой проступок. После Кметь слышал, как она шепнула секретарше: «Ну, Люське, слава богу, лучше!» Значит, навещала больную подружку в служебное время. Кой черт согласился он баллотироваться в народные заседатели? Не хватало ему, что ли, выборных должностей? Но тогда как-то не думалось об этом, льстило доверие людей и то, что на всех углах будет висеть его биография с портретом, вот он и согласился.

Ему долго удавалось отлынивать от участия в судебных заседаниях — он был директором крупнейшего предприятия, благодаря которому старинный и несколь-

ко запущенный городок перешел в новый, куда более высокий разряд. Но все-таки его допекли, и вот сегодня он с утра томился в душном, вонючем зале заседаний, слушая чепуховые, ничтожные дела: развод, квартирная склока, грошовый иск одного учреждения к другому и, наконец, эта браконьерская история. И ко всему еще он должен терпеть доходящую до вызова сухость, небрежность и высокомерие девчонки с тонкими подкрашенными губами и обесцвеченной перекисью головой. Кметь чувствовал, что антипатичен ей, и не мог понять почему. Он привык нравиться женщинам и вел себя как человек, который нравится: свободно, широко, добродушно, чуть по-мальчишески. Но с ней он все время будто ударялся об острые углы. Ладно, сейчас они вынесут решение по этому делу, и он расстанется с тонкогубой злючкой.

— Я не понял: обвинитель просил три года, конечно, условно? — послышался скрипучий голос майора в отставке.

— Нет! — резко сказала судьяха и стала тыкать окурков в тарелку под графином с водой. — Речь шла о вполне реальном сроке.

— Три года!.. — отставной майор покрутил головой. — Это что же — показательный процесс?

— Если хотите — да! — Судьяха закурила новую сигарету. — Вы разве не видели — в зале полно корреспондентов из области. Делу Петрищева решили дать широкую огласку, чтоб браконьеры поняли: их безнаказанности пришел конец.

— Ну и правильно! — вдруг вскричал майор, и его дубленая солнцем шея в крупных темных порых грозно побагровела. — До кой поры терпеть погубителей природы? Особенно таких, как этот рецидивист. У него восемь приводов, а мы все цацкаемся, жалеем. Сейчас он кулаки в ход пустил, а следующий раз ножом пырнет, — почему же нет, коли все с рук сходит?

То, что говорил майор, было справедливо, но в душе Кметя вызывало протест. Майор, сам заядлый рыболов, охотник, грибник и ягожник, соблюдал промысловые законы так же свято, как прежде устав пехотной службы. И все же его бурная деятельность в природе отдавала чем-то нечистым. Ни поэзии, ни бескорыстия

досуга не было в его общении с озерами, реками, лесами и полями — голая утилитарность, жадное приобретение гнали его из города в простор земли. Однажды зимой он затащил Кметя на жареные грибы. Жена его владела секретом хранения грибов, и Кметь в крещенские морозы с удовольствием отведал жареных белых грибов. Но отставной майор сумел придать трапезе какой-то мистический оттенок. Нехитрое чудо сохранения грибов он возводил в некий символ, в высший смысл человеческого бытия. Он рассуждал о домашнем консервировании ягод и фруктов, солении грибов и огурцов, вялении и копчении рыбы с жутковатым вдохновением пророка. Он рассказывал о своих знакомых неправдоподобные истории: к каким уловкам и хитростям прибегали они, чтобы полакомиться его зимними грибами или маринованной уклежкой.

И сейчас его гневный пафос не был выражением здоровых чувств страдающего родной природе человека, в нем была кулацкая злость, что-то слишком личное, от кармана и брюха идущее. Народный заседатель не должен руководствоваться личным пристрастием, обязан всегда сохранять объективность.

Подсудимый не понравился Кметю, было в нем что-то звероватое, тупое и вместе хитрое. Он, конечно, притворялся, играл в придурка, откровенно бил на жалость. А мужик, видать, ушлый, прошедший огонь и воду, да и браконьер заматерелый. Такой не раскается, только станет осторожнее, увертливее. И в самом деле, страшный урон чинят природе эти фальшивые простецы, лишённые нравственного закона в душе. Но три года заключения — не слишком ли?

— Так, ваше мнение ясно, — услышал Кметь голос судьи. — А что скажет второй заседатель?

Даже по фамилии избегает называть! Кметь взглянул на судью: она нервно покусывала свои тонкие губы. Внезапно Кметь усомнился, что видимая неприязнь судьи к нему искренна. Она была молода, самолюбива и под маской напускной твердости не уверена в себе. Кметь же, самый видный работник и самый интересный мужчина в городе, не мог оставить ее равнодушной. Боясь насмешки, равно как и покровительственного одобрения, она сразу воздвигла между собой и Кметем этот барьер искусственной холодности. И еще

Кметь обнаружил, к своему большому удивлению, что судья, проведшая заседание с четкостью прямо-таки беспощадной, исключаяющей какие бы то ни было лазейки, не хочет, чтобы суровый приговор был утвержден. Она жалеет этого одноглазого хищника, которому предстоит первому расплатиться за огромную вину местных жителей перед миром рыб, зверей, птиц. Она хочет смягчения участи Петрищева, хотя областной суд наверняка завернет ей дело, а она, как слышал Кметь, больше всего гордилась тем, что ей не возвращают дел на пересмотр.

Чувство долга, живое гражданственное чувство возстало в Кмете против незаконных поблажек. Он поможет этой трудной молодой женщине против нее самой. Он поможет краю, который давно уже считал своим, родным, против петрищевых всех видов и мастей.

— Я полностью присоединяюсь к моему коллеге, — твердо сказал он.

— Ясно, — коротко произнесла судья. — Пошли!

И вот — дело сделано... Кметь вышел из душного здания суда в нежную майскую жару, блеск солнца, сильный, горячий запах травы. Дыхание быстро очищалось от карболово-сапожной вони, суд выходил из него через нос. Сейчас, когда заседательский искус остался позади, он уже не жалел о потраченном времени. Часы, проведенные в сумраке и духоте тесного полуподвала, обернулись надежным и радостным чувством выполненного долга. «В конце концов, никто из нас не имеет права уклоняться... Каждый обязан нести свою ношу...» — думал он, ленись формулировать мысли до конца.

С ветхого деревянного крыльца проглядывалась заводь Кащеева озера возле Николы на болоте. Как раз в стороне этой старой церквушки отчетливей всего было видно, что город расположен ниже уровня озера, — это обстоятельство не переставало удивлять и детски радовать Кметя. Озеро серебристой лепешкой набухало возле Никольской церкви и, казалось, вот-вот низринется и на церковь, и на почерневшую колокольню, и на прилегающие строения, зальет, затопит древний город. Но озеро, сдерживаемое низенькой дамбой, не пробовало напасть на Лихославль даже в пору половодья,

когда тает лед и вспухшие реки бурно несут в него свои воды, даже в пору августовских гроз и затяжных октябрьских дождей, когда канавы становятся ручьями, а ручьи — реками. Всегда спокойное, ясное, оно чисто и нежно отражает зеркальной гладью небо, облака, древний кремль на кургане, собор дней Александра Невского и другой — Василия Темного, Никольскую церковь и высокую каменную ограду разрушенного монастыря.

Кметь сбежал с крыльца, пересек мощный булыжником двор и вышел за ворота. Здесь еще сильнее пахло, сверкало, сияло весной. За неширокой горбатой улицей, вправо уходящей в гору, к фабрике цветной киноплёнки, влево упиравшейся в тюрьму, текла речка Штоколка. Она, словно арык, протянулась вдоль улицы. В летнее время пересыхающая до каменистого дна, Штоколка сейчас бурлила, играла полной водой неестественного ядовито-розового цвета. Такое может быть на огнистом закате, предвещающем сильный ветер, но в майский ясный день производило странное, болезненное впечатление.

«Абстракционизм!» — усмехнулся про себя Кметь.

В эту речку сбрасывала отходы фабрика киноплёнки. По другую сторону бугра текла речка изумрудного цвета, а в нее впадал фиолетовый ручей. Фабрика щедро делилась со всеми здешними водными магистралями многоцветием ядовитых отбросов. Особенно буйно расцветивался местный пейзаж в пору вешнего разлива. В Петергофе на праздники, когда разноцветные лучи прожекторов озаряют струи фонтанов, нет такого буйства красок, как в скромном Лихославле и его окрестностях. Постепенно слабея в цвете, но не в губительности ядов, сточные воды разносятся далеко окрест, смешиваются с другими водами, отравляя их, уничтожая все живое на десятки километров. Лишь Кащеево озеро с его сильной природной очистительной системой еще как-то сопротивляется страшному соседству, да и то в нем вымерла наиболее нежная рыба: корюшка, налим.

Все другие озера, реки, ручьи края совсем обезрыбели, а в прудах рыба нехорошая, больная, даже в жареном виде припахивающая эссенциями — подземные воды тоже отравлены. В этих водоемах вымерла вся-

кая жизнь. Не стало не только ондатр, выдр, выхухолей, нутрий, но и простых водяных крыс, лягушек, жуков. Исчезли лилии, кувшинки, ряса и утиный корм — ушки. Дикие утки, которых прежде не могла изничтожить неумная охотничья страсть местных жителей, больше не прилетают сюда на гнездовье и даже обходят в пору весенне-осенних пролетов.

Сосед Кметя, учитель биологии на пенсии, нарисовал ему однажды мрачное будущее края, где переведется вся биологическая жизнь. Биолог, надо думать, перехватил, ученых мужей всегда заносит, но, скажем прямо, расцвету природы фабричные химикалии, сливаемые в систему живых вод, никак не способствуют. Но что поделывать! Кметь отлично знал, как неодобрительно, если не сказать — нетерпимо относится начальство ко всем разговорам о дополнительных ассигнованиях на ликвидацию промышленных отходов. Недаром крылатой стала фраза: «Сперва построим коммунизм, потом будем думать об охране природы».

Все это промелькнуло в виде смутных, но вполне понятных Кметю привычною своей образом, когда он смотрел на ядовито-розовую воду Штоколки. Хорошо хоть Кащеево озеро покамест не поддается гибели, может, на наш век его хватит? Кметь, разбалованный московский человек, не устоял перед повальным увлечением рыбалкой. Крайняя занятость мешала ему часто пользоваться радостью утренних и вечерних зорь, но по субботам Кметь выезжал в устье Бегунки. Там, в яме под сторожкой лесника, дивно берут подъязки, и лесник бдительно следит за тем, чтобы ни здешние, ни приезжие охотники не прилаживались к этому месту. Кметю стало радостно, что вечером он поедет на рыбалку, проведет зарю над быстрой рекой, натаскает тяжелых и в подсачнике не сдающихся язей, сладко натрудит руку от плеча до кисти, потом выпьет холодной водки в чистой лесниковой избе, проглотит толстую глазунью и ляжет спать на прикрытой красивым рядом лежанке, к заре отоспится до полной прозрачности в глазах и снова выйдет на ловлю на все долгое воскресное утро.

Ему стало так мило и ласково на душе, что захотелось прямо сейчас сделать для себя что-нибудь хоро-

шее. Он поглядел на часы: бог мой, всего полтретьего! Сейчас дома тихо, у глухого Мишеньки мертвый час, домработница побежала кормить своего нагульного, и Маша совсем одна. И кто может помешать ему взять ее на руки — легкую, с долгим, нежно-крепким телом, отнести в кабинет и там, на прохладном кожаном диване, обнять кроткую, покорную, чужую и оттого мучительно желанную? Какой счастливый сговор созвездий натолкнул жену на мысль отыскать в Лихославле учительницу для их глухого Мишеньки? В городе не было школы глухонемых, и затея жены казалась безнадежной. Они уже хотели отослать бедного мальчика к бабушке в Москву, как вдруг выяснилось, что жена старшего лаборанта фабрики была некогда переводчицей у глухонемых. Но мало того. Надо, чтоб она еще оказалась красавицей, тихой умницей, лапушкой и чтоб ее муж, молодой, прыщеватый, застенчивый и честолюбивый, находился в полной зависимости от него, Кметя! Казалось, жизнь сразу решила вознаградить стареющего директора за все, что он недобрал в прежние годы.

Счастливые слезы на миг сжали горло, оборвав дыхание. Кметь перебежал улицу, вскочил в «Виллис» — у него с войны сохранилось теплое чувство к этим жестянкам — и бросил водителю:

— До дому, до хаты!

«Виллис» закозлил по неровному булыжнику. Кметь уперся ногой в крыло, слегка наклонился вперед и, чувствуя себя прежним двадцатилетним адъютантом, мчащимся под обстрелом по рокадной волховской дороге с важным донесением, подставил ветру разгоряченное, счастливое лицо...

А в это время во дворе суда Петрищев не давал посадить себя в тюремную машину. Понимая далеким умом, что он ведет себя глупо, недостойно и, главное, вредно, Петрищев не в силах был уговорить в себе яростное сопротивление неволе. Все его большое, нелепое, костяное и жильное тело сопротивлялось пространственной ограниченности, несвободе ожидающего его бытия. Петрищев упирался в борт машины руками, отпихивался ногами от рамы и скатов, ревел, как оскопленный бугай, и два милиционера, белобрысые, красные от натуги, пытающиеся сохранить на глазах

толпы выдержку и достоинство, тщетно возились с обезумевшим от тоски и страха циклопом, постепенно распаляясь негодованием, злостью. Петрищев знал, что милиционеры накладывают ему по шее за теперешнее свое унижение, как только не станет свидетелей, но не мог принудить себя залезть в тюремную машину.

А сзади, враз постарев неправдоподобно опавшим, бледным, маленьким лицом, повисла на руках доброты Нюшка Петрищева. Она долго держалась стойко, но от не виданных сроду мужниных слез, от ужасного его рева рухнуло сердце. Две поселковые тетки, дальние родственницы, уже запаслись ковшиком холодной воды, чтобы опрыскать Нюшку, когда она начнет валиться на землю и биться в судорогах...

Моя Венеция

В последний момент я все-таки не поехал в Венецию. Надо сказать, что это было далеко не первый случай, когда в канун выезда отменялась моя поездка за рубеж. Почти полмира не повидал я таким образом: Японию, Аргентину, Данию, США, Сирию, Ливан, — да разве перечислишь все страны, где мне не довелось побывать! Срывались поездки по разным причинам: то я запоздал с оформлением, то слишком поторопился, то на Аравийском полуострове началась война, то в Индии — эпидемия, то в Японии — землетрясение.

Я и сам стал с опаской относиться к зарубежным поездкам. Не из-за себя — я жалел страны, которые намеревался посетить. Каждую такую страну неизбежно постигало либо сокрушительное извержение давно погасшего вулкана, либо землетрясение, либо иное стихийное бедствие, а то — война, государственный переворот, опустошительная эпидемия. И тут, видимо по недосмотру судьбы, я вдруг попал в Марокко, да еще с заездом на неделю в Париж, и этому не смогли помешать ни Агадирская катастрофа, ни смерть султана Мохаммеда, ни всеобщая забастовка государственных служащих Франции, ни даже неисправность нашего самолета: у нас не убралось шасси, и мы долго кружили между Москвой и Ригой, сбрасывая горючее, чтобы вернуться на Шереметьевский аэродром. Вторичный вылет был удачнее, и, после того как датскому истребителю не удалось сбить нас над Скагерраком, мы благополучно приземлились в аэропорту Бурже. После

этой поездки меня с новой силой охватило желание странствовать по белу свету. Не тут-то было! Порой я бывал совсем близок к отъезду. Так, меня срочно вызвали из Ленинграда, где я находился по литературным делам, чтобы сделать мне противочумную и противохолерную прививки: до отъезда в Японию через Индию оставалась неделя, а прививки надо было повторить. Я получил в живот лошадиную дозу вакцины, поднявшую до сорока температуру в моем теле. Слава богу, повторные прививки не понадобились. Поездка лопнула. Почему? Уже не помню, какому катаклизму я этим обязан.

И все же я полюбил эти—чуть было не сказал «поездки» — странные неотъезды. Они давали мне предощущение дороги и новизны, манили тайнами чужой, неведомой жизни, побуждали загодя интересоваться страной, в которой мне не бывать, отыскивать ее в энциклопедии и на географической карте, проглядывать альбомы, посвященные ее художникам, книжки ее поэтов, заставляли следить за ее политической жизнью, жадно отыскивать в газетах каждое упоминание о земле, вдруг ставшей близкой. А затем наступал миг отрезвления. И все же какое-то время я жил путешествием, я топтался на границе таинственного царства, я был близок к чуду.

Но хочется видеть мир. Еще на заре туризма я за один год побывал в Польше, Финляндии, Чехословакии. Мне удалось прикоснуться и к парижской весне, когда вдоль набережной Сены, над книжными развалами, цветут каштаны, и к венгерской осени, когда так желты деревья на острове Маргит и так печально бледен Дунай; передо мной мелькнули с калейдоскопической быстротой и нежно ранившая душу Айя-София, и храм Посейдона, открывающийся с моря, и Парфенон, и пирамиды, и Великий сфинкс, и адова сушь Долины царей, и белокаменные ступени переулков «земного рая» — Дубровника.

Я находился в периоде затаянного невезения, когда передо мной возник призрак Венеции, и я, вопреки многим разочарованиям, твердо поверил, что уж на этот раз непременно поеду. Это была не туристская и даже не специализированная поездка — группе кинематографистов предстояло участвовать в Венециан-

ском фестивале, а я был автором одной из двух наших картин, представленных на конкурс.

Целый месяц прожил я в очарованности Венецией. Я без устали бормотал стихи Мандельштама: «Венец­ейской жизни мрачной и суровой для меня значение светло», и Ходасевича: «Что снится молодой венецианке», я не расставался с монографией о двух художни­ках, объединенных в сознании потомства прозвищем Каналетто, я рассматривал репродукции Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто, Тьеполо, фотографии площади собора Святого Марка, дворца дождей, моста Риальто, Большого канала, таможни, облепленной лег­кими судами, перелистывал светскую повесть Хемин­гуэя «За рекой в тени деревьев», где автор так гор­дится своим знанием венецианской жизни, я вспоми­нал, засыпая, все читанное о Венеции, о дожах и дога­рессах, о страшных подземельях, где заседал злове­щий совет десяти, о состязаниях гондольеров, о празд­новании Вознесения и обручении дожа с морем, и мне снились пронзительные лазурные венецианские сны.

То и дело вспыхивали во мне прекрасные, звучные слова: Кампо делла Карита, Санта Мария Формоза, Санти Джованни э Паоло, Каннареджо, Санта Киара. Красивые венецианские слова — вот и все, что полу­чил я от поездки. Венеция досталась другому. Этот другой не участвовал в создании моего фильма, не ли­стал монографий, посвященных венецианским худож­никам, не слабел сердцем при мысли, что узрит ма­ленькую, сумрачную, за горбатым мостом, площадь перед церковью иезуитов, — он поехал туда, как в Кинешму на областной кинофестиваль, просто, делови­то и холодно. У него был ряд неоспоримых преиму­ществ передо мной: отсутствие какой бы то ни было экзальтации перед лицом искусства, железная выдерж­ка и то чиновничье высокомерное равнодушие, для которого все новое, непривычное, непохожее исполне­но скуки. Он не соглашался ехать, если «командиров­ка» продлится более десяти дней, и это так прекрасно контрастировало с моей трепетной, жалкой увлечен­ностью поездкой, что я и сам понимал, насколько он превосходит меня, — с ним было спокойнее...

Потому ли, что я слишком уверен был в поездке, потому ли, что Венеция успела проникнуть мне в кровь,

я не сумел принять неудачу с обычным смирением. Сны не погасли во мне, с каждой ночью они все ярче, многоцветней, все ослепительней сияли в моем бодрствующем, счастливо тоскующем ночном мозгу: каналы, гондолы, безбрежная синь неба и моря, ставших одной стихией; в этих видениях, то празднично ликующих смесью золота, пурпура и синевы, то до одури предметных, я наслаждался и солнцем, растворенным в Адриатике, и тенью под ослизлой аркой горбатого моста, и блаженной сыростью, пронизавшей стены, подъезды, покои, — пряная приправа ко всей венецйской жизни — эманация тайн, погребенных на илистом дне каналов.

Днем я пытался припомнить о Венеции что-нибудь дурное. В усах, расходящихся за гондолой, плавают дохлые крысы... Я терпеть не могу крыс. Не настолько, правда, чтобы это могло смирить меня с потерей Венеции. Да еще — вода в каналах дурно пахнет, — экая беда!

Словом, я слишком пропитался Венецией, чтобы спокойно перейти к обычным делам и заботам. Меня тянуло к воде, и я вспомнил, что возле нашего поселка, на речке Коче, есть лодочная станция. Сеня Боркин, поселковый электрик, сказал мне, что можно достать мотор. Хозяин мотора, инспектор ГАИ на пенсии, наверняка не откажется от совместной прогулки по Коче, особенно если распить с ним в пути бутылочку кубанской. Меня увлекло предложение Боркина: присутствие в нашей компании инспектора ГАИ усиливало ирреальность предстоящего путешествия, которое втайне мыслилось мне путешествием по каналам и лагунам Венеции. Мне всегда казалось, что служители ГАИ не имеют существования вне стен сумрачного дома в Подкопаевском переулке. От великого почтения, внушаемого мне ими, я не мог представить себе, что у них, как у простых смертных, есть жилье, семья, знакомые, какие-то интересы помимо светофоров, дорожных знаков, указателей, штрафов и взысканий. В равной мере не могу я вообразить гондольера в быту: он создан для того лишь, чтобы, ловко орудуя веслом, вести стройное суденышко по узким водным коридорам и петь баркаролу.

Прихватив Боркина, я заехал на машине за инспек-

тором. Он занимал маленький щитовой коттедж в глубине яблоневого сада, с краю деревни Полушкино. Когда мы приехали, инспектор поливал из шланга древний «фиат» — детский гробик на колесах. Грубо полированные бока вспыхивали под струей воды, смывающей пыль.

— А в Москве разрешают ездить на этом? — спросил я.

— Мне разрешают, — улыбнулся щербатым ртом инспектор.

Он был похож на очень старого и очень усталого Сирано де Бержерака: большой, хрящеватый нос, худые, всосанные щеки в седоватой щетине, темные, потухшие глаза, — чувствовалось, что когда-то их черная глубь метала молнии.

Он радостно согласился ехать, завинтил медный кран, питающий шланг, и приволок из сарая старый-престарый английский лодочный мотор в золотых оттиках медалей, с большим, наивным винтом. Все это выглядело трогательно: инспектору доступны были лишь дряхлые вещи с дешевого развала. Погрузив мотор в машину, мы поехали на реку.

Вот уже десять лет живу я на берегах Кочи, но впервые решил воспользоваться услугами лодочной станции. Хромой лодочник долго ковылял вдоль строя полузатонувших однопарных весельных лодок и, наконец, сделав выбор, принялся вычерпывать консервной банкой воду.

Возле фанерной будки две девушки рылись в сумочках, отыскивая документы и деньги. Обе были смуглы, черноглазы, темноволосы, испанский, отнюдь не венецианский тип — рыже-золотистый, с морской голубишной в глазах. Они и производили впечатление чужеземок своей чуть нервной манерой поведения, неуверенностью, опасливым рыском зрачка. Их явная незащитность подстегнула местных юношей. Дочерна загорелые крепыши в узеньких плавках зашлепали возле девушек по деревянному настилу лодочной пристани босыми мокрыми ногами. Живя замкнуто и уединенно, я давно не наблюдал любовных игр молодежи. Меня прямо-таки ошеломило, насколько изменилась молодая повадка с далеких дней моей юности. Мы были наивны и по-русски молодцевато-застенчивы

в своем полудетском токовании в виду молоденьких девушек. Мы распускали хвосты, наскакивали грудью на соперников, пытаюсь привлечь к себе смелостью, бравадой и соловьиными трелями хвастовства и нежности. У этих соловьиное сменилось лягушачьим сленгом, игра — беззастенчивым напором, обнаженностью грубых намерений. Мне стало жаль девушек, у них была нежная кожа лица и шершавые руки работниц. Тонкая смуглота стекала от обнаженных локтей к кистям и здесь сменялась заветренной краснотой; под коротко стриженные ногти набилась металлическая пыль. Девушки были мило и просто одеты: белые короткие платьица, кожаные черные кушачки по-осиному стягивают талию, туфельки на шпильках, модная прическа — все честь честью. Смуглые сильные руки юношей то и дело тянулись к девушкам, пытаюсь ухватить за локти, за шею, за гривку волос, за щеку и за сумочку. Одновременно между юношами произошло что-то вроде весеннего оленьего турнира, когда слабейшие вынуждены покинуть ристалище. Их было шестеро, осталось двое, но, убей меня бог, если я понял, в чем выразилось превосходство победителей!

Девушки вели себя гордо. Резко-изящными, совершенными, как балетная пластика, движениями ускользали они от жадных рук, в последний миг избегали прикосновений, и солнце просвечивало тончайший, по-кошачьи ставший дыбом пушок на их шеях. Они не снисходили до слов, лишь глаза их метали гнев. Они были хорошо защищены, эти маленькие отважные работницы, желавшие скромно провести на реке свободные часы. Меня радовала их неумолимость, о которую разбивались все настырные притязания пляжных героев.

Инспектор ГАИ с помощью Боркина пристроил маленосный мотор на корме. Лодочник хорошо знал нас в лицо, а инспектора величал по имени-отчеству, тем не менее, поскольку у нас не было с собой паспортов, пришлось отдать ему в залог ручные часы.

Мотор инспектора издавал много шума, источал много сладко воняющего дыма, но рождал лишь скромную скорость. И все же берега плавно плыли назад, рука не успевала схватить кувшинку за тугой, долгий стебель, под носом лодки бурлила струйка во-

ды — это было движение, оно сулило новизну и тайну. В последний раз оглянулся я на пристань: девушки держались, да еще как! Не получая и малого знака поощрения, юноши бесились, но не отступали, раздражала их тупая вера в свое право на этих девушек, полная внутренняя раскрепощенность. Да и хочется, чтобы не все крепости сдавались, не все гарнизоны капитулировали. С возрастом начинаешь ценить такие добродетели, как стойкость, гордость, способность к отпору. Повадка моих испаночек обнадеживала, они не сбрасывали своих доспехов и по-прежнему были недосягаемы.

А берега-то, берега! Как поднялись они, низкие, поросшие редким червивым орешником и сурепкой, изрезанные пыльными тропками, бог весть для чего протоптанными в траве! С воды и с движения все кажется иным: живописнее, страннее, значительнее — и береговой взгорбок, и склонившийся над водой лозняк, и люди на берегу, и дали, ставшие незнакомыми, манящими. Проплыла наперерез лодке водяная крыса, не венецианская, дохлая, с раздутым брюшком, а живая, шустрая, спешащая по своему крысиному делу с одного берега на другой. Женщина намыливала ребенка, и ребенок плакал, втирая мыло кулаками в глаза. Эрделю кидали с берега палку в реку. Он с разгона бросаясь в воду, сильно работая лапами и тараня водоросли широкой грудью, приближался к палке, подкидывал свое тело, хватал палку в зубы и плыл назад. На приколе паслась козочка. Коровы подходили к реке, смачно оплеывая изрытый копытами берег темными блинами. Утки плыли среди кувшинок так стройно, не творя даже малого шелоху, что казалось, их тянули за веревку. Женщина обмывала большую белую ногу, прежде чем сунуть ее в разношенную туфлю. Все это было по-родному мило, но мне хотелось, чтобы окружающее обмануло меня хоть каким-нибудь венецианским видением.

И тут у несущего вахту Боркина выскочил из гнезда рычаг рулевого управления — в ту самую минуту, когда Боркин круто заворачивал лодку в излучину. Поначалу я не понял, что произошло. Головокружение, полет вокруг собственной оси, дурман венецианских снов?.. Берега вращались, перекидывались куста-

ми, деревьями, козочкой на привязи и всем коровьим стадом. Крыса плыла то справа, то слева, и так же противоестественно перемещался эрдель с палкой в зубах, и его хозяин, и женщина, задравшая белую ногу. А солнце стало огненной полосой, в воде кружились облака, и весь этот карнавал длился так долго, что пришли усталость и легкая тошнота и захотелось покоя. По счастью, Боркин сумел всунуть рукоять в гнездо и выправить руль. Карусель замерла. Крыса благополучно достигла противоположного берега, обрели свое место эрдель, его хозяин, женщина с белой ногой, нацеленной в разношенную туфлю; берега по справедливости разобрали растительность, а солнце вновь стало нестерпимо сияющим кругом. И все же обыденность потеснилась. Не зря крутились мы на одном месте в нарушение всех речных законов, мы что-то выиграли в уэллсовском смысле; конечно, мы не перенеслись в незримо соседствующий с нашим мир иных измерений, но какое-то смещение привычных координат все же произошло.

Из ярко-голубых с краснотцой глаз Боркина без устали высмеивались мелкие слезы: наш крутеж, собственная неловкость, породившая малое чудо, привели его в состояние расслабленного, тихо торжествующего наслаждения. Что-то сказочное, колдунье появилось в нем, будто он над чем-то властен, будто он несет лукавую тайну в своей душе. А стоящий под ветлами рыболов с грустно-ошалелым видом вытащил из Кочи угря. Толстый, длинный угорь извивался на конце лески, а рыболов не решался снять редкостную добычу, подавленный ее нереальностью. Конечно, угри не водятся в подмосковных речках, а как обстоит с ними в водоемах Венеции?

— Видать, из ставника какого заплыл, — поспешил разделаться с загадкой сосед рыболова. — Вот уж не знал, что у нас угрей разводят.

— Разводят ли?.. Это еще вопрос! — Поймавший угря человек доказал, что он достоин чуда, не прельстившись плоским объяснением. Такому человеку следует поохотиться в нашем березовом жидняке, он наверняка подстрелит павлина или носорога.

Мы плыли дальше. Река делала для нас все, что могла. Она укрылась в тень, отбрасываемую сильными,

рослыми ветлами, запахла илисто, терпко, но приятно; она ощерилась гнилушками старых свай и вдруг кинула нам под днище вызолоченную солнцем сквозь лозняк отмель. Река приблизилась к деревушке, мы увидели рыжего теленка, индюка с красной соплей и перламутровым зобом, двух поджарых индюшек, черно-пятнистого поросенка, расчесывающего бок о дубовый пенёк, мы увидели трех статных гнедых коней, ошпыливающих прибрежную траву и желтые цветы, колодезь-журавль и женщину с новыми цинковыми ведрами на коромысле, а потом река разом отсекла все это, оставив нам лишь свои узкие, тенистые пределы, свою неглубокую воду, бурую и мутную на стрежне, чернильную под берегами и прозрачную на мелководье, оставила бедные водоросли, стрекоз и похожих на них летучих козявок с полосатым, как матросская тельняшка, ниточным тельцем, оставила нежный запах гниения и надежду, что впереди что-то случится.

Но случилось-лишь то, что винт стал зарываться в илистое дно, река неправдоподобно обмелела. Боркин вспомнил: Кочу недавно спускали, и с тех пор она стала непроходима в верховье.

Видимо, никакой скромностью желаний улестить судьбу невозможно. И утрата венецианских каналов ничуть не гарантировала мне беспрепятственного движения по нашей домашней Коче. Путешествие не состоялось, во всяком случае, туда, где Коча длится в просторе. По другую сторону Коча запружена возле Покровской фабрики, а за плотиной она существует лишь в виде грязного, отравленного отходами ручейка. И все же нам не оставалось ничего другого, как повернуть назад.

Мне стало печально, и я сказал инспектору ГАИ:

— Знаете, у меня сорвалась поездка в Венецию.

Он чуть поморщился, отозвавшись на звуковые волны, потревожившие его слух, но ничего не сказал. Я с таким же успехом мог жаловаться, что не улетел на Венеру, не застал на Земле ацтеков, не освоил санскрита. Для него все это было изысканной и темной белибердой, не имеющей никакого отношения к реальности, набитой старыми моторами, подержанными машинами, в которых нужда и терпение способны пробудить слабую жизнь.

— Обидно, да? — тупо упорствовал я. — Уже все было оформлено. Если б не сорвалось, я плавал бы сейчас по Большому каналу.

Он вздохнул и отвернулся.

Мы снова достигли места, наградившего нас коротким переселением в чудо. Боркин начал посмеиваться, пытаюсь оживить в себе колдуна, превращающего вселенную в карусель, а солнце — в золотой обод. Он даже пытался «нечаянно» вырвать рулевую рукоять из гнезда, но там заклинило, и мы в тусклой трезвости миновали крутую излучину.

Вблизи пристани мы обогнали весельную лодку. Пахло Венецией, столько праздной неги было в смутных юношах, бросивших весла, предоставивших тихому течению делать за них работу, и в сидящих, вернее, полулежащих на корме девушках — моих испаночках. Они высоко вздернули юбки, открыв солнцу колени, расстегнули на груди платье, чтоб загорели ключицы и та деликатная, нежная плоскость, что длится от шеи до лифчика. Почему их камитуляция так огорчила меня? Похоже, я ревновал, не к мальчишкам, конечно, а к самой молодости, к чудесной беспечности, ощущавшейся и в быстрой их сдаче, и в прелестно свободных позах. Моя юность не знала этой беспечности, праздности, столь ценимой Пушкиным. Она была исполнена ранней деловитости, выработавшейся в аскетизме тридцатых годов.

— Моя юность не знала неги и досуга, — сказал я инспектору ГАИ.

Он хотел откупиться смутной, непонимающей улыбкой, но, подметив, что я готов развить эту тему, поспешно отвернулся.

— Мы достанем кубанскую в поселке, — понял меня по-своему и поспешил утешить Боркин.

Лодочная пристань осталась позади, мы шли теперь правым, искусственным рукавом реки. Этот рукав был прорыт шагающим экскаватором, чтобы создать остров на Коче. Между берегами и островом перекинуты серебристые металлические мосты. Мы находились во владениях детского санатория. До этого места я знал реку, а вот то, что открылось дальше, явилось для меня неожиданностью. Река сузилась, зазмеилась рукавами и вдруг распахнулась озерной ширью. Бес-

численные заводи, островки, узкие проходы меж ними, где убыстрится ток воды, далеко вдающиеся в речку то песчаные, то зеленые косы, — трудно было поверить, что узенькая, маловодная Коча могла породить всю эту щедрую праздничность. Дальше, на кирпичном фоне фабричной стены, угадывалась плотина — истинный творец озерного разлива. Свое показное великолешие Коча оплачивала тем, что за плотиной превращалась в сточный желоб. Но об этом как-то не хотелось думать сейчас...

Еще в пору нашего переселения за город мне не раз доводилось видеть Покровскую фабрику и фабричный поселок, но не с речной стороны, а с фасада. Фабрика была под стать всем провинциальным маломощным текстильным предприятиям прошлого века: почерневший кирпич, пыльные, подслеповатые окна цехов, задымленные вверху трубы. К фабричной ограде лепились деревянные и општукатуренные бараки, кирпичное общежитие в окружении жестяного городка, краем сползающего в овраг. Только в Марокко видел я такие города из кусков жести, пустых консервных банок и прочей дряни, но Покровский бидонвиль принадлежал к нежилому фонду — это были сараи жителей фабричного поселка.

Совсем иное впечатление производила фабрика с реки: она казалась выше, мощнее, современной. Ни бараки, ни жестяной городок не проглядывались отсюда, а берега и островки были густо и живописно усеяны местными жителями. Коча, поднятая плотиной и затопившая окрестность, породила тут новый быт, новые обычаи. Рабочий день давно кончился, и все покровское население находилось на реке. Пили чай целыми семьями из больших, сверкающих самоваров, раскалывали о землю остуженные в реке пунцовые арбузы, качались в гамаках, натянутых между берегами, играли в карты на траве, гоняли мяч, купались, мылись, надраивали друг дружке спины, намыливали себе головы и слепо нашаривали обмылок на береговой кромке, стирали, били вальками, полоскали и выжимали белье, ловили рыбу удочками, спиннингами, жерлицами и вершей, а два голозадых человека степенно владчили вдоль берега потрепанный бредень.

На островке дебелая матрона, выйдя из воды и вы-

гнав оттуда троих поразительно схожих загорелых, стройных детей, стала вытирать им спины полотенцем. Затем она отстегнула лифчик гибким движением руки и повесила его на ветку орешника. Листья скрывали ее фигуру, оставляя на виду лишь полные плечи да вздымающиеся к мокрым волосам руки. Уже сильно тронутая годами, она пышно отпраздновала праздник своего запозднившегося материнства, создав этих шоколадных, прелестных детей.

Я улыбнулся прекрасной немолодой женщине, приветствуя чудо, заключенное в ней. Она ответила мне спокойной, сознающей улыбкой.

— Давайте я схожу... нигде больше не достанешь... — толкался мне в барабанные перепонки настойчивый и скучный голос Боркина.

Задним числом я понял, что он талдычит об этом уже давно. Я протянул ему деньги. Пожилая женщина неспешно вытиралась, а другие женщины входили в реку, поплескивали на себя, чтобы привыкнуть к холодной воде. Красивые, загорелые дети ныряли с берега в реку, раскачавшись на гибких ветвях ивы; девочки убегали от мальчиков и по суше и по мелководью, стройно прогнув спину, мальчики преследовали их, наклонившись, как в штыковой атаке; белый конь, ведомый нагим воином с белым телом, загорелыми лицом, шеей и руками до локтей, ступил в воду, и вышагнув за береговую тень, засверкал, засеребрился. Близящееся к закату солнце тяжело зачервонило воду, кирпичные стены фабрики пылали, точно замок, объятый пламенем. Звучали гитары и транзисторные приемники. Вода, властно проникнув в бытие покровских людей, одарила их новой живописностью.

— Не хватает только баркаролы, — сказал я инспектору ГАИ, вновь грубо нарушив его сосредоточенную тишину.

Удивительно быстро вернулся Боркин с бутылкой кубанской, банкой консервов и невесть где прихваченным граненым стаканом.

Я выпил за плавающих женщин и за женщин, сидящих на берегу, и готовящихся войти в воду, за путешественников и прикованных к родному очагу, за покровских и венецианских женщин выпил я полстакана кубанской, и еще я выпил за всех мужчин и всех

детей, за нагого воина и его коня, и закусил тюлькой. Хемингуэй знал, чем пахнет смерть, но он не знал, какова смерть на вкус. Для этого надо вкусить консервированной тюльки. Если натереть дверную медную ручку тухлой селедкой и очень долго сосать, можно получить некоторое представление о вкусовом шоке, испытанном мною в покровской лагуне.

Боркин и автоинспектор истово разделялись с кубанской и ужасной закуской.

Банка из-под тюльки легла на затопленное дно лодки и засверкала там драгоценно, выпятив свое острое, в зубчиках, донце, пустую бутылку и стакан убрали под скамейку. Взвыл мотор, и мы двинулись в обратный путь. С грустью и нежностью провожал я глазами свою Венецию.

Неподалеку от висячего моста, у острова, прикрепленная цепью к пеньку стояла лодка. На корме, закинув руки за голову, возлежала в купальном костюме все та же испаночка, а меж ее колен, ну, прямо Гамлет, развалился загорелый, черноволосый юноша в темных очках. Другая пара столь же непосредственно пристроилась на носу.

Впервые почувствовал я себя старым. Я потерял молодость, как Венецию: столько готовился к ней, и вдруг обнаружил, что ее не было и не будет.

— Помните ли вы тот день, когда впервые позавидовали молодым? — спросил я инспектора ГАИ.

— Я никогда никому не завидовал, — тихо, с усиленным отозвался тот.

Мы расплатились за лодку, получили назад наши часы, и я повез инспектора домой. Он сел на заднее сиденье «Москвича», мотор положил на колени. Расстались мы неловко. Я тщетно пытался выразить ему свою благодарность, он же стремился поскорее разорвать наш тягостный союз. Инспектор тщательно оберегал свою тишину от докучных посягательств, я был ему противопоказан.

На обратном пути, уже неподалеку от моего дома, меня остановила какая-то девушка. Она быстро вышла, почти выбежала из молодого елового леса на шоссе и замахала рукой, прося остановиться. Пока я тормозил, скользя юзом на вытертых шинах, из лесочка вышли двое мужчин и, косо глянув в нашу сторону,

пересекли шоссе и двинулись назад к поселку. Сначала я связал испуганное появление девушки с этими молодцами. Я распахнул дверцу, девушка села.

— Куда вам? — спросил я.

— Туда! — она махнула рукой в сторону реки.

Темные волосы девушки влажно облепили шею, а на прядях, обрамлявших маленькое, смуглое лицо, серебрились капли. От нее веяло речной свежестью, и я узнал одну из двух испаночек, ту, за которой ухаживал чернявый парень.

— Ничего не понимаю, — сказал я, — ведь только что вы были на реке.

Девушка сидела очень прямо, напряженно, она дышала чуть затрудненно, ее тонко вырезанные ноздри трепетали.

— Разве вы меня видели? — спросила она, не поворачивая головы.

— Да, вы были с парнем в темных очках. Вы сидели в лодке возле острова. Не понимаю, как вы оказались здесь?

— Мы пошли кладбище посмотреть, — все так же не поворачивая головы, ответила девушка. Она бросала слова отрывисто, неохотно, в ней ощущалась подавленная обида.

Старое, заброшенное кладбище располагалось на высоком, красивом бугре, поросшем плакучими березами, над самой лодочной пристанью. Я не мог представить себе во времени, как свершился переход от островной неги к заросшим могилам на бугре. Видимо, моя спутница и чернявый парень оставили своих друзей в лодке, по мосту перешли речку и вскарабкались на крутой бугор. И все же они должны были двигаться с судорожной быстротой персонажей немого кино.

— Но почему же вы одна... и здесь на дороге? — спросил я.

— Потому одна, что одна... — сказала девушка.

— Странное объяснение!

В маленькой головке, за смуглой чистой гладью лба, произошла напряженная работа: взвесив все обстоятельства, девушка решила довериться пожилому, седому, интеллигентному водителю, везущему ее на реку.

— Он на честь мою покусился, — произнесла она смешным сиповатым и важным голосом.

Меня поразила несовременность этого оборота. То ли девушка нарочно прибегла к словарю, доступному мне, выходцу из другой эпохи, то ли она воспитывалась в хорошей русской семье, с традициями, памятью о былом, с языком, идущим исстари. Так или иначе, это приближало ее ко мне, выводило из недоступности, сотворенной временем. У нас были точки соприкосновения в словаре, а это немало.

— Как же можно быть такой неосторожной? — сказал я уютным голосом старого, доброго ворчуна. — Бить вас надо, да некому!

Девушка холодно взглянула на меня и промолчала.

— Разве можно так? Вы ж его совсем не знаете.

— Да кто их разберет! — искренняя детская обида прозвучала в ее сиповатом голосе.

Бедняга, разоделась, приехала на лодочную станцию, мечтала о красивом приключении, о своей Венеции, а что вышло? Оскорбительная возня среди могил, жалкое бегство... Девушка высохла от тепла, источаемого мотором, и сейчас пахла загаром, чем-то нежным и чистым. И тут я машинально затормозил возле своих ворот.

— Я приехал... Но если хотите, довезу вас до самой реки, я знаю проезд.

Девушка колебалась, она играла дверной ручкой и вдруг, резко нажав ее книзу, распахнула дверцу и выпрыгнула из машины. Она даже не кивнула мне, не сказала спасибо.

Со стороны реки, неся купальник в опущенной руке, а другой отжимая густые влажные волосы, шла подруга моей спутницы, а по бокам ее, словно пристяжные, вышагивали два белокурых парня, куда более крупного калибра, чем недавние приятели девушек.

Быть может, никогда еще честь моей спутницы не подвергалась такой грозной опасности, как сейчас, но она, не оглядываясь, шла навстречу смертельному риску, жестоким испытаниям, бесстрашная маленькая жительница загадочной страны юности.

Вот и все мое путешествие. Право же, оно не было столь уж бедным. В нем оказалось все, чем может наградить человека перемена мест: зрелище иной, неве-

домой жизни и грустное ощущение своей непричастности, сердечная вспышка и печаль расставания, и возвращение домой к милой привычности, и навсегда ставшая полнее кладовая памяти.

Я живу на берегу воздушного океана: рядом — Внуковский аэродром. И днем и ночью с него поднимают и круто набирают высоту над моей крышей мощные реактивные и турбовинтовые самолеты. Они оставляют в синеве то пушистый, снежный след, то словно бы слабое мерцание, скорее воображаемое, чем видимое, то лишь грозный, отстающий от движения грохот. По ночам они горят зелеными и красными огоньками и манящей желтизной окошек. Они летят в Париж, Лондон, Венецию, Гавану, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Токио. Я спокойно провожаю их взглядом, у меня есть мое Покровское, по воде до него столько же, сколько до Венеции воздухом...

Свидание с Грузией

Я думал — мы не улетим. Московское небо было в окладе тяжелых, зловещих туч, на западе кровото-чащей раной зиял багровый закат. Под тучами, от вершин сосен до низкой пожухлой осенней травы, свирепствовал неспособный выбрать направление ветер. За-ломив деревья в одну сторону, он вдруг бросал их и гнул траву, гнал сор и бумажки в другую сторону, а затем тянул наперерез...

Но ТУ-104 царственно пренебрег всем этим неистов-ством. Он ушел в чистоту и пустоту заоблачной ночи и через два часа опустил нас в другую ночь, полную звезд, тепла, запахов еще зеленой жизни.

Я совсем не помню путь от аэропорта в Тбилиси. Помню лишь, как на подступах к городу шоссе, осеннее месяцем и звездами, а по краям оплеснутое черно-бархатистой тенью кустов, загородилось чем-то тем-ным, живым, грозно-молчаливо надвигающимся прямо на нас.

Прошла не одна, верно, минута, пока я понял, а потом увидел, что это стадо бычков-годовиков, которых гонят на бойню.

Сейчас я не помню, как выглядел идущий во главе стада гуртовщик. Он соединился в моем воображении с пастухами, которых много позже я видел в Кахетии, и с моей тогдашней готовностью к чуду. Мне кажется, что на нем были овечьи шкуры и высокая островерхая шапка, мягкие, крадущиеся сапоги, что в руках он нес пицаль в серебряной насечке, я даже помню ее

голубоватый сверк, а за спиной молчало туго притороченное чонгури, что ростом он был равен своей лунной тени, лицом смугл, волосами и подковкой усов черен. Но пусть за это описание отвечает грузинская ночь.

Стадо растекалось по сторонам машины двумя потоками темных тел, крепких запахов, мягко-шумных дыханий. Поблескивали белки удлинённых глаз на милых тупых мордах, глянцеви́то курчавились на плоских лбах колечки волос. Ещё дети, лишь томимые влечением, но не ведающие сути своего естества, бычки накрывали друг друга и недоуменно рушились с глухим стуком передних копыт на шоссе и, толкаясь боками, сшибаясь короткими рожками, влеклись дальше. А позади шла старая, большая, сорочьей расцветки корова с иссякшим выменем и катилась войлочная груда овец, сцепленных, как ком репейников. Мощно, сильно, широко двигалось в смерть большое стадо...

Щедрым, пиршественным изобилием встретила нас Грузия...

Мне еще в Москве вдолбили: нельзя быть в Тбилиси и не зайти в хашную. Но оказалось, что хашные открываются в шестом часу утра, а к семи иссякает то бледно-серебристое освежающее чудо, которому хашные обязаны своим названием. Убедившись, что радостная, напряженная суэта наших тбилисских дней, наполненных встречами, гостеприимством старых и новых знакомых, беготней по крутым улочкам старого города и поездками по окрестностям, не позволяет нам укоротить ночь, мы с женой решили совсем не ложиться спать и прийти к самому открытию хашной. Двое наших тбилисских друзей добровольно разделили с нами пытку бессонья.

Мы до одури петляли улицами Авлабара, бродили по набережной Куры, восхищаясь грозной высотой Метехи, выхватившей из неба косяк звезд, карабкались по булыжным кручам и опускались в нестрашные пропасти старого города, полные сна и покоя; мы заходили в пекарню, где старик-хабази, похожий на дровиша, не утруждая себя ни прощанием с близкими, ни изъявлением последней воли, нырял в адову печь —

тонэ, расплепывая по ее раскаленным стенам комки теста. И в этом непрерывном ночном кружении я окончательно утратил то маленькое знание города, которое успел приобрести за минувшие дни.

Кура первая откликнулась на зарю, приняв на свое чистое, бледное тело брызги раздавленного граната, затем порозовели белые голуби в небе над Метехи. Но лица томившихся возле запертой хашной любителей освежающего блюда еще были во власти ночи: будто обдутые пеплом по тусклой желтизне, изглоданные страстным нетерпением и ожиданием чуда. Лишь полный веселый милиционер, гонявший с места на место очередь, по-овечьи суетливую и покорную, был розов и прекрасен, как голубь.

Что за люди сгрудились перед хашной? Да самые разные. И труженики и бездельники; и те, кому садиться за баранку тяжелого грузовика на долгую шоферскую смену, становиться к станкам, работать иглой, шилом, малярной кистью, мастерком, киркой и лопатой, и те, кому праздно носить бесцельную тяжесть рук в длинном, не для них родившемся дне...

К пяти часам, когда зеленые верхушки платанов окунулись в первую, робкую голубизну неба и занавески на окнах хашной уж не могли скрыть творившейся в таинственных недрах жизни, вдохновенное нетерпение толпы пересилило потуги милиционера. Алчущие ввязли в стены, в окна, в двери хашной, как застигнутая зарей гоголевская нежить.

— Думаешь, раз ты самый толстый, так и самый умный? — уцепившись за ручку двери, кричал милиционеру маленький человек в комбинезоне, с огромными глазами раненого оленя.

— Если будешь так выражаться, я про тебя в газету напишу! — грозил милиционер, исчерпавший все иные способы воздействия.

И началась то нежная, то яростная, то моляще-скорбная, то неистово-гневная игра с дверью. Ее тихо-нечко раскачивали, так, что серебристо позванивало стекло; ее трясли, будто хотели напрочь вытрясти неумолимую дверную душу; перед ней прыгали, чтобы заглянуть в мутный стеклянный зрак; перед ней склонялись, будто желая поцеловать в железные губы за-

мочной скважины. И жена за моей спиной очень тихо прочла:

...Не мог я отворить дверей,
Восставших между мной и ей.
И я поцеловал те двери.

Имеющие уши слышат! Мы убедились в этом, еще не успев погрузить ложки в то белесое, пахучее, полное как бы разваренных в мякоть костей, что представилось мне студнем в его первом загустье и что было хаши. Перед нами возникла откупоренная бутылка кахетинского, которое мы не заказывали, а по залу катилось озвонченное мягким «л» имя:

— Галактион!.. Галактион!..

Что было делать? Конечно, были среди набившихся в хашную людей и бездельники, но куда больше было прекрасного трудового люда. И, взяв в руку стакан с вином, жена стала читать:

Венчалась Мери в ночь дождей,
И в ночь дождей я проклял Мери.
Не мог я отворить дверей,
Восставших между мной и ей,
И я поцеловал те двери...

И люди замерли над остывающим хаши, которого жаждали пуще манны небесной, над хаши, только что щедро заправленным чесноком, над пригубленными стаканами, и замер с подносом в руке глава, слуга и кудесник этого полуподвального царства, и оборвали свой бег Тамара и Цисана, царицы, прикинувшиеся официантками, и стоял в дверях блюститель порядка, уже не голубь, но и не милиционер, скорее убаюканный музами Марс на празднике небожителей.

...Все плакал я, как старый Лир,
Как бедный Лир, как Лир прекрасный.

Последние строки расколдовали это совсем не спящее, но такое же зачарованное на полуслове, полужесте, на незавершенном движении царство...

А затем кто-то, рыдая, читал «Мерани» и кто-то читал Важа, и мы поочередно читали по-русски и по-грузински снова Галактиона Табидзе, и Симона Чиковани, и Ираклия Абашидзе, и совсем молодых поэтов, и наконец то — мужское, сильное, жалкое и грозное, как заклинание:

Когда мы рядом в необъятной
Вселенной — рай, ни дать ни взять.
Люблю, люблю, как благодать,
Осенний взгляд твой беззакатный.
Невероятно, невероятно, невероятно,
не описать!..

Я так и не распробовал тогда вкуса хаши, но зато меня до дна пронял терпкий и сладкий вкус грузинского поэтического слова. Удивленно, благоговейно мне думалось: как прекрасно и страшно быть поэтом Грузии!

СОДЕРЖАНИЕ

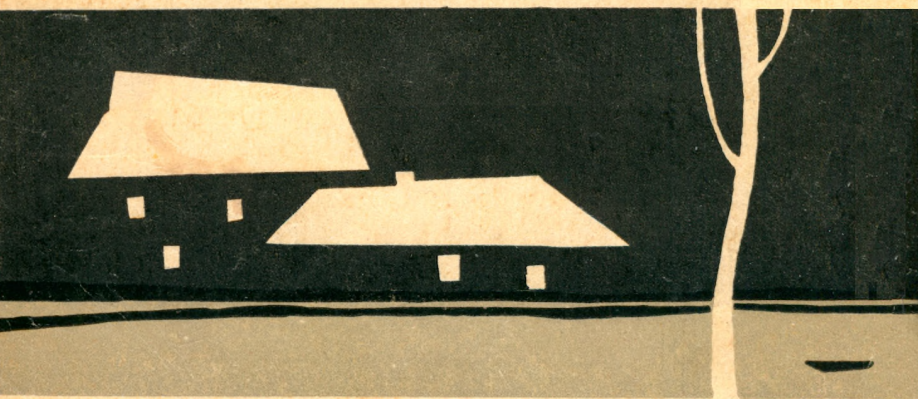
Чистые пруды

Чистые пруды	5
Щедрый подарок	15
Велосипед	27
Бабочки	34
Эхо	42
Котят топят слепыми	59
Лось в черте города	64
Я изучаю языки	69
Нас было четверо	82
Тихон Петрович	115
Торпедный катер	122
Шампиньоны	143
Женя Румянцева	172
Через двадцать лет	180

Зеленая птица с красной головой

Зеленая птица с красной головой	191
Браконьер	202
Моя Венеция	233
Свидание с Грузией	249

42 КОП.



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ